

p

11216

5-49

11216

II

99v

615

РТИ

ЗАНЫ ОР

ИСТЫ ПЕРЕ

НАКОНЕЦ, УДА

НО-ПОСЕВНОЙ И ХЛЕБ
ЛОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ
ПЕРЕЛ

ВЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ «КРАСНОГО

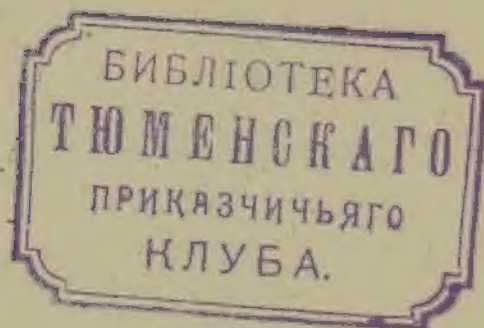
еваловское. В первый день
реваловском сельсовете про-
уборочно-посевной кампании
к хлебозаготовкам.

дают примеры деятельной,
ты. Далеко за половину пе-
та, добрых сил. Но

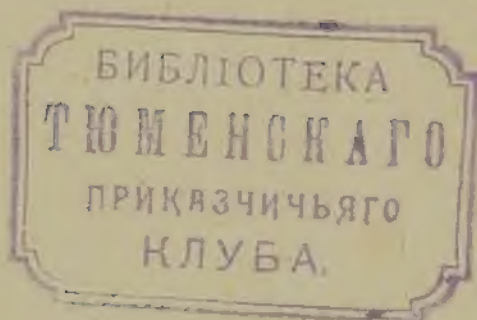
во торч
Молотилка
Партичей
до сего време
сеннем общих
ний, наполнения
но очень малой

3948

17.



IV-43(17)



3 49 ст
249
3 49
РУССКАЯ

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

45 Часть первая.

СОВРАЛЪ

В. Зелинскій.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ.



37
Типографія Вильде. Малая Кисловка, собственный домъ.
1913.

СПИСОКЪ КНИГЪ, СОСТАВЛЕННЫХЪ И ИЗДАННЫХЪ В. А. ЗЕЛИНСКИМЪ.

1. Пособія по изученію русскаго языка:

1. Справочникъ по русскому правописанію, съ приложеніемъ орфографическаго словаря и полнаго списка коренныхъ и производныхъ словъ, въ которыхъ пишется буква **ѣ**. Составленъ по „Руководству“ Академія Наукъ. Выпускъ I. Изд. 10-е. Ц. 50 к.

2. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ II. Указатель (систематическій и алфавитный) при разстановкѣ знаковъ препинанія. Изд. 3-е. Ц. 50 к.

3. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ III. Корнесловъ русскаго языка. Изд. 3-е. Ц. 50 к.

4. Справочникъ по русскому правописанію. Выпускъ IV. Правописание, словопроизведеніе и объясненіе иностранныхъ словъ, наиболѣе употребляющихся въ русскомъ литературномъ языкѣ. Изд. 2-е. Ц. 75 к.

5. Грамматическій задачникъ для письменныхъ и устныхъ упражненій по русскому языку. Приспособленъ къ элементарной грамматикѣ К. Говорова. Изд. 6-е. Ц. 25 к.

6. Вступительный курсъ зрительнаго диктанта. Книга для элементарныхъ орфографическихъ упражненій. (Готовится къ печати).

7. Зрительный диктантъ. Самодиктованіе и самоисправленіе. Новая система практическаго самоизученія русскаго правописанія по методѣ списыванія и разрѣшенія орфографическихъ задачъ. Часть первая. Изд. 18-е. Ц. 50 к.

8. Зрительный диктантъ. Часть вторая. Знаки препинанія. Изданіе 10-е. Ц. 40 к.

9. Подробный орфографическій словарь, заключающій въ себѣ: правильное начертаніе словъ, указаніе удареній въ словахъ, объясненіе малопонятныхъ словъ и раздѣленіе каждаго слова на части, для правильнаго переноса ихъ изъ одной строки въ другую. Приложеніе къ „Зрительному диктанту“. Изд. 2-е. Ц. 2 р.

10. Справочный словарь буквы **ѣ**. Полный списокъ коренныхъ и производныхъ словъ, пишущихся черезъ **ѣ**. Изд. 5-е. Ц. 25 к.

11. Таблицы для письменнаго грамматическаго разбора. № 1. Части рѣчи. № 2. Составъ словъ. № 3. Имя существительное. № 4. Глаголъ. (Печатаются новымъ изданіемъ).

12. Хрестоматія для объяснительнаго чтенія. Дополненіе къ книгѣ: „Методическія указанія и примѣрные уроки по объяснительному чтенію.“ Изд. 2-е. Ц. 25 к.

Ки
Н-81

РУССКАЯ

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

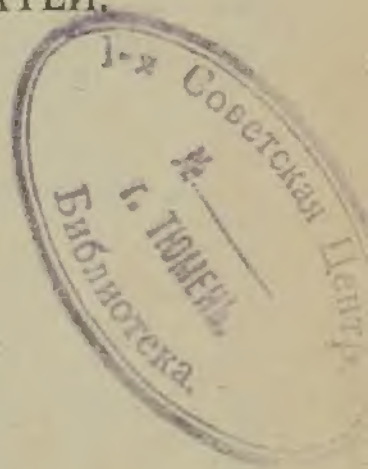
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

Часть первая.

СОБРАЛЪ

В. Зелинскій.



AF/6/15

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ.

МОСКВА.

Типографія Вильде, Малая Кисловка, собственный домъ.

1913.

ОГЛАВЛЕНІЕ



Біографическія свѣдѣнія о М. Ю. Лермонтовѣ. Статья И. И. Иванова.....	1
-----------------------------------------------------------------------	---

Критика сороковыхъ годовъ.

„Герой нашего времени“.

Критическій очеркъ В. Бѣлинскаго.....	19
Отзывъ изъ „Сына Отечества“ за 1840 г.....	119

Стихотворенія Лермонтова.

Критическія статьи:

Статья Л. Л. (В. С. Межевича) изъ „Сѣверной Пчелы“ за 1840 г.....	120
О. Сенковскаго. Изъ „Библіотеки для Чтенія“ за 1840 г....	135
В. Бѣлинскаго. Изъ „Отечеств. Записокъ“ за 1840 г....	142

„Герой нашего времени“.

Критическая статья С. Шевырева. Изъ „Москвитянина“ за 1841 г.....	152
-------------------------------------------------------------------	-----

Стихотворенія М. Лермонтова.

Критическія статьи:

А. Никитенко. Изъ „Сына Отечества“ за 1841 г.....	173
Изъ „Современника“ за 1841 г.....	189
С. Шевырева. Изъ „Москвитянина“ за 1841 г.....	190

„Герой нашего времени“.

Критическая статья В. Бѣлинскаго. Изъ „Отечеств. Записокъ“ за 1841 г.....	204
Указатель именъ и предметовъ, относящихся къ литературѣ.	212



БІОГРАФИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ

О Михаилѣ Юрьевичѣ Лермонтовѣ.

*) Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ—гениальный русскій поэтъ—родился въ Москвѣ 2 окт. 1814 г. Въ шотландскихъ преданіяхъ, не исчезнувшихъ окончательно и до сихъ поръ, живетъ имя *Лермонта*—*поэта* или *пророка*: ему посвящена одна изъ лучшихъ балладъ Вальтера Скотта, рассказывающая, согласно народной легендѣ, о похищеніи его феями. Русскій поэтъ не зналъ этого преданія, но смутная память о шотландскихъ легендарныхъ предметахъ не разъ тревожила его поэтическое воображеніе: ей посвящено одно изъ самыхъ зрѣлыхъ стихотвореній Л., — „Желаніе“. Изъ ближайшихъ предковъ Л. документы сохранились относительно его прадѣда Юрія Петровича, воспитанника шляхетскаго кадетскаго корпуса. Въ это время родъ Л. пользовался еще благосостояніемъ: захудалость началась съ поколѣній, ближайшихъ ко времени поэта. Отецъ его, Юрій Петровичъ, былъ бѣднымъ иѣхотнымъ капитаномъ въ отставкѣ. По словамъ Сперанскаго, отецъ будущаго поэта былъ замѣчательный красавецъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ „пустой“, „странный“ и даже „худой“ человекъ. Этотъ отзывъ основанъ на отношеніяхъ Л. отца къ тещѣ, Елизаветѣ Алексѣевнѣ Арсеньевой, урожденной Столыпиной: но эти отношенія не могутъ быть поставлены въ вину Юрію Л.—и такъ, несомнѣнно, смотрѣлъ на нихъ самъ Михаилъ Юрье-

*) Статья Н. П. Иванова, „Древнѣе медицинскіе столарь Бромгауза и Ефрона“. Спб. 1896 г., 34 полутомъ.
В. ЗЕЛИНСКІЙ. КРИТИКА О ЛЕРМОНТОВѢ.

вичь, въ течение всей своей жизни не перестававшій питать глубокую преданность къ отцу, а когда онъ умеръ—къ его памяти. Сохранилось письмо четырнадцатилѣтняго поэта, стихотворенія болѣе зрѣлаго возраста—и въ виду одинаковаго образа отца обвинить всю нѣжностью сыновней любви. Помѣстье Юрія Л.—Кроптовка, Ефремовскаго у., Тульской губ. —находилось по сосѣдству съ селомъ Васильевскимъ, принадлежавшимъ роду Арсеньевыхъ. Красота Юрія Петровича увлекла дочь Арсеньевой, Марію Михайловну, и, несмотря на протестъ своей родовой и гордой родни, она стала женою „армейскаго офицера“: но для ея семьи этотъ офицеръ навсегда остался чужимъ человекомъ. Марія Михайловна умерла въ 1817 г., когда ещѣ ей не было еще трехъ лѣтъ, но оставила много дорогихъ образовъ въ воспоминаніяхъ будущаго поэта. Сохранился ея альбомъ, наполненный стихотвореніями, отчасти, можетъ-быть, ею сочиненными, отчасти переписанными; они свидѣтельствуютъ о нѣжномъ ея сердцѣ. Въ послѣдствіи поэтъ говорилъ: *Въ слезахъ дала мать моя; всю жизнь не могъ онъ забыть, какъ мать пѣвала надъ его колыбелью.* Самый Кавказъ былъ ему дорогъ прежде всего потому, что въ его пустыняхъ онъ какъ бы слышалъ давно утраченный голосъ матери... Бабушка страстно любила внука. Энергичная и настойчивая, она употребила все усилія, чтобы одной безраздѣльно владѣть ребенкомъ. О чувствахъ и интересахъ отца она не заботилась. Въ юношескихъ произведеніяхъ весьма полно и точно воспроизводить событія и дѣйствующихъ лицъ своей личной жизни. Въ драмѣ съ нѣмецкимъ заглавіемъ „Menschen u. Leidenschaften“—разсказанъ раздоръ между его отцомъ и бабушкой. Л.-отецъ не въ состояніи былъ воспитывать сына, какъ этого хотѣлось аристократической роднѣ,—и Арсеньева, имѣя возможность тратить на внука „по четыре тысячи въ годъ на обученіе разнымъ языкамъ“, взяла его къ себѣ, съ уговоромъ воспитывать его до 16 лѣтъ, и во всемъ совѣтоваться съ отцомъ. Последнее условіе не исполнялось: даже свиданія отца съ сыномъ встрѣчались непреодолимыми препятствіями со стороны

Арсеньевой. Ребенокъ съ самаго начала долженъ былъ сознавать противъестественность этого положенія. Его дѣтство протекало въ помѣсть бабушки, Тарханыхъ, Пензенской губернии: его окружали любовью и заботами, но свѣтлыхъ впечатлѣній, свойственныхъ возрасту, у него не было. Въ неоконченной юности „Повѣсти“ описывается дѣтство Саши Арсенина, двойника самого автора. Саша съ 6-тилѣтняго возраста обнаруживаетъ наклонность къ мечтательности, страстное влеченіе ко всему героическому, величавому, бурному. „Я родился болѣзненнымъ, и все дѣтство страдать астмою: но болѣзнь эта развила въ ребенкѣ необычайную нравственную энергію. Въ „Повѣсти“ признается ея вліяніе на умъ и характеръ героя: „онъ выучился думать. Мнимыя возможности развлекаться обыкновенными забавами дѣтей, Саша началъ переносить въ самомъ себѣ. Воображеніе для него стало новой игрушкой. Въ продолженіе мучительныхъ безсонницъ, задыхаясь между горячихъ подушекъ, онъ уже привыкалъ побѣждать страданія тѣла, увлекался грезами души... Въроятно, что раннее умственное развитіе не мало помѣшало его выздоровленію...“ Это раннее развитіе стало для „А.“ источникомъ огорченій: никто изъ окружающихъ не только не былъ въ состояніи понять навстрѣчу „грезамъ его души“, но даже не замѣчалъ ихъ. Здѣсь коренятся основныя мотивы поэмы разочарованія. Въ утробномъ ребенкѣ растетъ презрѣніе къ повседневной окружающей жизни. Все чуждое, враждебное ей возбуждало въ немъ горячее сочувствіе: онъ самъ одинокъ и несчастливъ, — всякое одиночество и чужое несчастье, протекающее отъ людскаго непониманія, равнодушія или мелкаго эгоизма, кажется ему своимъ. Въ его сердцѣ живутъ рядомъ чувство отчужденности среди людей и непреодолимая жажда *родной души*, такой же одинокой, близкой по эту своими грезами и, можетъ-быть, страданіями. И въ результатѣ: „въ ребячествѣ моемъ тоску любви двойной ~~жизни~~ ^{жизни} сталъ я понимать душою безпокойной“. Мадридомъ ~~онъ~~ ^{онъ} его повезли на Кавказъ, на воды. здѣсь онъ встрѣтилъ ~~дѣвочку~~ ^{дѣвочку} дѣвочку лѣтъ девяти — и въ первый разъ у него прѣснулось

необыкновенно глубокое чувство, оставившее память на всю жизнь, но сначала для него неясное и неразгаданное. Два года спустя, поэтъ рассказываетъ о новомъ увлеченіи, посвящая ему стихотвореніе: къ *Генію*. Первая любовь неразрывно слилась съ подавляющими впечатлѣніями Кавказа. „Горы кавказскія для меня священны“,—писалъ Л.; онѣ объединили все дорогое, что жило въ душѣ поэта-ребенка. Съ осени 1825 г. начинаются болѣе или менѣе постоянныя учебныя занятія Л., но выборъ учителей—французъ Саретъ и близавшій изъ Турціи грекъ—былъ неудаченъ. Грекъ вскорѣ совѣтъ бросить педагогическія занятія и занялся скромнымъ промысломъ. Французъ, очевидно, не внушилъ Л. особеннаго интереса къ французскому языку и литературѣ: въ ученическихъ тетрадяхъ Л. французскія стихотворенія очень рано уступаютъ мѣсто русскимъ. 15-лѣтнимъ мальчикомъ онъ сожалѣлъ, что не слышалъ въ дѣтствѣ русскихъ народныхъ сказокъ: „въ нихъ вѣрно больше поэзіи, чѣмъ во всей французской словесности“. Его привлекаютъ загадочные, но мужественные образы отщепенцевъ человѣческаго общества— „корсаровъ“, „преступниковъ“, „изгнанниковъ“, „узниковъ“. Спустя два года послѣ возвращенія съ Кавказа, Л. повезли въ Москву и стали готовить къ поступленію въ университетскій благородный пансіонъ. Учителями его были Зинovieвъ, преподаватель латинскаго и русскаго языка въ пансіонѣ, и французъ Gondrot, бывший полиціонникъ наполеоновской гвардіи; его смѣнили въ 1829 году англичанинъ Виндсонъ, познакомившій его съ англійскою литературою. Въ пансіонѣ Л. оставался около двухъ лѣтъ. Здѣсь, подъ руководствомъ Мерзлякова и Зинovieва, процвѣтаетъ вкусъ къ литературѣ: происходили „засѣданія по словесности“, молодые люди пробовали свои силы въ самостоятельномъ творествѣ, существовалъ даже какой-то журналъ, при главномъ участіи Л. Поэтъ горячо принялся за чтеніе: сначала онъ поглощенъ Шиллеромъ, особенно его юношескими трагедіями; затѣмъ онъ принимаетъ за Шекспира, въ письмѣ къ родственницѣ „вступаетъ за честь его“, цитируетъ сцены изъ *Гамлета*. По-

прежнему Л. ищет *родной души*, увлекается дружбою то съ однимъ, то съ другимъ товарищемъ, испытываетъ разочарованія, негодуетъ на легкомысліе и измѣну крузей. Последнее время его пребыванія въ пансіонѣ—1829-й годъ—отмѣчено въ произведеніяхъ Л. необыкновенно мрачнымъ разочарованіемъ, источникомъ котораго была совершенно реальная драма въ личной жизни Л. Срокъ воспитанія его подъ руководствомъ бабушки приходитъ къ концу: отецъ часто навѣщаетъ сына въ пансіонѣ, и отношенія его къ тещѣ обострились до крайней степени. Борьба развивалась на глазахъ Михаила Юрьевича: она подробно изображена въ юношеской его драмѣ. Бабушка, ссылаясь на свою одинокую старость, вызывая къ чувству благодарности внука, отвоевала его у зятя. Отецъ уѣхалъ, униженный и оскорбленный болѣе, чѣмъ когда-либо, и вскоре умеръ. Стихотворенія этого времени,—яркое отраженіе пережитаго потомъ. У него является особенная склонность къ воспоминаніямъ: въ настоящемъ, очевидно, немного отрады. „Мой духъ погасъ и состарѣлся“,—говоритъ онъ, и только „смутныя памятники прошедшихъ милыхъ лѣтъ“ ему „любезны“. Чувство одиночества переходитъ въ безпомощную жалобу: юноша готовъ окончательно порвать съ внѣшнимъ міромъ, создаетъ „въ умѣ своемъ“ „міръ иной и образовъ иныхъ существованье“, считаетъ себя „отмѣченнымъ судьбой“, „жертвой посреди стеней“, „сыномъ природы“. Ему „міръ земной тѣсенъ“, порывы его „удручены ношею обмановъ“, переть нимъ призракъ преждевременной старости. Въ этихъ изліяніяхъ, конечно, много юношеской игры въ страстныя чувства и героическія настроенія, но въ ихъ основѣ лежатъ безусловно некрещенія огорченія юноши, несомнѣнный духовный разладъ его съ окружающей тѣлствительностью. Въ 1829 г. относятся первый очеркъ „Демона“ и стихотвореніе „Монологъ“, предвѣщающее „Думу“. Поэтъ отказывается отъ своихъ вдохновеній, сравнивая свою жизнь съ осеннимъ днемъ, и рисуетъ „измученную душу“ Демона, живущаго безъ вѣры, съ презрѣніемъ и равнодушіемъ ко „всему на свѣтъ“. Въ „Монологъ“ изображаются „дѣли съвера“, ихъ

„пасмурная жизнь“, „пустыя бури“, безъ „любви“ и „дружбы сладкой“. Немного спустя, оплакивая отца, онъ себя и его называетъ „жертвами жребія земного“: „ты дашь мнѣ жизнь, во счастья не дано!..“ Весной 1830 г. благородный пансіонъ былъ преобразованъ въ гимназію, и Л. оставилъ его. Лѣто онъ провелъ въ подмосковномъ помѣстьѣ брата бабушки, Столыпина. Недалеко жили другіе родственники Л.—Верецагины: Александра Верецагина познакомила его съ своей подругой Екатериной Сушковой, также сосѣдкой по имѣнію Сушкова, внучатъдѣтви Хвостова, оставила записки объ этомъ знакомствѣ. Содержаніе ихъ—настоящій „романъ“, распадающійся на двѣ части: въ первой—торжествующая и насмѣшливая героиня, Сушкова, во второй—холодный и даже жестоко мстительный герой, Л. Шестнадцатилѣтній „отрокъ“, наклонный къ „сентиментальнымъ сужденіямъ“, невзрачный, косопланный, съ красными глазами, со вздернутымъ носомъ и язвительною улыбкой, меньше всего могъ казаться интереснымъ кавалеромъ для юныхъ барышень. Въ отвѣтъ на его чувства ему предлагали „волчокъ или веревочку“, угощали булочками съ начинкой изъ опилокъ. Сушкова, много лѣтъ спустя послѣ событій, изображала поэта въ недугъ безпалочной страсти и приписала себѣ даже стихотвореніе, посвященное Л. другой дѣвицѣ—Варенькѣ Лопухиной, его сосѣдкѣ по московской квартирѣ на Малой Молчановкѣ: къ ней онъ питалъ до конца жизни едва ли не самое глубокое чувство, когда-либо испытанное въ немъ женщиной. Въ то же лѣто (1830) вниманіе Л. сосредоточилось на личности и поэзіи Байрона; онъ впервые сравниваетъ себя съ англійскимъ поэтомъ, сознаетъ сродство своего нравственнаго міра съ байроновскимъ, посвящаетъ нѣсколько стихотвореній юльской революціи. Врядъ ли, въ виду всего этого, увлеченіе поэта „черною“ красавицей, т.е. Сушковой, можно признавать такимъ всепоглощающимъ и трагическимъ, какъ его рисуетъ сама героиня. Но это не мѣшало „роману“ внести новую горечь въ душу поэта: это доказательство вънѣдствія его дѣйствительно жестокаго мести—оный изъ его отвѣтовъ на

людское безсердечіе, легкомысленно отравлявшее его „ребячскіе дни“, гасившее въ его душѣ „огонь божественный“. Съ сентября 1830 г. Л. числится студентомъ московскаго университета, сначала на „правовѣнно-политическомъ отдѣленіи“, потомъ на „словесномъ“. Университетское преподаваніе того времени не могло способствовать умственному развитію молодежи: студенты въ аудиторіяхъ немногимъ отличались отъ школьниковъ. Серьезная умственная жизнь развивалась за стѣнами университета, въ студенческихъ кружкахъ; но Л. не сходилъ ни съ однимъ изъ нихъ. У него, несомнѣнно, болѣе пахло ностальгіей къ свѣтскому обществу, чѣмъ къ отвлеченнымъ товарищескимъ бесѣдамъ: онъ, по природѣ, наблюдатель дѣйствительной жизни. Давно уже, притомъ, у него исчезло чувство юной, ничѣмъ не омраченной довѣрчивости, охладѣла способность отзываться на чувство дружбы, на малѣйшій проблескъ симпатіи. Его нравственный міръ былъ другого склада, чѣмъ у его товарищей, восторженныхъ гегельянцевъ и эстетиковъ. Онъ не менѣе ихъ уважалъ университетъ: „свѣтлый храмъ науки“ онъ называетъ „святымъ мѣстомъ“, описывая отчаянное пренебреженіе студентовъ къ заповѣдямъ этого храма. Онъ знаетъ и о философскихъ заносчивыхъ „спорахъ“ молодежи, но самъ не принимаетъ въ нихъ участія. Онъ, вѣроятно, даже не былъ знакомъ съ самымъ горячимъ спорщикомъ—знаменитымъ впоследствии критикомъ, хотя одинъ изъ героевъ его студенческой драмы „Странный Человѣкъ“ носитъ фамилію *Бѣлинскій*. Эта драма доказываетъ интересъ Л. къ надеждамъ и идеаламъ тогдашнихъ лучшихъ современныхъ людей. Главный герой—Владимиръ—воплощеніе самого автора, его устами поэтъ откровенно сознается въ мучительномъ противорѣчій своей натуры. Владимиръ знаетъ эгоизмъ и ничтожество людей—и все-таки не можетъ покинуть ихъ общество: „когда я одинъ, то мнѣ кажется, что никто меня не любитъ, никто не заботится обо мнѣ, —и это такъ тяжело!“ Еще важнѣе драма, какъ выраженіе общественныхъ идей поэта. Мужикъ рассказываетъ Владимиру и его другу, Бѣлинскому—противникамъ крѣ-

постного права — о жестокостяхъ помещицы и о другихъ крестьянскихъ невзгодахъ. Разсказъ приводитъ Владимира въ гнѣвъ, вырываетъ у него крикъ: „О, мое отечество! мое отечество!“ — а Бѣлинскаго заставляетъ практически помочь мужикамъ.

Для поэтической дѣятельности Л. университетскіе годы оказались въ высшей степени плодотворны. Талантъ его зрѣлъ быстро, духовный міръ определялся рѣзко. Л. усердно посѣщаетъ московскіе салоны, баты, маскарады. Онъ знаетъ дѣйствительную цѣну этихъ развлеченій, но умѣетъ быть веселымъ, раздѣлять удовольствія другихъ. Поверхностнымъ наблюдателямъ казалась совершенно естественной бурная и гордая поэзія Л., при его свѣтскихъ талантахъ. Они готовы были демонизмъ и разочарованіе его считать „драпировкой“, „веселый, непринужденный видъ“ признать истинно лермонтовскимъ свойствомъ, а жгучую „тоску“ и „злобу“ его стиховъ — притворствомъ и условнымъ поэтическимъ маскарадомъ. Но именно поэзія и была искреннимъ отголоскомъ лермонтовскихъ настроеній. „Меня спасало вдохновеніе отъ мелочныхъ суетъ“, — писалъ онъ и отдавался творчеству, какъ единственному чистому и высокому наслажденію. „Свѣтъ“, по его мнѣнію, все инвентаризуетъ и описываетъ, сглаживаетъ линіи отбѣйки въ характерахъ людей, вытравливаетъ всякую оригинальность, приводитъ всѣхъ къ одному уровню одушевленнаго манекена. Принципъ челоѣка, „свѣтъ“ пріучаетъ его быть счастливымъ именно въ состояніи безличія и приниженности, наполняетъ его чувствомъ самоудовольства, убиваетъ всякую возможность нравственнаго развитія. Л. боится самъ подвергнуться такой участи: боѣе, чѣмъ когда-либо, онъ прячетъ свои душевные думы отъ людей, вооружается насмѣшкой и презрѣніемъ, подчасъ разыгрываетъ роль добраго матаго или оглаиваго и катея свѣтскихъ приключеній. Въ одиночествѣ ему припоминаются кавказскія впечатлѣнія — могучія и бѣлые горы, ни одной чертой не похожія на мечтоты и немощи угнетеннаго общества. Онъ постигаетъ мечты поэтовъ прошлаго вѣка о естественномъ

состоянии, свободномъ отъ „приличья цѣпей“, отъ золота и почестей, отъ взаимной вражды людей. Онъ не можетъ допустить, чтобы въ нашу душу были вложены „неисполнимыя желанія“, чтобы мы тщетно искали „въ себѣ и въ мірѣ совершенство“. Его настроеніе — разочарованіе *духъ-ательныхъ нравственныхъ силъ, разочарованіе въ отрицательныхъ явленіяхъ общества, во имя очарованія положительными* задачами человѣческаго духа. Эти мотивы вполнѣ опредѣлились во время пребыванія Л. въ московскомъ университетѣ, о которомъ онъ именно потому и сохранилъ память, какъ о „святѣмъ мѣстѣ“. Л. не пробылъ въ университетѣ и двухъ лѣтъ; выданное ему *свидѣтельство* говоритъ объ увольненіи „по прошенію“ — по прошенію, по преданію, было вынуждено студенческой исторіей съ однимъ изъ наименѣе почтенныхъ профессоровъ Маловымъ. Съ 18 іюня 1832 г. Л. болѣе не числился студентомъ. Онъ уѣхалъ въ Петербургъ, съ намѣреніемъ снова поступить въ университетъ, но попалъ въ школу гвардейскихъ подпоручиковъ. Эта перемѣна карьеры не отвѣчала желаніямъ бабушки и, очевидно, вызвана настояніями самого поэта. Еще съ дѣтства его мечты носили воинственный характеръ. Кавказъ сильно подогрѣлъ ихъ. Въ пансіонескихъ эпиграммахъ постоянно упоминается *гусаръ*, въ роли счастливаго Донъ-Жуана. Усердно занимаясь рисованіемъ, поэтъ упражнялся преимущественно въ „батальномъ жанрѣ“. Такими же рисунками наполнилъ и альбомъ его матери. Въ двадцатыхъ годахъ и началѣ тридцатыхъ гражданскія профессіи, притомъ, не пользовавшись уваженіемъ высшаго общества. По свидѣтельству товарища Л., въ не-военные слылъ „подъячимъ“. Л. оставался въ школѣ два „неполучившихъ года“, какъ онъ самъ выражался. Объ умственномъ развитіи учениковъ никто не думалъ: имъ „не позволялось читать книгъ чисто-литературнаго содержанія“. Въ школѣ издавался журналъ, но характеръ его вполнѣ очевиденъ изъ поэмъ Л. вошедшихъ въ этотъ органъ: „Улацша“, „Петергофскій Праздникъ“... Наканунѣ вступленія въ школу Л. написалъ стихотвореніе „Парусъ“: „мятежный“ парусъ, „преслѣдѣ-

бури", въ минуты невозмутимаго покоя—это все та же съдѣлства неутомимая душа поэта. „Некаль онъ въ людяхъ совершенства, а самъ—самъ не былъ лучше ихъ", говорить онъ устами героя поэмы „Ангель Смерти", написанной еще въ Москвѣ. Юнкерскіи разгуль и забіячество доставили ему теперь самую удобную среду для развитія какихъ-угодно „несовершенствъ". А. ни въ чемъ не отставать отъ товарищей, являлся первымъ участникомъ во всѣхъ похожденияхъ—но и здѣсь избранная патура сказывалась немедленно послѣ самаго, повидимому, безотчетнаго веселья. Какъ въ московскомъ обществѣ, такъ и въ юнкерскихъ пирушкахъ А. умѣлъ собрать свою „лучшую честь", свои творческія силы: въ его письмахъ слышится иногда горькое сожалѣніе о бывшихъ мечтаніяхъ, жестокое самоубиеніе за потребность „чувственнаго наслажденія". Всѣмъ, кто вѣрилъ въ дарованіе поэта, становилось странно за его будущее. Верещагина, неизмѣнный другъ А., во имя его таланта заклинала его „твердо держаться своей дороги"... По выходѣ изъ школы корнетомъ лейбъ-гвардіи гусарскаго полка, А. живетъ попрежнему среди увлеченій и упрековъ совѣсти, среди страстныхъ порывовъ и сомнѣній, граничащихъ съ отчаяніемъ. О нихъ онъ пишетъ къ своему другу Лопухиной, но напрягаетъ всѣ силы, чтобы его товарищи и „свѣтъ" не заподозрили его гамлетовскихъ настроеній. Люди, близко знающіе его, въ родѣ Верещагиной, увѣрены въ его „добромъ характерѣ" и „любимомъ сердцѣ"; но А. казался бы униженнымъ явиться добрымъ и любящимъ предъ „надменнымъ шуткомъ свѣтомъ". Напротивъ, здѣсь онъ хочетъ быть безпощаденъ на словахъ, жестокъ въ поступкахъ, во что бы то ни стало прослыть неумолимымъ тираномъ женскихъ сердецъ. Тогда-то пришло время раскаты для Сушковой. А.-гусару и уже извѣстному поэту ничего не стоило заподознить сердце когда-то наемъливиной красавицы, разстроить ея бракъ съ Лопухинымъ, братомъ неизменно любимой Вареньки и Маріи, къ которой онъ писалъ такіа задушевные письма. Потомъ началось отступленіе: А. принялъ такую форму обращенія

съ Сушковой, что она немедленно была скомпрометирована въ глазахъ „свѣта“, попавъ въ положеніе смѣшной героини неудавшагося романа. Л. оставалось окончательно порвать съ Сушковой — и онъ написалъ на ея имя анонимное письмо съ предупрежденіемъ противъ себя самого, направилъ письмо въ руки родственниковъ несчастной дѣвицы, и, по его словамъ, произвелъ „громъ“ и „молнію“. Потомъ, при встрѣчѣ съ жертвой, онъ разыгралъ роль изумленного, огорченного рыцаря, а въ послѣднемъ объясненіи прямо заявилъ, что онъ ее не любитъ и, кажется, никогда не любилъ. Все это, кромѣ сцены разлуки, рассказано самимъ Л. въ письмѣ къ Верещагинѣ, при чемъ онъ видитъ лишь „веселую сторону исторіи“. Только печальнымъ наслѣдствомъ юнкерскаго воспитанія и стремленіемъ создать себѣ „пѣдесталь“ въ „свѣтѣ“ можно объяснить эту единственную темную страницу въ біографіи Л. Совершенно равнодушны къ службѣ, неистощимы въ проказахъ, Л. пишетъ застольныя пѣсни самаго непринужденнаго жанра — и въ то же время такія произведенія какъ: „Я, мать Божія, пишу съ молитвою“... До сихъ поръ поэтический талантъ Л. былъ извѣстенъ лишь въ офицерскихъ и свѣтскихъ кружкахъ. Первое его произведеніе, появившееся въ печати — „Хаджи Абрекъ“ попало въ „Библ. для Чтенія“ безъ его вѣдома, и послѣ этого невольнаго, но удачнаго дебюта, Л. долго не хотѣлъ печатать своихъ стиховъ. Смерть Пушкина явила Л. русской публикѣ во всей силѣ поэтическаго таланта. Л. былъ боленъ, когда совершилось страшное событіе. До него доходили разнорѣчивые толки: „многіе“, рассказываетъ онъ, „особенно дамы, оправдывали провинца Пушкина“, потому что Пушкинъ былъ дурень собой и ревнивъ, и не имѣлъ права требовать любви отъ своей жены. Невольное негодованіе охватило поэта, и онъ „излилъ горечь сердечную на бумагу“. Стихотвореніе оканчивалось сначала словами: „И на устахъ его печать“. Оно быстро распространилось въ спискахъ, вызвало бурю въ высшемъ обществѣ, новыя похвалы Дантесу; наконецъ, одинъ изъ родственниковъ Л., П. Столыпинъ, сталъ

въ глаза порицать его горячность по отношенію къ такому джентльмену, какъ Дантесъ. Л. вышелъ изъ себя, приказалъ гостю выйти вонъ, и въ порывѣ страстнаго гнѣва набросалъ заключительную отвѣдь „надменнымъ попомкамъ“.

Послѣдовать арестъ; нѣсколько дней спустя, корнетъ Л. былъ переведенъ прапорщикомъ въ нижегородскій драгунскій полкъ, дѣйствовавшій на Кавказѣ. Поэтъ отпавлялся въ изгнаніе, сопровождаемый общимъ вниманіемъ: здѣсь были и страстное сочувствіе и затаенная вражда. Первое пребываніе Л. на Кавказѣ длилось всего нѣсколько мѣсяцевъ. Благодаря хлопотамъ бабушки, онъ былъ сначала переведенъ въ гродненскій гусарскій полкъ, расположенный въ Новгородской губ., а потомъ — въ апрѣлѣ 1838 г. — возвращенъ въ лейбъ-гусарскій. Несмотря на кратковременную службу въ Кавказскихъ горахъ, Лермонтовъ успѣлъ сильно измѣниться въ нравственномъ отношеніи. Природа приковала все его вниманіе: онъ готовъ „цѣлую жизнь“ сидѣть и любоваться ея красотой; общество будто утратило для него привлекательность, юношеская веселость исчезла, и даже свѣтскія дамы замѣчали „черную меланхолію“ на его лицѣ. Истинникъ поэта-психолога влекъ его, однако, въ среду людей. Его здѣсь мало цѣнили, еще меньше понимали, но *горечь* и *злость* закипали въ немъ, и на бумагу теклились пламенные рѣчи, въ воображеніи складывались безмертвые образы. Л. возвращается въ петербургскій „свѣтъ“, снова играетъ роль льва, тѣмъ болѣе, что за нимъ теперь ухаживаютъ всѣ любительницы знаменитостей и героев: по одновременно онъ обдумываетъ *могучій образъ*, еще въ юности волновавшій его воображеніе. Кавказъ обновилъ давнишнія грезы: создаются „Демонъ“ и „Мцыри“. И та и другая поэма задуманы были давно. О „Демонѣ“ поэтъ думалъ еще въ Москвѣ, до поступления еще въ университетъ, позже нѣсколько разъ начинать и передѣлывать поэму: зарожденіе „Мцыри“, несомнѣнно, скрывается въ юношескомъ замѣткѣ Л., тоже изъ московскаго періода: „написать записки молодого монаха: 17 лѣтъ. Съ дѣтства онъ въ монастырѣ, кромѣ свя-

щенных, книгъ не читаль... Страстная душа томится. Идеалы". Въ основѣ „Демона“ лежитъ сознаніе одиночества среди всего мірозданія. Черты демонизма въ творчествѣ Л: *гордая душа, отчужденіе отъ міра и небесъ, презрѣніе къ мелкимъ страстямъ и малодушію. Демону міръ тѣсенъ и жалокъ: для „Мцыри“ — міръ ненавистенъ, потому что въ немъ нѣтъ воли, нѣтъ воплощенія идеаловъ, воспитанныхъ страстнымъ воображеніемъ сына природы, нѣтъ исхода могучему пламени, съ юныхъ лѣтъ живущему въ груди. „Мцыри“ и „Демонъ“ пополняютъ другъ друга. Разница между ними — не психологическая, а вѣщная, историческая. Демонъ богатъ опытомъ, онъ цѣлые вѣка наблюдать человѣчество — и научился презирать людей созвательно и равнодушно. Мцыри гибнетъ въ цвѣтущей молодости, въ первомъ порывѣ къ воли и счастью: но этотъ порывъ до такой степени рѣшителенъ и могучъ, что юный узникъ успѣваетъ подняться до идеальной высоты демонизма. Нѣсколько лѣтъ томительнаго рабства и одиночества, потомъ нѣсколько часовъ восхищенія свободой и величіемъ природы подавили въ немъ голосъ человѣческой слабости. Демоническое міросозерцаніе, стройное и логическое въ рѣчахъ Демона, у Мцыри — крикъ преждевременной агонии. Демонизмъ — общее поэтическое настроеніе, слагающееся изъ гнѣва и презрѣнія; чѣмъ ярѣе становится талантъ поэта, тѣмъ реальнѣе выражается это настроеніе, и аккорды разлагается на болѣе частные, но зато и болѣе опредѣленные мотивы. Въ основѣ „Думы“ лежатъ тѣ же дермонтовскія чувства относительно „свѣта“ и „міра“, но они направлены на осязательныя, исторически-точные общественныя явленія: „земля“, столь надменно унижаемая Демонѣмъ, уступаетъ мѣсто „нашему поколѣнію“, и мощица, по смутнымъ картинамъ и образамъ кавказской поэмы превращаются въ живые типы и явленія. Таковъ же смыслъ и новогодняго привѣтствія на 1840 г. Очевидно, поэтъ быстро шелъ къ яленому реальному творчеству, задатки котораго зрѣли въ его поэтической природѣ: но не безъ вліянія оставались и столкновенія со всеѣмъ окружающимъ. Именно они*

должны были намѣчать болѣе опредѣленные цѣли для гибва и сатиры поэта, и постепенно превращать его въ живописца общественныхъ правовъ. Романъ „Герои нашего времени“ — первая ступень на этомъ совершенно логическомъ пути. Роль „дѣла“ въ петербургскомъ свѣтѣ заключилась для Л. крупнымъ недоразумѣніемъ: ухаживая за кн Щербатовой — музой стихотворенія: „На свѣтскія цѣли“, — онъ встрѣтилъ соперника въ лицѣ сына французскаго посланника Баранна. Въ результатъ — дурь, окончившаяся благополучно, но для Л. повлекшая арестъ на гауитвахъ, потомъ переводъ въ пензенскій пѣхотный полкъ, на Кавказъ. Во время ареста Л. посѣтилъ Бѣлинскій. Когда онъ познакомился съ поэтомъ, достоверно неизвѣстно: по словамъ Панаева — въ Спб., у Краевскаго, постъ возвращенія Л. съ Кавказа: по словамъ товарища Л. по университетскому курсу, П. Сатины — въ Пятигорскѣ, лѣтомъ 1837 года. Вполнѣ достоверно одно, что впечатлѣніе Бѣлинскаго отъ перваго знакомства осталось неблагоприятное. Л., по привычкѣ, уклонился отъ серьезнаго разговора, сыпалъ шутками и остроуміемъ по поводу самыхъ важныхъ темъ — и Бѣлинскій, по его словамъ, *не раскусилъ* Л. Свиданіе на гауитвахъ окончилось совершенно иначе: Бѣлинскій пришелъ въ восторгъ и отъ личности и отъ художественныхъ воззрѣній Л. Онъ увидѣлъ поэта „самимъ собой“, „въ словахъ его было столько истины, глубины и простоты!“ Впечатлѣніи Бѣлинскаго повторились на Боденштедтѣ, впоследствии переводчикъ произведеній поэта. *Казаться* и *быть* для Л. были двѣ вещи совершенно различныя: предъ людьми мало знакомыми онъ предпочиталъ *казаться*, но былъ совершенно правъ, когда говорилъ: „Лучше я, чѣмъ для людей каюсь“. Близкое знакомство открывало въ поэтѣ и любящее сердце, и отзывчивую душу, и идеальную глубину мысли. Только Л. очень немногихъ считалъ достойными этихъ своихъ сокровищъ... Прибывъ на Кавказъ, Л. окупился въ боевую жизнь, и на первыхъ же порахъ отличился „мужествомъ и хладнокровіемъ“; такъ выражалось официальное допущеніе. Въ стихотвореніи *Валеракъ* и въ

писемъ къ Лопухину Л. ни слова не говоритъ о своихъ подвигахъ... Тайныя думы Л. давно уже были отданы роману. Онъ былъ задуманъ еще въ первое пребываніе на Кавказѣ; княжна Мери, Грушницкій и докторъ Вернеръ, по словамъ того же Сатина, были списаны съ оригиналовъ еще въ 1837 г. Постыдующая обработка, вѣроятно, сосредоточивалась преимущественно на личности главного героя, характеристика котораго была связана для поэта съ дѣломъ самоопознанія и самокритики. По окончаніи отпуска, весной 1841 г., Л. уѣхалъ изъ Петербурга съ тяжелыми предчувствіями — сначала въ Ставрополь, гдѣ стоялъ тегинскій полкъ, потомъ въ Пятигорскъ. По некоторымъ рассказамъ, онъ еще въ 1837 г. познакомился здѣсь съ семьей Верзилиныхъ, и одну изъ сестеръ — Эмилию Верзилину — прозвалъ „La Rose du Caucase“. Теперь онъ встрѣтилъ рядомъ съ ней гвардейскаго оставнаго офицера, Мартынова, „мрачлаго и молчаливаго“, игравшаго роль непонятаго и разочарованнаго героя, въ чернесскомъ костюмѣ съ громаднымъ кинжаломъ. Л. сталъ поднимать его на смѣхъ, въ присутствіи красавицы и всего общества. Столкновенія были неминуемы: въ результатъ одного изъ нихъ произошла дуэль — и 15 іюня поэтъ палъ бездыханнымъ у подножія Машука. Кн. А. Н. Васильчиковъ, очевидецъ событій и секундантъ Мартынова, рассказалъ исторію съ явнымъ намѣреніемъ оправдать Мартынова, который былъ живъ во время появленія разсказа въ печати. Основная мысль автора: „въ Л. было два человѣка: одинъ — добродушный, для небольшого кружка ближайшихъ друзей и для тѣхъ немногихъ лицъ, къ которымъ онъ имѣлъ особенное уваженіе; другой — запесивый и задорный, для всѣхъ прочихъ знакомыхъ“. Мартыновъ, слѣдовательно, былъ сначала жертвой, а потомъ долженъ былъ явиться мстителемъ. Несомнѣнно, однако, что Л. до послѣдней минуты сохранялъ добродушное настроеніе, а его соперникъ пыталъ злымъ чувствомъ. При всѣхъ смягчающихъ обстоятельствахъ, о Мартыновѣ еще съ большимъ правомъ, чѣмъ о Дантесѣ, можно повторить слова поэта: „не могъ понять въ себѣ

мнѣ кровавыи, на что онъ руку подымать"... Похороны Л не могли быть совершены по церковному обряду, несмотря на всѣ хлопоты друзей. Офіціальное извѣстіе о его смерти гласило: „15-го іюня, около 5 часовъ вечера, разразилась ужасная буря съ громомъ и молніей; въ это самое время между горами Машукомъ и Бештау скончался лѣтъишней въ Пятигорскѣ М. Ю. Лермонтовъ". По словамъ кн. Васильчикова, въ Петербургѣ, въ высшемъ обществѣ, смерть поэта встрѣтили отзывомъ: „туда ему и дорога". Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, Арсеньева перевезла прахъ внука въ Тарханы. Въ 1889 г., по всероссійской подпискѣ, погребъ воздвигнутъ памятникомъ въ Пятигорскѣ.— Поэзія Л неразрывно связана съ его личностью, она въ полномъ смыслѣ поэтическая автобіографія.

Основныя черты лермонтовской природы — необыкновенно развитое самосознаніе, цѣльность и глубина нравственнаго міра, мужественный идеализмъ жизненныхъ стремленій. Всѣ эти черты воплотились въ его произведеніяхъ, начиная съ самыхъ раннихъ прозаическихъ и стихотворныхъ изліяній и кончая зрѣлыми поэмами и романомъ. Еще въ юношеской „Повѣсти" Л прославилъ *волю*, какъ совершенную, непреодолимую душевную черту: „хотѣть — значитъ ненавидѣть, любить, созидать, радоваться, жить"... Отсюда его пламенные запросы къ сильному открытому чувству, негодованіе на мелкія и малодушныя страсти: отсюда его *демонизмъ*, развивавшійся среди вынужденнаго одиночества и презрѣнія къ окружающему обществу. Но *демонизмъ* — отнюдь не отрицательное настроеніе: „любить необходимо мнѣ" — сознавался поэтъ, и Вѣликинъ отгадалъ эту черту поэтѣ черной сѣрбиной бѣсѣи съ Л: „мнѣ отiano было видѣть въ его разсужденіи, охлажденномъ и озлобленномъ взглядѣ на жизнь и людей сімена глубокой вѣры въ достоинство того и другого". И это и сказать ему: онъ улыбнулся и сказалъ: даи Богъ". Демонизмъ Л — это высшая ступень реализма, то же самое, что мечты титовъ XVIII в. о совершенномъ естественномъ человѣкѣ, о свободѣ и доблестяхъ золотого вѣка: это поэзія Руссо и Шиллера. Такой

идеаль—наибольше смѣлое, непримиримое отрицаніе дѣйствительности—и юный Л. хотѣлъ бы сбросить „образованности цѣпи“, перенестись въ идиллическое царство переобычнаго человечества. Отсюда фанатическое обожаніе природы, страстное проникновеніе ея красотой и мощью. И всѣ эти черты отнюдь нельзя связывать съ какимъ бы то ни было внешнимъ вліяніемъ; онѣ существовали въ Л. еще до знакомства его съ Байрономъ, и слились только въ болѣе мощную и зрѣлую гармонію, когда онъ узналъ эту дѣйствительно ему *родную душу*. Въ противоположность разочарованію шатобріановскаго Рене, коренящемуся исключительно въ эгоизмъ и самообожаніи, *лермонтовское разочарованіе*—воинствующій протестъ противъ „низостей и страшностей“, во имя искренняго чувства и мужественной мысли. Предъ нами поэзія не *разочарованія*, а *печали и тѣвы*. Всѣ герои Л.—Демонъ, Пизантъ-Бей, Мцрири, Арсеній—переполнены этими чувствами. Самый реальный изъ нихъ—Печоринъ—воплощаетъ самое, повидимому, будничное разочарованіе; но это совершенно другой человѣкъ, чѣмъ „московскій Чайльдъ-Гарольдъ“—Онегинъ. У него множество отрицательныхъ чертъ: эгоизмъ, мелочность, гордость, часто безсерденіе, но рядомъ съ ними—искреннее отношеніе къ самому себѣ. „Если я причиню несчастія другимъ, то и самъ не менѣе несчастливъ“—совершенно правдивыя слова въ его устахъ. Онъ не разъ тоскуетъ о неудавшейся жизни: на другой почвѣ, въ другомъ воздухѣ эгоизмъ *сильный организмъ* несомнѣнно нашелъ бы болѣе почетное дѣло, чѣмъ травля Грушницкихъ. Великое и ничтожное уживаются въ немъ рядомъ, и если бы потребовалось разграничить то и другое, великое пришлось бы отнести къ *личности*, а ничтожное—къ *обществу*... Творчество Л. постепенно спускалось изъ-за облаковъ и съ кавказскихъ горъ. Оно остановилось на созданіи воплотивъ реальныхъ типовъ и сдѣлалось общественнымъ и національнымъ. Въ русской повѣстной литературѣ нѣтъ ни одного благороднаго мотива, въ которомъ бы не слышался безвременно замолкшій голосъ Л.; ея печаль о жалкихъ явленіяхъ русской жизни—отголосокъ жизни

В. ЗЕЛИНСКІЙ. КРИТЯКА О ЛЕРМОНТОВѢ.

поэта, печально глядѣвшаго на свое поколѣніе: въ ея негодованіи на рабство мысли и нравственное ничтожество современниковъ звучать лермонтовскіе демоническіе порывы: ея смѣхъ надъ глупостью и пошлымъ комедіанствомъ слышится уже въ уничтожающихъ сарказмахъ Печорина надъ Грушницкимъ.

Пв. Ивановъ.

КРИТИКА СОРОКОВЫХЪ ГОДОВЪ.

*) Герой нашего времени. Соч. Лермонтова. Сиб. 1840.
Двѣ части.

Отличительный характеръ нашей литературы состоитъ въ рѣзкой противоположности ея явленій. Возьмите любую европейскую литературу, и вы увидите, что ни въ одной изъ нихъ нѣтъ скачковъ отъ величавшихъ созданій до самыхъ пошлыхъ: тѣ и другія связаны лѣстницею со множествомъ ступеней, въ нисходящемъ или восходящемъ порядкѣ, смотря по тому, съ котораго конца будете смотреть. Подлѣ гениальнаго художественнаго созданія вы увидите множество созданій, принадлежащихъ сильнымъ художническимъ талантамъ: за ними безконечный рядъ превосходныхъ, примѣчательныхъ, порядочныхъ и т. д. беллетристическихъ произведеній, такъ что доходите до порождений люккиной посредственности не вдругъ, а постепенно и незамѣтно. Самыя посредственныя произведенія иностранной беллетристики посягъ на себѣ отпечатокъ большей или меньшей образованности, знанія общества, или, по крайней мѣрѣ, грамотности авторовъ. И потому-то все европейскія литературы такъ плодотворны и богаты, что ни на мигъ не оставляютъ своихъ читателей безъ достаточнаго запаса умственнаго наслажденія. Самая французская литература, бѣдная и ничтожная художественными созданіями, едва ли еще не богаче другихъ беллетристическими произведеніями, благодаря которымъ она и удерживаетъ свое исключительное владычество надъ европейскою читающею публикою. Напротивъ того, наша молодая литература по справедливости можетъ гордиться значительнымъ числомъ великихъ художественныхъ созданій, и до ничтожества бѣдна хорошими беллетристическими произведеніями, которыя естественно должны бы далеко превосходить первыя въ количествѣ. Въ

*) В. Вильшески, „Отечественныя Записки“ 1840 г., X 6 и 7

вѣкъ Екатерины литература наша имѣла Державина—и никого, кто бы хотя нѣсколько приближался къ нему; полузабытый нынѣ Фонвизинъ и забытые Хемницеръ и Богдановичъ были единственными примѣчательными беллетристами того времени. Крыловъ, Жуковский и Батюшковъ были поэтическими корифеями вѣка Александра I: Капнистъ, Карамзинъ (говоримъ о немъ не какъ объ историкѣ), Дмитріевъ, Озеровъ и еще немногіе — блестящимъ образомъ поддерживали беллетристику того времени. Съ двадцатыхъ до тридцатыхъ годовъ настоящаго вѣка литература наша оживилась: еще далеко не кончили своего поэтического поприща Крыловъ и Жуковский, какъ явился Пушкинъ, первый великій народный русскій поэтъ, вполнѣ художникъ, сопровождаемый и окруженный толпою болѣе или менѣе примѣчательныхъ талантовъ, которыхъ неоспоримымъ достоинствомъ мѣшаетъ только невыгода быть современниками Пушкина. Но за то пушкинскій періодъ необыкновенно (сравнительно съ предшествовавшими и послѣдующимъ) былъ богатъ блестящими беллетристическими талантами, изъ которыхъ нѣкоторые въ своихъ произведеніяхъ возвышались до поэзии, и хотя другіе теперь уже и не читаются, но въ свое время пользовались большимъ вниманіемъ публики, и сильно занимали ее своими произведеніями, болѣею частью мелкими, помѣщавшимися въ журналахъ и альманахахъ. Начало четвертаго десятилѣтія ознаменовалось романтическимъ и драматическимъ движеніемъ—и не сбывшимися яркими надеждами: „Юрій Милославскій“ подаль большія надежды, „Торкато Тассо“ тоже подаль большія надежды... и многіе подавали большія надежды, только теперь оказались совершенно безнадёжными... Но и въ этомъ періодѣ надеждъ и безнадёжности блеснула яркая звѣзда великаго творческаго таланта, мы говоримъ о Гоголѣ,—который, къ сожалѣнію, послѣ смерти Пушкина ничего не печатаетъ, и котораго послѣднія произведенія русская публика прочла въ „Современникѣ“ за 1836 годъ, хотя слухи о новыхъ его произведеніяхъ и не умолкаютъ. Тридцатый годъ былъ роковымъ для нашей литературы: журналы начали прекращаться

одинъ за другимъ, альманахи наскучили публикѣ, и прекратились, и въ 1834 году „Библіотека для Чтенія“ соединила въ себѣ труды почти всѣхъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ поэтовъ и литераторовъ, какъ бы нарочно для того, чтобы показать ограниченность ихъ дѣятельности и бѣдность русской литературы... Но обо всемъ этомъ мы скоро поговоримъ въ особой статьѣ; на этотъ разъ прямо выскажемъ нашу главную мысль, что отличительный характеръ русской литературы — внезапные проблески сильныхъ и даже великихъ художническихъ талантовъ и, за немногими исключеніями, вѣчная поговорка читателей: „книгъ много, а читать нечего“... Къ числу такихъ сильныхъ художественныхъ талантовъ, неожиданно являющихся среди окружающей ихъ пустоты, принадлежатъ таланты Лермонтова.

Въ „Библіотекѣ для Чтенія“ на 1835 годъ напечатано было нѣсколько (очень немного) стихотвореній Пушкина и Жуковского; послѣ того русская поэзія нашла свое убожище въ „Современникѣ“, гдѣ, кромѣ стихотвореній самого издателя, появлялись нерѣдко и стихотворенія Жуковского и немногихъ другихъ, и гдѣ помѣщены: „Капитанская Дочка“ Пушкина, „Носъ“, „Коляска“ и „Утро дѣтцоваго челоуѣка“, сцена изъ комедіи Гоголя, не говоря уже о нѣсколькихъ замѣчательныхъ беллетрическихъ произведеніяхъ и критическихъ статьяхъ. Хотя этотъ полу-журналъ и полу-альманахъ только годъ издавался Пушкинымъ, но какъ въ немъ долго печатались посмертныя произведенія его основателя, то „Современникъ“ и долго еще былъ единственнымъ убожищемъ поэзіи, скрывшейся изъ періодическихъ изданій съ началомъ „Библіотеки для Чтенія“. Въ 1835 году вышла маленькая книжка стихотвореній Кольцова, послѣ того постоянно печатающаго свои лирическія произведенія въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ до сего времени. Кольцовъ обратилъ на себя общее вниманіе, но не столько достоинствомъ и сущностью своихъ созданій, сколько своимъ качествомъ поэта-самоучки, поэта-прасола. Онъ и доселѣ не понятъ, не оцѣненъ, какъ поэтъ, внѣ его личныхъ обстоятельствъ, и только немногіе сознаютъ всю глубину, обшир-

ность и богатырскую мощь его таланта, и видятъ въ немъ не эфемерное, хотя и примѣчательное явленіе періодической литературы, а истиннаго жреца высокаго искусства. Почти въ одно время съ изданіемъ первыхъ стихотвореній Кольцова явился съ своими стихотвореніями и Бенедиктовъ. Но его муза гораздо больше произвела въ публикѣ толковъ и восклицаній, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворенія Бенедиктова—явленіе примѣчательное, интересное и глубоко поучительное: они отрицательно поясняютъ тайну искусства, и въ то же время подтверждаютъ собою ту истину, что всякій вышній талантъ, ослѣпляющій глаза вышнюю сторону искусства и выходящій не изъ вдохновенія, а изъ легко воспламеняющейся натуры, такъ же тихо и незамѣтно сходитъ съ арены, какъ шумно и блистательно является на нее. Благодаря странной случайности, вѣдство которой въ „Библіотеку для Чтенія“ попали стихи Красова и явились въ ней съ именемъ Бернета, Красовъ, до того времени печатавшій свои произведенія въ московскихъ изданіяхъ, получилъ общую извѣстность. Въ самомъ дѣлѣ, его лирическія произведенія часто отличаются пламеннымъ, хотя и не глубокимъ чувствомъ, а иногда и художественною формою. Песни Красова заслуживаютъ вниманія стихотворенія подъ фирмою — о —; они отличаются чувствомъ скорбнымъ, страдальческимъ, болящимъ, какою-то однообразною оригинальностью, перѣдко счастливыми оборотами постоянно господствующей въ нихъ идеи раскаянія и примиренія, иногда плѣнительными поэтическими образами. Знакомые съ состояніемъ духа, которое въ нихъ выражается, никогда не пройдутъ мимо ихъ безъ душевнаго участія: находящіеся въ томъ же самомъ состояніи духа естественно преувеличатъ ихъ достоинства; люди же, или незнакомые съ такимъ страданіемъ, или слишкомъ нормальные духомъ, могутъ не отдать имъ должной справедливости: таково вліяніе и такова участь поэтовъ, въ созданіяхъ которыхъ общее слишкомъ затоплено индивидуальностью. Во всякомъ случаѣ, стихотворенія — о — принадлежатъ къ примѣчательнымъ явленіямъ современной имъ

литературы, и ихъ историческое значеніе не подвержено никакому сомнѣнію.

Можетъ-быть, многимъ покажется страннымъ, что мы ничего не говоримъ о Кукольникѣ, поэтѣ, столь превознесенномъ „Библіотекою для Чтенія“. Мы вполне признаемъ его достоинства, которыя неподвержены никакому сомнѣнію, но о которыхъ новаго нечего сказать. Поэтическія мѣста не выкупаютъ ничтожности цѣлаго созданія, точно такъ же, какъ два, три счастливые монологъ не составляютъ драмы. Пусть въ драмѣ, состоящей изъ 3000 стиховъ, наберется до тридцати или, если хотите, и до пятидесяти хорошихъ лирическихъ стиховъ, но драма отъ того не менѣе скучна и утомительна, если въ ней нѣтъ ни дѣйствія, ни характеровъ, ни истины. Многочисленность написанныхъ къмѣ-либо драмъ также не составляетъ еще достоинства и заслуги, особенно, если всѣ драмы похожи одна на другую, какъ двѣ капли воды. О талантѣ ни слова, пусть онъ будетъ; но степень таланта—вотъ вопросъ! Если талантъ не имѣетъ въ себѣ достаточной силы стать въ уровень съ своими стремленіями и предпріятіями, онъ производитъ только пустоцвѣтъ, когда вы ждете отъ него плодовъ. — Чтобы насъ не подозрѣвали въ пристрастіи, мы, пожалуй, упомянемъ еще и о Бернетѣ, во многихъ стихотвореніяхъ котораго иногда проблескивали яркія искорки поэзіи; во ни одно изъ нихъ, какъ изъ большихъ, такъ и изъ маленькихъ, не представляло собою ничего цѣлаго и оконченаго. Къ тому же талантъ Бернета идетъ сверху внизъ, и послѣднія его стихотворенія послѣдовательно слабѣе первыхъ, такъ что теперь уже перестаютъ говорить и о первыхъ. Можетъ-быть, мы пропустили еще нѣсколько стихотворцевъ съ проблескомъ таланта; но стоитъ ли останавливаться надъ однолѣтними растеніями, которыя такъ не рѣдки, такъ обыкновенны, и цвѣтутъ одно мгновеніе! стоитъ ли останавливаться надъ ними, хоть они и цвѣты, а не сухая трава? Нѣтъ!

Снящій въ гробъ мирно спя,
Жизвью пользуйся живущій!

И потому обратимся къ живымъ. Но изъ нихъ только одинъ

Кольцовъ обьѣщаетъ жизнь, которая не боится смерти, ибо его поэзія есть не современно-важное, но безотносительно примѣчательное явленіе. Никого изъ явившихся вмѣстѣ съ нимъ и постѣ него нельзя поставить съ нимъ на-ряду, и долго стоялъ онъ въ просторномъ отдаленіи отъ всѣхъ другихъ, какъ вдругъ на горизонтѣ нашей поэзіи возшло новое яркое свѣтило, и тотчасъ оказалось звѣздою первой величины. Мы говоримъ о Лермонтовѣ, который, безъ имени, явился въ „Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду“ 1838 года съ поэмой: „Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“, а съ 1839 года постоянно продолжаетъ являться въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Поэма его, несмотря на ея великое художественное достоинство, совершенную оригинальность и самобытность, не обратила на себя особеннаго вниманія всей публики, и была замѣчена только немногими; но каждое изъ его мелкихъ произведеній возбуждало общій и сильный восторгъ. Въ видѣли въ нихъ что-то совершенно новое, самобытное; всѣхъ поражало могущество вдохновенія, глубина и сила чувства, роскошь фантазіи, полнота жизни и рѣзко оцутительное присутствіе мысли въ художественной формѣ. Пока, оставляя въ сторонѣ сравненія, мы замѣтимъ теперь только то, что, при всей глубинѣ мыслей, энергичи выраженія, разнообразіи содержанія, по которымъ Кольцову едва ли можно бояться чьего-либо соперничества, форма его стихотвореній, несмотря на свою художественность, всегда однообразна, всегда одинаково безыскусственна. Кольцовъ не есть только народный поэтъ: нѣтъ, онъ стоитъ выше, ибо если его пѣсни понятны всякому простолюдину, то его думы недоступны никому; но въ то же время онъ не можетъ назваться и поэтомъ національнымъ, ибо его могучій гадантъ не можетъ выйти изъ магическаго круга народной непосредственности. Это гениальный простолюдинъ, въ душѣ котораго возникаютъ вопросы, свойственные только людямъ, развитымъ наукою и образованіемъ, и который высказываетъ эти глубокіе вопросы въ формѣ народной поэзіи. Поэтому онъ не переводимъ ни на

какой языкъ, и понятенъ только у себя дома, только своимъ соотечественникамъ „Пѣсни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“ показываетъ, что Лермонтовъ умѣетъ явленія непосредственной русской жизни воспроизводить въ народно-поэтической формѣ, единственно свойственной имъ, тогда какъ прочія его произведенія, проникнутыя русскимъ духомъ, являются въ той обще-міровой формѣ, которая свойственна поэзіи, перешедшей изъ естественной въ художественную, и которая, не переставая быть національною, доступна для всякаго вѣка и всякой страны.

Въ то время какъ какинъ-нибудь два стихотворенія, помѣщенные въ первыхъ двухъ книжкахъ „Отечественныхъ Записокъ“ 1839 года, возбудили къ Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили за нимъ имя поэта съ большими надеждами, Лермонтовъ вдругъ является съ повѣстью „Бѣла“, написанною въ прозѣ. Это тѣмъ пріятнѣе удивило всѣхъ, что еще болѣе обнаружило силу молодого таланта и показало его разнообразіе и многосторонность. Въ повѣсти Лермонтовъ явился такимъ же творцомъ, какъ и въ своихъ стихотвореніяхъ. Съ перваго раза можно было замѣтить, что эта повѣсть вышла не изъ желанія заинтересовать публику исключительно любимымъ ею родомъ литературы, не изъ слѣпого подражанія дѣлать то, что всѣ дѣлаютъ, но изъ того же источника, изъ котораго вышли его стихотворенія—изъ глубокой творческой натуры, чуждой всякихъ побужденій, кромѣ вдохновенія. Лирическая поэзія и повѣсть современной жизни соединились въ одномъ талантѣ. Такое соединеніе, повидимому, столь противоположныхъ родовъ поэзіи—не рѣдкость въ наше время. Шиллеръ и Гёте были лириками, романистами и драматургами, хотя лирический элементъ всегда оставался въ нихъ господствующимъ и преобладающимъ. Самъ „Фаустъ“ есть лирическое произведеніе въ драматической формѣ. Поэзія нашего времени по преимуществу—романъ и драма; но лиризмъ все-таки остается общимъ элементомъ поэзіи, потому что онъ есть общій элементъ человѣческаго духа. Съ лиризма начи-

наетъ почти каждый поэтъ, такъ же, какъ съ него начинаютъ каждый народъ. Самъ Вальтеръ-Скоттъ перешелъ къ роману отъ лирическихъ поэмъ. Только литература сѣверо-американскихъ штатовъ началась романомъ Купера, и это явленіе такъ же странно, какъ и общество, въ которомъ оно произошло. Можетъ-быть, это оттого, что сѣверо-американская литература есть продолженіе англійской. Наша литература представляетъ тоже совершенно особенное явленіе: мы вдругъ переживаемъ всѣ моменты европейской жизни, которые на Западѣ развивались послѣдовательно. Только до Пушкина наша поэзія была по преимуществу лирическою. Пушкинъ недолго ограничивался лиризмомъ и скоро перешелъ къ поэмѣ, а отъ нея—къ драмѣ. Какъ полный представитель духа своего времени, онъ также покупался на романъ: въ „Современникѣ“ 1837 года помѣщено шесть главъ (съ началомъ седьмой) изъ неоконченнаго романа его подъ названіемъ: „Арапъ Петра Великаго“, изъ которыхъ четвертая глава была первоначально помѣщена въ „Сѣверныхъ Цѣфтахъ“ 1829 года. Повѣсти Пушкинъ началъ писать уже въ послѣдніе годы своей недоконченной жизни. Однакожь очевидно, что настоящимъ его родомъ былъ лиризмъ, стихотворная повѣсть (поэма) и драма, ибо его прозаическіе опыты далеко не равны стихотворнымъ. Самая лучшая его повѣсть „Капитанская Дочка“, при всѣхъ ея огромныхъ достоинствахъ, не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ его поэмами и драмами. Это не болѣе, какъ превосходное беллетристическое произведеніе съ поэтическими и даже художественными частностями. Другія его повѣсти, особенно „Повѣсти Бѣлкина“, принадлежатъ исключительно къ области беллетристики. Можетъ-быть, въ этомъ заключается причина того, что и романъ, такъ давно начатый, не былъ конченъ. Лермонтовъ и въ прозѣ является равнымъ себѣ, какъ и въ стихахъ, и мы увѣрены, что съ большимъ развитіемъ его художнической дѣятельности онъ непременно дойдетъ до драмы. Наше предположеніе не произвольно: оно основывается сколько на полнотѣ драматическаго движенія, замѣтнаго въ повѣстяхъ

Лермонтова, столько же и на духъ настоящаго времени, особенно благопріятнаго соединенію въ одномъ лицѣ всѣхъ формъ поэзіи. Последнее обстоятельство очень важно, ибо и у искусства всякаго народа есть свое историческое развитіе, вслѣдствіе котораго опредѣляется характеръ и родъ дѣятельности поэта. Можетъ-быть, и Пушкинъ былъ бы такимъ же великимъ романистомъ, какъ лирикомъ и драматургомъ, если бы явился позже и имѣлъ подобнаго себѣ предшественника.

„Бѣла“, заключаая въ себѣ интересъ отдѣльной и оконченной повѣсти, въ то же время была только отрывкомъ изъ большаго сочиненія, равно какъ и „Фаталистъ“ и „Тамань“, впоследствии напечатанные въ „Отечественныхъ же Запискахъ“. Теперь они являются вмѣстѣ съ другими, съ „Максимомъ Максимычемъ“, „Предисловіемъ къ журналу Печорина“ и „Княжной Мери“, подъ однимъ общимъ заглавіемъ: „Героя нашего времени“. Это общее названіе — не прихоть автора, равнымъ образомъ по названію не должно заключать, чтобы содержащаяся въ этихъ двухъ книжкахъ повѣсти были рассказами какого-нибудь лица, на котораго авторъ навязалъ роль рассказчика. Во всѣхъ повѣстяхъ одна мысль, и эта мысль выражена въ одномъ лицѣ, которое есть герой всѣхъ рассказовъ. Въ „Бѣлѣ“ онъ является какимъ-то таинственнымъ лицомъ. Героиня этой повѣсти вся передъ вами, но герой какъ будто бы показывается подъ вымышленнымъ именемъ, чтобы его не узнали. Изъ-за отношеній его къ Бѣлѣ вы невольно догадываетесь о какой-то другой повѣсти, заманчивой, таинственной и мрачной. И вотъ авторъ тотчасъ показываетъ вамъ его при свиданіи съ Максимомъ Максимычемъ, который рассказалъ ему повѣсть о Бѣлѣ. Но ваше любопытство не удовлетворено, а только еще болѣе раздражено, и повѣсть о Бѣлѣ все еще остается для васъ загадкою. Наконецъ, въ рукахъ автора журналъ Печорина, въ предисловіи къ которому авторъ дѣлаетъ намекъ на идею романа, но намекъ, который только болѣе возбуждаетъ ваше нетерпѣніе познакомиться съ героями романа. Въ высшей степени поэтиче-

скомъ разсказъ „Тамань“ герой романа является автобіографомъ, но загадка отъ этого становится только заманчивѣе, и отгадка еще не тутъ. Наконецъ, вы переходите къ „Княжнѣ Мери“, и туманъ разсѣивается, загадка разгадывается, основная идея романа, какъ горькое чувство, мгновенно охладѣвшее изъ существомъ вашимъ, пристасть къ вамъ и преслѣдуетъ васъ. Вы читаете, наконецъ, „Фаталиста“ и, хотя въ этомъ разсказѣ Петровичъ является не героемъ, а только рассказчикомъ случая, котораго онъ былъ свидѣтелемъ, хотя изъ немъ вы не находите ни одной новой черты, которая дополнила бы вамъ портретъ „Героя нашего времени“, но — странное дѣло! — вы еще болѣе понимаете его, болѣе думаете о немъ, и ваше чувство еще грустнѣе. Эта полнота впечатлѣнія, въ которомъ все разнообразныя чувства, волновавшія васъ при чтеніи романа, сливаются въ единое общее чувство, въ которомъ все лица, каждое столько интересное само по себѣ, такъ полно образованное, становятся вокругъ одного лица, составляютъ съ нимъ группу, которой средоточіе есть это одно лицо, — вмѣстѣ съ вами смотреть на него, кто съ любовью, кто съ ненавистью — какаѣ причина этой полноты впечатлѣнія? Она заключается въ единствѣ мысли, которая выразилась въ романѣ, и отъ которой произошла эта гармоническая соответственность частей съ цѣлымъ, это строго соразмѣрное распредѣленіе ролей для всехъ лицъ, — наконецъ, эта оконченность, полнота и замкнутость цѣлаго.

Сущность всякаго художественнаго произведенія состоитъ въ органическомъ процессѣ его явленія изъ возможности бытія въ дѣйствительность бытія. Какъ невинное зерно, западаетъ въ душу художника мысль, и изъ этой благодатной и плодородной почвы разворачивается и развивается въ опредѣленную форму, въ образы, полные красоты и жизни, и, наконецъ, является совершенно особымъ, цѣльнымъ и замкнутымъ въ самомъ себѣ міромъ, въ которомъ все части соразмѣрны цѣлому, и каждая, существуя сама по себѣ и сама собою, составляя замкнутый въ самомъ себѣ образъ, въ то же время существуетъ для цѣлаго, какъ его необхо-

димая часть, и способствуетъ впечатлѣнію цѣлаго. Такъ точно живой человѣкъ представляетъ собою также особенный и замкнутый въ самомъ себѣ міръ: его организмъ сложенъ изъ безчисленнаго множества органовъ, и каждый изъ этихъ органовъ, представляя собою удивительную цѣлостъ, оконченность и особность, есть живая часть живого организма, и все органы образуютъ единый организмъ, единое недѣлимое существо—индивидуумъ. Какъ во всякомъ произведеніи природы, отъ ея низшей организаціи—минерала, до ея высшей организаціи—человѣка, нѣтъ ничего ни недостаточнаго ни лишняго, но всякій органъ, всякая жилка, даже недоступная невооруженному глазу, необходима и находится на своемъ мѣстѣ: такъ и въ созданіяхъ искусства не должно быть ничего ни недоконченнаго, ни недостающаго, ни излишняго,—но всякая черта, всякій образъ и необходимъ и на своемъ мѣстѣ. Въ природѣ есть произведенія непотныя, уродливыя, въслѣдствіе несовершенства организаціи: если они, несмотря на то, живутъ—значитъ, что получившіе ненормальное образованіе органы не составляютъ важнѣйшихъ частей организма, или что ненормальность ихъ не важна для цѣлаго организма. Такъ и въ художественныхъ созданіяхъ могутъ быть недостатки, причина которыхъ заключается не въ совершенно правильномъ ходѣ процесса ихъ явленія, т.-е. въ большемъ или меньшемъ участіи личной воли и разсудка художника, или въ томъ, что онъ недостаточно выноситъ въ своей душѣ идею созданія, не далъ ей вполне сформироваться въ опредѣленные и окончательные образы. И такія произведенія не лишаются чрезъ подобные недостатки своей художественной сущности и цѣнности. Но какъ въ произведеніяхъ природы слишкомъ неправильное развитіе органовъ производитъ уродовъ, которые, родясь, тотчасъ и умираютъ, такъ и въ сферѣ искусства есть произведенія, не переживающія минуты своего рожденія. Вотъ такія-то произведенія искусства могутъ быть и передѣлываемы, и приравливаемы къ случаю и къ обстоятельствамъ, и о такихъ-то произведеніяхъ говорится, что въ нихъ есть и красоты и недостатки. Но истинно-художествен-

ныя произведенія не имѣютъ ни красоты ни недостатковъ: для того доступна ихъ цѣлость, тому видится одна красота. Только близорукость эстетическаго чувства и вкуса, неспособная обнять цѣлое художественнаго произведенія и теряющаяся въ его частяхъ, можетъ въ немъ видѣть красоты и недостатки, приписывая ему собственную свою ограниченность.

Все, что ни есть въ дѣйствительности, есть обособленіе общаго духа жизни въ частномъ явленіи. Всякая организація есть свидѣтельство присутствія духа: гдѣ организація, тамъ и жизнь, а гдѣ жизнь, тамъ и духъ. И потому, какъ всякое произведеніе природы, отъ минерала и былинки до человека, есть обособленіе общаго духа жизни въ частномъ жизни, такъ и всякое созданіе искусства есть обособленіе общей міровой идеи въ частный образъ, въ самомъ себѣ замкнутый. Организація есть сущность того процесса, чрезъ который является все живое и нерукотворное, слѣдовательно, и все произведенія природы и искусства. И потому-то тѣ и другія такъ цѣлостны, такъ полны, окончены, — словомъ, замкнуты въ самихъ себѣ.

Но что же такое эта „замкнутость?“ спросятъ насъ, наконецъ. Отвѣчаемъ: это вещь столько же простая, сколько и мудрая,—и удовлетворительно отвѣтить на этотъ вопросъ столько же легко, сколько и трудно. Что такое духъ? Что такое истина? Что такое жизнь? Какъ часто предлагаются такіе вопросы, и какъ часто дѣлаются на нихъ отвѣты! Вся жизнь человѣческая есть не что иное, какъ подобные вопросы, стремящіеся къ разрѣшенію. И что же? — для многихъ ли рѣшена загадка и найдено слово? Отчего же такъ? Да оттого, что все вопросы и предлагаются и рѣшаются словомъ, а слово есть или мысль или пустой звукъ: кто въ самой натурѣ своей, внутри самого себя, въ таинственномъ святилищѣ духа своего носитъ возможность рѣшенія такихъ вопросовъ, — возможности, которая называется предощущеніемъ, предчувствіемъ, чувствомъ, внутреннимъ созерцаніемъ, внутреннимъ ясновидѣніемъ истины, врожденными идеями, и проч., — т.е. того слово есть мысль, и,

услышавъ его, онъ принимаетъ въ себя значеніе, заключенное въ этомъ словѣ. Причина такой понятливости заключается въ сродствѣ или, лучше сказать, въ тождествѣ познающаго съ познаваемымъ. Но и самое это тождество требуетъ большого развитія: иначе понятливость гунбеть, и вопросы остаются безотвѣтны. Но у кого нѣтъ этого тождества съ предметами его познанія, для того слово—пустой звукъ: ухо его слышитъ слово, но разумъ останется глухъ для него. Вотъ почему вопросы, о которыхъ мы говоримъ, столько же просты, сколько и мудрены, и отвѣчать на нихъ столько же легко, сколько и трудно. Однакожъ мы попытаемся здѣсь навести читателей на идею того, что мы называемъ, въ природѣ и искусствѣ, замкнутостью. Посмотрите на цвѣтущее растеніе: вы видите, что оно имѣетъ свою опредѣленную форму, которую отличается оно не только отъ существъ въ другихъ царствахъ природы, но даже и отъ растеній равнаго съ нимъ рода и вида: его листики расположены такъ симметрически, такъ пропорціонально, каждый изъ нихъ такъ тщательно, съ такою заботливостью, съ такимъ безконечнымъ совершенствомъ отдѣленъ и украшенъ до малѣйшихъ подробностей.. Какъ роскошно прекрасенъ его цвѣтокъ, сколько на немъ жучечекъ, отблесковъ: какая вѣтряная и яркая пыль... И какое, наконецъ, упоительное благоуханіе!.. Но все ли тутъ? О, нѣтъ! Это только вѣнчая форма, выраженіе внутренняго: эти чудныя краски вышли изнутри растенія, этотъ обаятельный ароматъ есть его бальзамическое дыханіе.. Тамъ, внутри его ствола, цѣлый новый міръ: тамъ самостоятельная лабораторія жизни, тамъ, по тончайшимъ сосудцамъ дивно правильной отдѣлки, течетъ влага жизни, струится невидимый эфиръ духа... Гдѣ же начало и причина этого явленія? Въ немъ самомъ: оно было уже, когда еще не было растенія, когда было только зерно. Уже въ этомъ зернѣ заключался и корень, и стволъ, и красивые листочки, и пышный ароматическій цвѣтъ! Видите ли, въ этомъ цвѣткѣ все, что ему нужно: и жизнь, и источникъ жизни, и явленіе, и причина явленія, и растительность, и все орудія, органы и сосуды

растительности: а между тѣмъ гдѣ вы усмотрите начало или конецъ всего этого? Вы видите, что это растеніе полно и совершенно само въ себѣ, не имѣетъ ничего недостающаго ему и ничего лишняго, что оно живо и индивидуально: но гдѣ же пружина его жизни, исходный пунктъ его индивидуальности? гдѣ? Они замкнуты въ немъ, и потому оно есть совершенно-цѣлое, оконченное—словомъ, замкнутое въ самомъ себѣ органическое существо. Но растеніе связано съ землею, въ которой первоначально развивается и изъ которой получаетъ питаніе, дающее ему матеріалы для развитія и поддержанія его бытія: посмотрите на животное: оно одарено способностью произвольнаго движенія, оно всегда носитъ себя съ самимъ собою; оно есть и растеніе, которое растетъ изъ почвы и на почвѣ, оно есть и почва, изъ которой и на которой растетъ. Смотри на него извнѣ, мы видимъ явленіе: вскрывъ его организмъ, мы видимъ источникъ явленія: тамъ кости связаны сухими жилками, стобы членовъ смазаны пѣсокорою, которая заготавливается въ особыхъ железахъ, мускулы протянуты нервами.. Но и тутъ вы еще не все видите: возьмите микроскопъ, увеличивающій въ миллионъ разъ, — и васъ поразитъ благоговѣйнымъ изумленіемъ эта безконечность организациі: вы увидите, что и тысячи вашихъ жизней недостаточно, чтобы только перечислить эти тончайшія нити, полныя перво-сущныхъ силъ природы,—и каждая ниточка, каждая фибра необходима для цѣлага, и не можетъ быть ни исключена ни замѣнена безъ искаженія цѣлой формы: между малѣйшими органами нѣтъ и такого пустого пространства, гдѣ бы могъ улечься невидимый для простаго глаза атомъ: все внутреннее такъ тѣсно и неразрывно слито вѣншиною формою, что одно замыкаетъ въ себѣ другое, а цѣлое есть замкнутое въ самомъ себѣ существо... Человѣкъ представляетъ въ этомъ отношеніи несравненно высшее и поразительнѣйшее зрѣлище: сообщенный и слитый со всею природою и тайною жизни природы, — онъ во всемъ, внѣ себя видитъ осуществившіеся законы собственнаго разума, и великое все нашло въ немъ свой органъ, отдѣлившись въ немъ отъ

самого себя, чтобы взглянуть на себя и сознать себя. Общее и безразличное стало въ немъ частнымъ и особнымъ, чтобы чрезъ эту частность и особность снова возвратиться къ своей общности, сознавъ ее. Законъ обособленія и замкнутости въ частномъ явленіи общаго есть основной законъ міровой жизни!.. И въ искусствѣ онъ открывается съ такимъ же полновластіемъ, какъ и въ природѣ: въ уразумѣніи тайны закона обособленія заключается разгадка тайны искусства. Творческая мысль, запавъ въ душу художника, организуется въ полное, цѣлостное, оконченное, особое и замкнутое въ себѣ художественное произведеніе. Обратите все ваше вниманіе на слово „организуется“: только органическое развивается изъ самого себя, только развивающееся изъ самого себя является цѣлостнымъ и особнымъ, съ частями пропорціонально и живо сочлененными и подчиненными одному общему. Вотъ почему, напр., романъ Вальтеръ-Скотта, наполненный такимъ множествомъ дѣйствующихъ лицъ, нисколько не похожихъ одно на другое, представляющій такое сцѣпленіе разнообразныхъ происшествій, столкновеній и случаевъ, поражаетъ васъ однимъ общимъ впечатлѣніемъ, даетъ вамъ созерцаніе чего-то единого — вмѣсто того, чтобы снутать и сбить васъ этимъ калейдоскопическимъ множествомъ характеровъ и событій. По той же причинѣ и каждое лицо въ романѣ существуетъ для васъ само по себѣ; вы видите его передъ собою во весь ростъ, во всей его характеристической особености, и никогда уже не забудете его, а если и забудете, то, перечитывая романъ вновь, хотя бы черезъ двадцать лѣтъ, тотчасъ увидите, что это лицо вамъ знакомо, что вы гдѣ-то уже видѣли его. Но цѣлое романа—его колоритъ, его индивидуальная особенность, его „нѣчто“, для выраженія котораго нѣтъ слова, — еще памятиѣ вамъ, неждѣи дѣялое слово въ особености: уже и лица всѣхъ романовъ, и содержаніе ихъ изгладились изъ вашей памяти, но съ вами: „Чамермурская Невѣста“, „Ивангос“, „Шотландскіе Пуритяне“ и пр., никогда не перестанутъ для васъ соединяться совершенно различными понятіями... Какъ какое-то не-

ясное видѣніе, какъ аккордъ, внезапно въ вышинѣ раздавшійся, какъ благоуханіе, мимо васъ мгновенно пронесшееся, будетъ вамъ, какъ въ туманѣ, представляться индивидуальная общность каждаго романа...

Все сказанное нами очень не трудно приложить къ роману Лермонтова. Для этого мы должны прослѣдить въ его содержаніи, уже хорошо извѣстномъ читателямъ, развитіе основной мысли. Романъ начинается описаніемъ переѣзда автора изъ Тифлиса черезъ Гайпаурскую долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомить онъ насъ съ мѣстностью. Очерки его столько же кратки, сколько и рѣзки, а главное—они набросаны какъ будто бы мимоходомъ. Въ то время, какъ его телѣжку тащили въ гору шесть быковъ и нѣсколько осетинъ, онъ замѣтилъ, что за его телѣжкой двигалась другая, которую тащили четыре быка, а за нею шелъ ея хозяинъ, куря изъ маленькой трубочки. Это былъ офицеръ, лѣтъ пятидесяти, съ смуглымъ лицомъ и преждевременно посѣдѣвшими усами, которые не соответствовали его твердой походкѣ и бодрому виду. Авторъ подошелъ къ нему и поклонился: тотъ молча отвѣтилъ на его поклонъ, пустивъ огромный клубъ дыма.

— Мы съ вами попутчики, кажется?

Онъ молча опять поклонился.

— Вы, вѣрно, ѣдете въ Ставрополь?

— Такъ-съ точно... съ казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую телѣжку четыре быка тащить шутя, а мою пустую шесть скотовъ едва подвигаютъ съ помощью этихъ осетинъ?

Онъ лукаво улыбнулся и значительно взглянулъ на меня.

— Вы, вѣрно, недавно на Кавказѣ?

— Съ годъ,—отвѣтилъ я.

Онъ улыбнулся вторично.

— А что жъ?

— Да такъ-съ! ужасные бестіи эти азіаты! Вы думаете, они помогаютъ, что кричатъ? А чортъ ихъ знаетъ, что они кричатъ? Быки-то ихъ понимаютъ: запрягите хоть двадцать, такъ коли они крикнуть по-своему, быки все ни съ мѣста.. Ужасные плуты! А что жъ съ нихъ возмемъ?.. Любятъ деньги драть съ проезжающихъ... Избаловали мѣщениковъ! увидите, они еще съ васъ возмучатъ на волю. Ужъ я ихъ знаю, меня не проведутъ“.

Такимъ образомъ, завязалось у автора знакомство съ однимъ изъ интереснѣйшихъ лицъ его романа—съ Макенмомъ Макенмычемъ, съ этимъ типомъ стараго кавказскаго служаки, закаленного въ опасностяхъ, трудахъ и битвахъ, котораго лицо такъ же загорѣло и сурово, какъ манеры простоваты и грубы, но у котораго чудесная душа, золотое сердце. Это типъ чисто русскій, который художественнымъ достоинствомъ созданія напоминаетъ оригинальнѣе изъ характеровъ въ романахъ Вальтеръ-Скотта и Купера, но который, по своей новостн, самообычности и чисто русскому духу, не походитъ ни на одинъ изъ нихъ. Искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы развить на дѣлѣ задачу, какъ данный природою характеръ долженъ образоваться при обстоятельствахъ, въ которыя поставитъ его судьба. Макенмъ Макенмычъ получилъ отъ природы человѣческую душу, человѣческое сердце, но эта душа и это сердце отличилась въ особую форму, которая такъ и говоритъ намъ о многихъ годахъ тяжелой и трудной службы, о кровавыхъ битвахъ, о затворнической и однообразной жизни въ недоступныхъ горныхъ крѣпостяхъ, гдѣ нѣтъ другихъ человѣческихъ лицъ, кромѣ подчиненныхъ солдатъ да захожащихъ для мѣны черкесовъ. И все это высказывается въ немъ не въ грубыхъ поговоркахъ, въ родѣ „чортъ возьми“, и не въ военныхъ восклицаніяхъ, въ родѣ „тысяча бомбъ“, безпрестанно повторяемыхъ, не въ попойкахъ и не въ куреніи табака,—а во взглядѣ на вещи, приобретенномъ навыкомъ и родомъ жизни, и въ этой манерѣ поступковъ и выраженія, которыя должны быть необходимымъ результатомъ взгляда на вещи и привычки. Умственный кругозоръ Максима Максимыча очень ограниченъ; но причина этой ограниченности не въ его натурѣ, а въ его развитіи. Для него „жить“ значитъ „служить“, и служить на Кавказѣ: „азіаты“—его природные враги: онъ знаетъ по опыту, что все они большіе плуты, и что самая ихъ храбрость есть отчаянная удача разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа: онъ не дается имъ въ обманъ, и ему смертельно досадно, если они обманутъ новичка и еще выманять у

него на водку. И это совѣтъ не потому, чтобы онъ былъ скупъ, — о нѣтъ! онъ только бѣдѣлъ, а не скупъ, и сверхъ того, кажется, и не подозрѣваетъ цѣны деньгамъ, но онъ не можетъ видѣть равнодушно, какъ плуты „азіаты“ обманываютъ честныхъ людей. Вотъ чуть ли не все, что онъ видитъ въ жизни, или, по крайней мѣрѣ, о чемъ чаще всего говоритъ. Но не спѣшите вашимъ заключеніемъ о его характерѣ: познакомьтесь съ нимъ получше, — и вы увидите, какое теплое, благородное, даже нѣжное сердце бьется въ желѣзной груди этого, повидимому, очерствѣвшаго человека: вы увидите, какъ онъ, какимъ-то инстинктомъ, понимаетъ все человѣческое и принимаетъ въ немъ горячее участіе; какъ, вопреки собственному сознанію, душа его жаждетъ любви и сочувствія, — и вы отъ души полюбите простого, добраго, грубаго въ своихъ манерахъ, лаконическаго въ словахъ Максима Максимыча.

Опытный штабсъ-капитанъ не ошибся: осетинцы обступили неопытнаго офицера и громко требовали на водку. Но Максимъ Максимычъ грозно прикрикнулъ на нихъ и заставилъ разбѣжаться. „Вѣдь, этакой народъ“, сказалъ онъ: „и хлѣба по-русски назвать не умѣетъ, а выучить: „офицеръ, дай на водку!“... Ужъ татары по мнѣ лучше: тѣ хоть непьющіе...“

Вотъ, наконецъ, путешественники наши добрались до станицы, и вошли въ саклю, переднее отдѣленіе которой было наполнено корами и овцами, а другое — людьми, сидѣвшими возлѣ огня, разложеннаго на землѣ. По полу разстилался дымъ, обратно втягиваемый вѣтромъ изъ отверстія въ потолокъ. Наши путники закурили трубки, внимая привѣтливому шипѣнію чайника.

„— Жалкіе люди! — сказалъ я штабсъ-капитану, указывая на нашихъ грязныхъ хозяевъ, которые молча на насъ смотрѣли въ какомъ-то ослѣбѣннѣи. — Прекланный народъ! — отвѣчалъ онъ. — Повѣрите ли, ничего не умѣютъ, неспособны ни къ какому образованію! Ужъ, по крайней мѣрѣ, наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, за то отчаянныя башки, а у этихъ и къ оружію никакой охоты нѣтъ: порядочнаго ни на комъ не увидишь. Ужъ подлинно осетины!“

— А вы долго были въ Чечнѣ?

— Да, я лѣтъ десятокъ стоялъ тамъ въ крѣпости съ ротою, у Каменнаго Брода, знаете?

— Слыхалъ.

— Вотъ, батюшка, надобли намъ эти головорѣзы; нынче, слава Богу, смирѣе, а бывало, на сто шаговъ отойдешь за вали ужъ гдѣ-нибудь косматый дьяволъ сидитъ и караулитъ: чуть зазѣвался, того и гляди — либо арканъ на шеѣ, либо пуля въ затылкѣ. *А молодцы!..*

— А, чай, много съ вами бывало приключеній?—сказалъ я, подстрекаемый любопытствомъ.

— Какъ не бывать! бывало...

Тутъ онъ началъ щипать лѣвый усъ, повѣсилъ голову и призадумался.

И вотъ Максимъ Максимычъ весь черетъ вами, со своимъ взглядомъ на вещи, съ своимъ оригинальнымъ способомъ выраженія! Вы еще такъ мало видѣли его, такъ мало познакомились съ нимъ, а уже черетъ вами не призракъ, волею или неволею принужденный авторомъ служить связью или вертѣть колесо его разсказа, а типическое лицо, оригинальный характеръ, живой человекъ! Такъ осуществляютъ свои идеалы истинные художники, двѣ, три черты — и черетъ вами, какъ живая, словно на-яву, стоитъ такая характеристическая фигура, которой вы уже никогда не забудете... „Тутъ онъ началъ щипать лѣвый усъ, повѣсилъ голову и призадумался“: какъ много сказано въ этихъ немногихъ простыхъ словахъ, какую рѣзкую черту проводятъ они по физиономіи Максима Максимыча, какъ много общаются, какъ сильно разманиваютъ любопытство читателя!.. Принявъ поданный ему стаканъ чая, Максимъ Максимычъ отхлебнулъ и сказалъ какъ будто про себя: „да, бываетъ!“ Но мы еще должны нѣсколько поговорить словами самого автора:

„— Не хотите ли подбавить рома?—сказалъ я моему собесѣднику,—у меня есть бѣлый изъ Тифлиса: теперъ холодно.

— Нѣтъ-съ, благодарствуйте, не пью.

— Что такъ?

— Да такъ. Я далъ себѣ заклятіе. Когда былъ еще подпоручикомъ, разъ, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сдѣлалась тревога; вотъ мы и вышли передъ фронтомъ на веселье, да

ужь и досталось намъ, когда Алексѣй Петровичъ узналъ: не дай Господи какъ онъ разсердился! Чуть-чуть не отдалъ подь судъ. Оно и точно: другой разъ цѣлый годъ живешь, никого не видишь, да какъ тутъ еще водка — пропаднѣй человѣкъ!

Услышавъ это, я почти потерялъ надежду.

Да вотъ хоть черкесы,—продолжалъ онъ, какъ напьются бузы на свадьбѣ или на похоронахъ, такъ и пошла рубка. Я разъ насилу ноги увесъ, а еще у мирнова князя былъ въ гостяхъ.

— Какъ же это случилось“?

Вотъ начало поэтической исторіи „Бѣлы“. Максимъ Максимычъ разсказывалъ ее по-своему, своимъ языкомъ: но отъ этого она не только ничего не потеряла, но безконечно много выиграла. Добрый Максимъ Максимычъ, самъ того не зная, сдѣлался поэтомъ, такъ что въ каждомъ его словѣ, въ каждомъ выраженіи заключается безконечный міръ поэзіи. Не знаемъ, чему здѣсь болѣе удивляться: тому ли, что поэтъ, заставивъ Максима Максимыча быть только свидѣтелемъ разсказываемаго имъ событія, такъ тѣсно слить его личность съ этимъ событіемъ, какъ будто бы самъ Максимъ Максимычъ былъ его героемъ; или тому, что онъ сумѣлъ такъ поэтически, такъ глубоко взглянуть на событіе глазами Максима Максимыча и разсказать это событіе языкомъ простымъ, грубымъ, но всегда живописнымъ, всегда трогательнымъ и потрясающимъ даже въ самомъ комизмѣ своемъ?..

Когда Максимъ Максимычъ стоялъ въ крѣпости за Теремомъ, къ нему вдругъ явился офицеръ, прикомандированный къ его крѣпости.

„— Его звали... Григорьемъ Александровичемъ Печорнымъ; славный былъ малый, смѣю васъ увѣрить; только немножко страшенъ. Вѣдь, на примѣръ, въ дождикъ, въ холодъ, цѣлый день на охотѣ; всё възябнуть, устануть, а ему ничего. А другой разъ сидитъ у себя въ комнатѣ: вѣтеръ пахнетъ,—увѣряетъ, что простудился; ставнемъ стукнетъ, онъ вздрагиваетъ и поблѣднѣетъ; а при мнѣ ходилъ на кабана одинъ на одинъ; бывало, по цѣлымъ часамъ слова не добьешься, зато ужь иногда, какъ начнешь разсказывать, такъ животикъ надорвешь со смѣха. Да-съ, съ большимъ странностями, и, должно быть, богатый человѣкъ; сколько у него было разныхъ дорогихъ вещей!..

— А долго ли онъ съ вами жилъ?—спросилъ я опять.

— Да съ годъ. Ну, да ужъ зато памятеи мнѣ этотъ годъ; надѣлалъ онъ много хлопотъ; не тѣмъ будь помянуть! Вѣдь, есть, право, такіе люди, у которыхъ на роду написано, что съ ними должны случаться разныя необыкновенныя вещи.

— Необыкновенныя! — воскликнулъ я, съ видомъ любознѣтства, подливая ему чая.

— А вотъ я вамъ расскажу“.

Недалеко отъ крѣпости жилъ мирной князь, сынъ котораго, мальчикъ лѣтъ пятнадцати, повадился ѣздить въ крѣпость. Печоринъ и Максимъ Максимычъ любили и баловали его. Это былъ прототипъ черкеса, безъ преувеличенія и безъ искаженія. Головорѣзъ, *проворный на все*, по словамъ Максима Максимыча: онъ поднималъ шанку на всемъ скаку, мастерски стрѣлялъ изъ ружья и былъ ужасно падохъ на деньги. Если его дразнили, глаза его наливались кровью, а рука хваталась за кинжалъ. „Ѣй, Аямать,— говоритъ ему Максимъ Максимычъ,— не сносишь тебѣ головы: яманъ будетъ твоя баника!“ Однажды старый князь пріѣхалъ въ крѣпость и позвалъ Максима Максимыча и Печорина на свадьбу своей дочери. Когда они пріѣхали въ аулъ, притавившіяся отъ нихъ женщины не показались красавицами Печорину. „Погодите, сказалъ я, усмѣхаясь (говоритъ Максимъ Максимычъ) У меня было свое на умѣ“.

Изъ этого мѣста разсказа Максима Максимыча можно получить самое вѣрное понятіе о нравахъ и обыкновеніяхъ дикихъ черкесовъ, хотя для ихъ описанія онъ и не дѣлаетъ отступленій. Какъ къ почетному гостю, къ Печорину подошла меньшая дочь хозяина, прекрасная дѣвушка лѣтъ шестнадцати, и пропѣла ему...

„— Какъ бы сказать?... въ родѣ комплимента.

— А что жъ такое она пропѣла, не помните ли?

— Да, кажется, вотъ такъ: стройны, *дескать*, наши молодые джигиты, и кафтаны на нихъ серебромъ выложены, а молодой русскій офицеръ стройнѣе ихъ, и галуны на немъ золотые. Онъ какъ тополь между ними; только не расти, не цвѣсти ему въ нашемъ саду“.

Печоринъ всталъ, приложилъ руку ко лбу и сердцу, а Максимъ Максимычъ перевелъ ей его отвѣтъ, ибо онъ хо-

рошо знать по ихнему, „Какова!“ шепнуть онъ Печорину. — „Прелесть! А какъ ее зовутъ?“ — „Бѣлою“.

„И точно (говорилъ Максимъ Максимычъ), она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, какъ у горной серны, такъ и заглядывали вамъ въ душу“. Печоринъ въ задумчивости не сводилъ съ нея глазъ, но не одинъ онъ смогъ бы на нее. Въ числѣ гостей былъ черкесъ Казбичъ. Онъ былъ и мирнымъ и немирнымъ, смотря по обстоятельствамъ; подозрѣній было на него множество, хотъ онъ не былъ замѣченъ ни въ какой пнатости. Но мы почитаемъ необходимымъ вполне описать это лицо, и именно словами Максима Максимыча. „Говорили про него, что онъ любить таскаться за Кубань съ абречами, и, правду сказать, рюкзакъ у него была самая разбойничья: маленькій, сухой, широкоплечій... А ужъ ловокъ-то, ловокъ-то быть, какъ бѣсъ! Бешметъ всегда порванный, въ заплаткахъ, а оружіе въ серебрѣ. А лошадь его ставилась въ цѣлой кабардѣ,—и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаромъ ему завидовали все наѣзники, и не разъ пытались ее украсть, только не удавалось. Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная, какъ смоль, ноги—струны, глаза не хуже, чѣмъ у Бѣлы, а какая сила! скачи хотъ на 50 верстъ: а ужъ выѣзжена—какъ собака бѣгаетъ за хозяиномъ; голосъ даже его знала! Бывало, онъ ее никогда и не привязываетъ. Ужъ такая разбойничья лошадь“!...

Въ этотъ вечеръ Казбичъ былъ угрюмѣ обыкновеннаго, и Максимъ Максимычъ, замѣтивъ, что у него подъ бешметомъ надѣто кольцо, тотчасъ подумалъ, что это не даромъ. Такъ какъ въ саклѣ стало душно, онъ вышелъ освѣжиться, и вздумалъ кетати провѣдать лошадей. Тутъ за заборомъ онъ подслушалъ разговоръ: Азаматъ похваливалъ лошадь Казбича, на которую давно зарился; а Казбичъ, подстрекаемый этимъ, рассказывалъ о ея достоинствахъ и услугахъ, которая она ему оказала, не разъ спасая его отъ вѣрной смерти. Это мѣсто повѣсти вполне знакомить читателя съ черкесами, какъ съ племенемъ, и въ немъ мо-

гучею художническою кистью обрисованы характеры Азамата и Казбича, этихъ двухъ рѣзкихъ типовъ черкесской народности. „Если бѣ у меня быть табунъ въ тысячу кобылъ, то отдать бы весь за твоего Карагѣза“,—сказалъ Азаматъ. „Нѣтъ, не хочу“,—равнодушно отвѣчалъ Казбичъ. Азаматъ льститъ ему, обѣщаетъ украсть у отца лучшую винтовку или шашку, которая, только приложи руку къ лезвію, сама вливается въ тѣло, кольчугу... Въ его словахъ такъ и дышитъ знойная, мучительная страсть дикаря и разбойника по рожденію, для котораго нѣтъ ничего въ мірѣ дороже оружія или лошади, и для котораго желаніе — медленная пытка на маломъ огнѣ, а для удовлетворенія жизнь собственная, жизнь отца, матери, брата — ничто. Онъ говорилъ, что съ тѣхъ поръ, какъ въ первый разъ увидѣлъ Карагѣза, когда онъ кружился и прыгалъ подъ Казбичемъ, раздувая ноздри, и кремни брызгами летѣли изъ-подъ копытъ его, что съ тѣхъ поръ въ его душѣ сдѣлалось что-то непонятное, все ему опостылѣло... Можно подумать, что онъ рассказываетъ о любви или ревности,—чувствахъ, которыхъ дѣйствіе часто бываетъ такъ страшно и въ людяхъ образованныхъ, а тѣмъ страшнѣе въ дикаряхъ. „На лучшихъ скакуновъ моего отца смотрѣлъ я съ презрѣніемъ (говоритъ Азаматъ), стыдно было мнѣ на нихъ показаться, и тоска овладѣла мной: и тоскуя, просиживать я на утесѣ цѣлые дни, и ежеминутно мыслямъ моимъ является вороной скакунъ твой съ своей стройной поступью, съ своимъ гладкимъ, прямымъ какъ стрѣла хребтомъ: онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза своими бойкими глазами, какъ-будто хотѣлъ слово вымолвить. Я умру, Казбичъ, если ты мнѣ не продашь его!“ Проговоривъ это дрожащимъ голосомъ, онъ заплакалъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, показалось Максиму Максимычу, который знаетъ Азамата, какъ преупрямаго мальчишку, у котораго ничѣмъ нельзя быто вышибить слезъ, когда онъ былъ и моложе. Но въ отвѣтъ на слезы Азамата послышалось что-то въ родѣ смѣха „Послушай!—сказалъ твердымъ голосомъ Азаматъ,—видишь,—я на все рѣшаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Какъ

она пляшетъ! какъ поетъ, а вышиваетъ золотомъ — чудо! не бывало такой жены и у турецкаго падишаха... Неужели не стоитъ, Бѣла твоего скакуна?..“

Казбичъ долго молчалъ и, наконецъ, вмѣсто отвѣта, затянулъ вполголоса старинную пѣсню, въ которой коротко и ясно выражена вся философія черкеса:

„Много красавицъ въ аулахъ у насъ,
Звѣзды сіяютъ во мракѣ ихъ глазъ,
Сладко любить ихъ, завидная доля;
Но веселѣй молодецкая воля.
Золото купить четыре жены,
Конь же лихой не имѣетъ пѣны:
Онъ и отъ вихря въ степи не отстанетъ,
Онъ не измѣнитъ, онъ не обманетъ“.

Напрасно Азаматъ упрашивалъ, плакалъ, лѣгилъ ему. „Поди прочь, безумный мальчишка! Гдѣ тебѣ ѣздить на моемъ конѣ! На первыхъ грѣхъ шагахъ онъ тебя сброситъ, и ты разобьешь себѣ затылокъ о камни!“, „Меня!“ крикнулъ Азаматъ въ бѣшенствѣ, и желѣзо дѣтскаго кинжала зазвенѣло о колычугу. Казбичъ оттолкнулъ его такъ, что онъ упалъ и ударился головою о плетень. „Будетъ потѣха!“ подумалъ Максимъ Максимычъ, винуздаль копей и вывелъ ихъ на задній дворъ. Между тѣмъ Азаматъ вбѣжалъ въ саклю въ разорванномъ бѣлиметѣ, говоря, что Казбичъ хотѣлъ его зарѣзать. Поднялся гвалтъ, раздались выстрѣлы, но Казбичъ уже вертѣлся на своемъ конѣ среди улицы, и ускользнулъ.

— Пякогда себѣ не прошу одного: чортъ меня дернулъ, прѣхавъ въ крѣпость, пересказать Григорію Александровичу все, что я слышалъ, сидя за заборомъ: онъ посмѣялся — такой хитрый! а самъ задумалъ кое-что.

— А что такое? расскажите, пожалуйста.

— Ну, ужъ нечего дѣлать, началъ рассказывать, такъ надо продолжать“.

Для черезъ четыре прѣхалъ въ крѣпость Азаматъ. Печоринъ началъ ему расхваливать лошадь Казбича. У татарченка засверкали глаза, а Печоринъ будто не замѣчаетъ: Максимъ Максимычъ заговорить о другомъ, а Печоринъ сведетъ разговоръ на лошадь. Это продолжалось

педѣли три: Азамать, видимо, бѣднѣлъ и чахнулъ. Короче: Печорицъ предложилъ ему чужого коня за его родную сестру; Азамать задумался: не жалость къ сестрѣ, а мысль о мщеніи отца потревожила его, но Печорицъ кольнулъ его самолюбіе, назвавъ ребенкомъ (названіе, которымъ всѣ дѣти очень оскорбляются!), а Карагѣзъ такая чудная лошадь!.. И вотъ однажды Казбичъ пріѣхалъ въ крѣпость и спрашиваетъ, не падо ли барановъ и меда: Максимъ Максимычъ велѣлъ привезти на другой день. „Азамать!“ — сказалъ Печорицъ, — завтра Карагѣзъ въ моихъ рукахъ: если нынче ночью Баба не будетъ здѣсь, не выдашь тебѣ коня“. „Хорошо!“ сказалъ Азамать, поскакать въ аулъ, и въ тотъ же вечеръ Печорицъ возвратился въ крѣпость вмѣстѣ съ Азаматомъ, у котораго, поперекъ сѣдла (какъ видѣлъ часовой), лежала женщина со связанными ногами и руками, съ головою, опутанною чадрой. На другой день Казбичъ явился въ крѣпости со своимъ товаромъ: Максимъ Максимычъ попотчивалъ его чаемъ, потому что (говорилъ онъ), хотя разбойникъ онъ, „а все-таки былъ моимъ кунакомъ“, Вдругъ Казбичъ посмотрѣлъ въ окно, вздрогнулъ, побѣднѣлъ, и съ крикомъ: „моя лошадь! лошадь!“ выбѣжалъ вонъ, перескочивъ черезъ ружье, которымъ часовой хотѣлъ загородить ему дорогу. Вдали скакалъ Азамать: Казбичъ выхватилъ изъ чехла ружье, выстрѣлилъ и, увѣрившись, что далъ промахъ, завизжалъ, вдребезги разбилъ ружье о камень, повалился на землю и зарыдалъ какъ ребенокъ. Такъ пролежалъ онъ до поздней ночи и цѣлую ночь, не дотрогиваясь до денегъ, которыя велѣлъ положить подлѣ него Максимъ Максимычъ за барановъ. На другой день, узнавши отъ часового, что похититель былъ Азамать, онъ засверкалъ глазами и отправился отыскивать его. Отца Бабы въ это время не было дома, а возвратившись, онъ не нашелъ ни дочери ни сына...

Какъ только Максимъ Максимычъ узналъ, что черкешенка у Печорина, онъ надѣлъ эполеты, шпагу и пошелъ къ нему.

„— Г. прапорщикъ, вы сдѣлали проступокъ, за который и я могу отвѣчать...

— И, полпоте! что жъ за бѣда? Вѣдь, у насъ давно все по-поламъ.

— Что за шутки! пожалуйста вашу шпагу!

— Митька, шпагу!

Митька принесъ шпагу. Исполнивъ долгъ свой, сѣлъ я къ нему на кровать и сказалъ: Послушай, Григорій Александровичъ; признайся, что не хорошо?

— Что не хорошо?

— Да то, что ты увезъ Бѣлу... Ужъ эта мнѣ бестія Азаматъ!.. Ну, признайся,—сказалъ я ему.

— Да когда она мнѣ правится?

Ну, что прикажете отвѣчать на это? Я сталъ втупикъ. Одна-кожъ, послѣ нѣкотораго молчанія, я ему сказалъ, что если отецъ станетъ требовать, надо будетъ ее отдать.

— Вовсе не надо.

— Да онъ узнаетъ, что она здѣсь.

— А какъ онъ узнаетъ?

Я опять сталъ втупикъ.

— Послушайте, Максимъ Максимычъ,—сказалъ Печоринъ, приподнявшись, —вѣдь, вы добрый человѣкъ, а если отдадимъ дочь этому дикарю, онъ ее зарѣжетъ или продастъ. Дѣло сдѣлано, не надо только охотою портить; оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

— Да покажите мнѣ ее,—сказалъ я.

— Она за этою дверью; только я самъ нынче напрасно хотѣлъ ее видѣть; сидитъ въ углу, закутавшись въ покрывало, не говорить и не смотреть: пуглива, какъ дикая серна. Я нанялъ нашу духаницу, она знаетъ по-татарски, будетъ ходить за нею и пріучать ее къ мысли, что она моя, потому что она никому не будетъ принадлежать, кромѣ меня, — прибавилъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу. Я и въ этомъ согласился... Что же прикажете дѣлать! Есть люди, съ которыми непременно должно согласиться“.

Нѣтъ ничего тяжелѣе и непріятнѣе, какъ излагать содержаніе художественнаго произведенія. Цѣль этого изложенія не состоитъ въ томъ, чтобы показать лучшія мѣста: какъ бы ни было хорошо мѣсто сочиненія, оно хорошо по отношенію къ цѣлому. слѣдовательно, изложеніе содержанія должно имѣть цѣлью — прослѣдить идею цѣлаго созданія, чтобы показать, какъ вѣрно она осуществлена поетомъ. А какъ это сдѣлать? цѣлаго сочиненія переписать нельзя; но каково же выбирать мѣста изъ превосходнаго цѣлаго, пропускать нѣкоторыя, чтобы вникши не перешли должныхъ гра-

ницъ? И потомъ, каково связывать выписанныя мѣста своимъ прозаическимъ разсказомъ, оставляя въ книгѣ тѣни и краски, жизнь и душу, держась одного мертваго скелета? Теперь мы особенно чувствуемъ всю тяжесть и неудобно-исполнимость взятой нами на себя обязанности. Мы и до сего мѣста терялись во множествѣ прекрасныхъ частностей, а теперь, когда начинается важнѣйшая часть повѣсти, теперь намъ такъ и хотѣлось бы выписать отъ слова до слова весь разсказъ автора, въ которомъ каждое слово такъ безконечно-значительно, такъ глубоко-значительно, дышитъ такою поэтическою жизнью, блеститъ такимъ роскошнымъ богатствомъ красокъ; а между тѣмъ мы попрежнему принуждены пересказывать по-своему, сколько возможно держась выражений подлинника и выписывая мѣста.

Холодно смотрѣла Бѣла на подарки, которые каждый день приносили ей Печорины, и гордо отталкивала ихъ. Долго безуспѣшно ухаживалъ онъ за нею. Между тѣмъ онъ учился по-татарски, а она начинала понимать по-русски. Она стала изрѣдка и посматривать на него, во все неподобья, не коса, и все грустила, напѣвала свои пѣсни вполголоса, „такъ что (говорилъ Максимъ Максимычъ), бывало, и мнѣ становилось грустно, когда слушалъ ее изъ соседней комнаты“. Уговаривая ее полюбить себя, Печоринъ спросилъ ее, не любить ли она какого-нибудь чеченца, и прибавилъ, что въ такомъ случаѣ онъ сейчасъ отпуститъ ее домой. Она вздрогнула едва примѣтно и покачала головою. „Или я тебѣ совершенно ненавистенъ?“ Она вздохнула. „Или твоя вѣра запрещаетъ полюбить меня?“ она поблѣднѣла и молчала. Потомъ онъ ей сказалъ, что Аллахъ одинъ для всѣхъ племенъ, и что если онъ ему позволитъ полюбить ее, то почему же запретить ей полюбить его. Этотъ доводъ, казалось, поразилъ ее, и въ ея глазахъ выразилось желаніе убѣдиться. „Если ты будешь грустить, говорить онъ ей, я умру. Скажи, ты будешь веселѣй?“ Она призадумалась, не спуская съ него черныхъ глазъ своихъ, потомъ улыбнулась и кивнула головою въ знакъ согласія. Онъ взялъ ея руку и сталъ ее уговаривать, чтобы она его

поцѣловала: она слабо зашпицалась и только повторяла: „поджалуста, поджалуста, не нада, не нада!“ Какая граціозная и въ то же время такая вѣрная натурѣ черта характера! Природа нигдѣ не противорѣчитъ себѣ, и глубокость чувства, достоинство и граціозность непосредственности такъ же иногда поражаютъ и въ дикой черкешенкѣ, какъ и въ образованной женщинѣ высшаго тона. Есть манеры столь граціозныя, есть слова столь благоухающія, что одного или одной изъ нихъ достаточно, чтобы обрисовать всего человѣка, выказать наружу все, что кроется внутри его. Не правда ли: слыша это милое, простодушное „поджалуста, поджалуста, не нада, не нада!“ вы видите передъ собою эту очаровательную черноокую Бѣлу, полудикую дочь вольныхъ ущелій, и васъ такъ обаятельно поражаетъ въ ней эта гармонія, эта особенность женственности, которая составляетъ всю прелесть, все очарованіе женщины?.. Онъ сталъ настаивать, она запрокала и заплакала. „И твоя мать-нища, твоя раба, — говорила она, — конечно, ты можешь меня принудить“ — и опять слезы. „Дьяволъ, а не женщина! — сказалъ онъ Максиму Максимычу; — только я даю вамъ честное слово, что она будетъ моя“...

Однажды онъ вошелъ къ ней, одѣтый по-черкесски и вооруженный, и сказалъ ей, что онъ виноватъ передъ нею, что онъ оставляетъ ее хозяйкой всего, что имѣетъ, даетъ ей волю, и самъ идетъ, куда глаза глядятъ, можетъ-быть, подъ пулю...

„Онъ отвернулся и протянулъ ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я могъ въ щель разсмотрѣть ея лицо; и мнѣ стало жаль, такая смертельная блѣдность покрыла это милое личико! Не слыша отвѣта, Печоринъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ двери, онъ дрожалъ, и сказать ли вамъ? я думаю, онъ въ состояніи былъ исполнить въ самомъ дѣлѣ то, о чемъ говорилъ шутя. Таковъ ужъ былъ человѣкъ, Богъ его знаетъ! Только онъ едва коснулся двери, какъ она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. Повѣрите ли? я, стоя за дверью, также заплакалъ, то-есть, знаете, не то, чтобы заплакалъ, а такъ, глухо!..

Штабсъ-капитанъ замолчалъ.

— Да, признаюсь, сказалъ онъ потомъ, теребя уши, мнѣ стало досадно, что никогда ни одна женщина меня такъ не любила“.

Скоро узналъ счастливый Печоринъ, что Бѣла полюбила его съ перваго взгляда. Да, это была одна изъ тѣхъ глубокихъ женскихъ натуръ, которыя любятъ мужчину тогда, какъ увидятъ его, но признаются ему въ любви не тогда, когда охотятся не скоро, а отдавшись, уже не могутъ больше принадлежать ни другому ни самимъ себѣ. Поэтъ не говорить объ этомъ ни слова, но потому-то онъ и поэтъ, что, не говоря много, даетъ знать все... Они были счастливы, но не завидуйте имъ, читатели: кто смѣетъ надѣяться на прочное счастье въ жизни?.. Минута ваша, ловите же ее, не надѣясь на будущее... Не долго продолжалось и твое блаженство, бѣдная, милая Бѣла!..

Векоръ Печоринъ и Максимъ Максимычъ узнали, что отецъ Бѣлы былъ убитъ Разбойцемъ, подозрѣвавшимся его въ участіи въ похищеніи Карагѣза. Отъ Бѣлы долго скрывали это, пока она не привыкла къ своему положенію: когда же ей сказали, она два дня плакала, а потомъ забыла. Четыре мѣсяца все нѣчто хорошо. Печоринъ такъ любилъ Бѣлу, что забылъ для нея охоту и не выходилъ за крѣпостной валь. Но вдругъ сталъ онъ задумываться, ходить по комнатамъ, заложивъ руки на спину. Ошакды, никому не сказавшись, отправился на охоту и пропадать цѣлое утро, потомъ опять, и все чаще и чаще. „Нехорошо (подумалъ Максимъ Максимычъ): вѣрно, между ними пробѣжала черная кошка!“ Въ одно утро онъ зашелъ къ нимъ и увидѣлъ Бѣлу такую блѣдненькую, такую печальную, что испугался. Онъ сталъ ее утѣшать. Сообщая ему свои страхи и опасенія, она сказала ему:

„— А нынче мнѣ уже кажется, что онъ меня не любитъ.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! Она заплакала, потомъ съ гордостью подняла голову, отверла слезы и продолжала:

— Если онъ меня не любитъ, то кто ему мѣшаетъ овладѣть мною домой? Я его не принуждаю. А если это такъ будетъ продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, а княжеская дочь“!..

Утѣшая ее, Максимъ Максимычъ замѣтилъ ей, что если она будетъ грустить, то скорѣе наскучитъ Печорину.

„— Правда, правда,—отвѣчала она:—я буду весела! И съ хо-

хотомъ схватила свой бубенъ, начала пѣть, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно, она упала на постель и закрыла лицо руками.

— Что было мнѣ съ нею дѣлать? Я, знаете, никогда съ женщинами не обращался: думалъ, думалъ, чѣмъ ее утѣшить, и ничего не придумалъ; нѣсколько времени мы оба молчали... Преле-приятное положеніе-съ“.

Вышедши съ нею прогуляться за крѣпость, Максимъ Максимычъ увидѣлъ черкеса, который вдругъ выѣхалъ изъ дѣса и, саженихъ во ста отъ нихъ, началъ какъ бѣшеный кружиться: Бала узнала въ немъ Каибича.

Наконецъ, Максимъ Максимычъ объяснился съ Печоринымъ насчетъ его охлажденія къ Бэлѣ, и Печоринъ сознался въ этомъ. Итакъ, Печоринъ охлаждѣлъ къ бѣдной Бэлѣ, которая любила его еще больше. Онъ не знаетъ самъ причины своего охлажденія, хотя и силится найти ее. Да, нѣтъ ничего труднѣе, какъ разбирать языкъ собственныхъ чувствъ, какъ знать самого себя! И объясненія автора для насъ такъ же неудовлетворительны, какъ и для Максима Максимыча, которому онъ ихъ сообщилъ. Можетъ-быть, и тутъ та же причина, и въ отношеніи къ автору и въ отношеніи къ намъ: нѣтъ ничего труднѣе, какъ знать и понимать самихъ себя! Но тѣмъ не менѣе мы предложимъ и наше рѣшеніе, или, лучше сказать, и наше гаданіе объ этомъ столько же общемъ, сколько и грустномъ феноменѣ человѣческаго сердца, который особенно частъ и поразителенъ въ современномъ обществѣ. Въ числѣ причинъ скорого охлажденія Печорина къ Бэлѣ не было ли причиною его и то, что для безсознательнаго, чисто естественнаго, хотя и глубокаго чувства черкешенки Печоринъ былъ полнымъ удовлетвореніемъ, далеко превосходящимъ самыя дерзкія ея требованія, тогда какъ духъ Печорина не могъ найти своего удовлетворенія въ естественной любви подудикаго существа? Къ тому же, вѣдь, одно наслажденіе далеко еще не составляетъ всѣхъ потребностей любви, а что могла дать Печорину любовь, кромѣ наслажденія? О чемъ могъ онъ говорить съ нею? что оставалось для него въ ней неразгаданнаго? Для любви нужно разумное содержаніе, какъ

масто для поддержки огня: любовь есть гармоническое слияніе двухъ родственныхъ натуръ въ чувство безконечнаго. Въ любви Бѣлы была сила, но не могло быть безконечности: сидѣть съ глаза на глазъ съ возлюбленнымъ, ласкаться къ нему, принимать его ласки, предугадывать и ловить его желанія, мѣтить отъ его лобзаній, замирать въ его объятіяхъ — вотъ все, чего требовала душа Бѣлы; при такой жизни и вѣчность показалась бы для нея мгновеніемъ. Но Печорина такая жизнь могла увлечь не больше, какъ на четыре мѣсяца, и еще надо удивляться силѣ его любви къ Бѣлѣ, если она была такъ продолжительна. Сильная потребность любви часто принимается за самую любовь, если представится предметъ, на который она можетъ устремиться: преніяствія превращаютъ ее въ страсть, а удовлетвореніе уничтожаетъ. Любовь Бѣлы была для Печорина полнымъ бокаломъ сладкаго напитка, который онъ и выпить заразъ, не оставивъ въ немъ ни капли: а душа его требовала не бокала, а океана, изъ котораго можно ежеминутно черпать, не уменьшая его...

Однажды Печоринъ отправился съ Максимомъ Максимычемъ на охоту за кабаномъ. Съ ранняго утра, часовъ съ десяти, напрасно искали они его: Максимъ Максимычъ уговаривалъ своего товарища воротиться, не тутъ-то было: несмотря ни на зной ни на усталость, тотъ не хотѣлъ воротиться безъ добычи. „Таковъ ужъ былъ человекъ: что задумаетъ, подавай: видно въ дѣтствѣ былъ маленькій избалованъ“. Однакожъ послѣ полудня они безъ ничего подъѣзжали къ крѣпости. Вдругъ выстрѣлы: оба они взглянули другъ на друга и опрометью поскакали на выстрѣлы. Солдаты въ кучу собрались на валу и указывали въ поле, а тамъ летитъ стремглавъ всадникъ и держитъ что-то бѣлое на сѣдлѣ. Это былъ Казбичъ, похитившій неосторожную Бѣлу, которая вышла за крѣпость къ рѣкѣ. Печорину удалось ранить въ ногу его коня. Казбичъ занесъ руку надъ Бѣлою. Максимъ Максимычъ выстрѣлилъ и, кажется, ранилъ его въ плечо; дымъ разсѣялся — на землѣ лежала раненая лошадь и возлѣ нея Бѣла, а Казбичъ какъ кошка караб-

кался на утесъ и скоро скрылся. Они къ Бѣтѣ — она была ранена, и кровь лилась изъ раны ручьями...

— И Бѣла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы ужъ съ нею измучились порядкомъ. Около десяти часовъ вечера она пришла въ себя; мы сидѣли у постели; только-что она открыла глаза, начала звать Печорина. — Я здѣсь, подлѣ тебя, моя джанечка (то-есть, по нашему, душенька), отвѣчалъ онъ, взявъ ее за руку. — Я умру! сказала она. — Мы начали ее утѣшать, говорили, что лѣкарь общалъ ее вылѣчить непременно, она покачала головой и отвернулась къ стѣнѣ; ей не хотѣлось умирать!..

— Ночью она начала бредить; голова ея горѣла, по всему тѣлу иногда пробѣгала дрожь лихорадки; она говорила несвязныя рѣчи объ отцѣ, братѣ; ей хотѣлось въ горы, домой... Потомъ она также говорила о Печоринѣ, давая ему разные названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбилъ свою джанечку.

— Онъ слушалъ ее молча, опустивъ голову на руки; но только я во все время не замѣтилъ ни одной слезы на рѣсницахъ его; въ самомъ ли дѣлѣ онъ не могъ плакать, или владѣлъ собою, — не знаю; что до меня, то я ничего жалче этого не видывалъ“.

Передъ смертью хриплымъ голосомъ закричала она: „воды! воды!“

„Онъ сдѣлался блѣденъ какъ полотно, схватилъ стаканъ, налилъ и подаль ей. И закрылъ глаза руками и сталъ читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видалъ я много, какъ люди умираютъ въ госпиталяхъ и на полѣ сраженія; только все это не то, совсѣмъ не то!.. Еще, признаться, меня вотъ что печалитъ: она передъ смертью ни разу не вспомнила обо мнѣ: кажется, я ее любилъ какъ отецъ... Ну, да Богъ ее проститъ... И въ правду молвить: что же я такое, чтобъ обо мнѣ вспоминать передъ смертью?..

— Только-что она испила воды, какъ ей стало легче, а минуты черезъ три она скончалась. Приложили зеркало къ губамъ — гладко!.. И вывелъ Печорина вонъ изъ комнаты, и мы пошли на крѣпостной валъ; долго мы ходили взадъ и впередъ рядомъ, не говоря ни слова, загнувъ руки на сину; его лицо ничего не выражало особеннаго, и мнѣ стало досадно! Я бы на его мѣстѣ умеръ съ горя. Наконецъ, онъ сѣлъ на землѣ, въ тѣни, и началъ что-то чертить палочкой на пескѣ. Я, знаете, больше для приличія, хотѣлъ утѣшить его, началъ говорить; онъ поднялъ голову и засмѣялся... У меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ отъ этого смѣха. Я пошелъ заказывать гробъ...

— На другой день, рано утромъ, мы ее похоронили за крѣпостью, у вала, гдѣ она въ послѣдній разъ сидѣла: кругомъ ея могилы разрослись кусты бѣлой акаціи и бузины. Я хотѣлъ, было, поставить крестъ, да, знаете, пеловко: все-таки она была не христіанка“.

Просимъ извиненія за множество выписокъ и у автора и у тѣхъ изъ читателей, которые прочтутъ нашу статью прежде романа: заманчивость перваго чтенія, сила и прелесть перваго впечатлѣнія будутъ для нихъ навсегда потеряны. Впрочемъ, едва ли кто и не читалъ „Бѣли“: она напечатана въ „Отечественныхъ Запискахъ“ еще въ прошедшемъ году, да и самый романъ давно уже вышелъ въ свѣтъ. Что же касается до тѣхъ, которые прочтутъ нашу статью уже послѣ романа, у нихъ черезъ это почти ничего не отнимается: напротивъ, если мы только хорошо сдѣлали наше дѣло, они вновь почувствуютъ уже неспытанное наслажденіе, и еще съ болѣею силою. Во всякомъ случаѣ, намъ не было никакой возможности избѣжать этихъ выписокъ. Мы хотѣли, чтобы въ нашемъ изложеніи содержанія романа видны были и характеры дѣйствующихъ лицъ, и сохранена была внутренняя жизненность разсказа, равно какъ и его колоритъ: а этого невозможно было сдѣлать, показавъ одинъ скелетъ содержанія или его отвлеченную мысль. Да и въ чемъ содержаніе повѣсти? Русскій офицеръ похитить черкешенку, сперва сильно любить ее, но скоро охладѣть къ ней; потомъ черкесъ увезъ было ее, но, видя себя почти пойманнымъ, бросилъ ее, нанеся ей рану, отъ которой она умерла! Вотъ и все тутъ. Не говоря о томъ, что тутъ очень немного, тутъ еще нѣтъ и ничего ни поэтическаго, ни особеннаго, ни занимательнаго, и все обыкновенно до пошлости, истерто. Но что же необыкновеннаго или поэтическаго, напримѣръ, и въ содержаніи Шекспирова „Отелло“? Мавръ убилъ страстно любимую имъ жепу изъ ревности, которую съ умысломъ возбудилъ въ немъ хитрый злодѣй: развѣ и это тоже не истерто и не обыкновенно до пошлости? Развѣ не было написано тысячи повѣстей, романовъ, драмъ, содержаніе которыхъ —

мужъ или любовникъ, убивающій изъ ревности невинную жену или любовницу? Но изъ всей этой тысячи только одного „Огелло“ знаетъ міръ, и одному ему удивляется. Значить: содержаніе не во внѣшней формѣ, не въ сцѣженіи случайностей, а въ замыслѣ художника, въ тѣхъ образахъ, въ тѣхъ тѣняхъ и переливахъ красокъ, которыя представлялись ему еще прежде, нежели онъ взялся за перо — словомъ, въ творческой концепціи. Художественное созданіе должно быть исполнѣ готово въ душѣ художника прежде, нежели онъ возьмется за перо: написать для него — уже второстепенный трудъ. Онъ долженъ сперва видѣть передъ собою лица, изъ взаимныхъ отношеній которыхъ образуется его драма или повѣсть. Онъ не обдумываетъ, не расчисляетъ, не терается въ соображеніяхъ: все выходитъ у него само собою, и выходитъ такъ, какъ должно. Событіе разворачивается изъ идеи, какъ растеніе изъ зерна. Поэтому-то и читатели видятъ въ его лицахъ живые образы, а не призраки, радуются ихъ радостями, страдаютъ ихъ страданіями, думаютъ, разсуждаютъ и спорятъ между собою о ихъ значеніи, ихъ судьбѣ, какъ будто дѣло идетъ о людяхъ, дѣйствительно существовавшихъ и знакомыхъ имъ. Этого нельзя сдѣлать, сперва придумавши отвлеченное содержаніе, т.-е. какую-нибудь завязку и развязку, а потомъ уже придумавши лица, и волею или неволею заставивши ихъ играть сообразныя съ сочиненною цѣлю роли. Вотъ почему изложеніе содержанія такъ затруднительно для критика, и безъ выписокъ нельзя ему обойтись: надо сдѣлать его кратко и заставить говорить само за себя разбираемое твореніе.

Глубокое впечатлѣніе оставляетъ послѣ себя „Бѣла“: вамъ грустно, но грусть ваша легка, свѣтла и сладостна: вы летите мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не страшна: ее освѣщаетъ солнце, омываетъ быстрый ручей, котораго ропотъ, вмѣстѣ съ шелестомъ вѣтра въ листьяхъ бузины и бѣлой акаціи, говоритъ вамъ о чемъ-то таинственномъ и безмолвномъ, и надъ нею, въ свѣтлой вышинѣ, летаетъ и носится какое-то прекрасное видѣніе, съ блѣдными лавитами, съ выраженіемъ укора и прощенія въ чер-

ныхъ очахъ, съ грустною улыбкою... Смерть черкешенки не возмущаетъ васъ безотраднѣмъ и тяжелымъ чувствомъ, ибо она явилась не страшнымъ скелетомъ по произволу автора, но вѣдѣтвѣ разумной необходимости, которую вы почувствовали уже, и явилась свѣтлымъ ангеломъ примиренія. Диегонасъ разрѣшился въ гармонически аккорды, и вы съ умиленьемъ повторяете простые и трогательныя слова добраго Максима Максимыча: „Нѣтъ, она хорошо съдѣлала, что умерла! ну, чтобы съ ней стало, еслибъ Григорій Александровичъ ее покинулъ? А это бы случилось рано или поздно!“...

И съ какимъ безконечнымъ искусствомъ описанъ граціозный образъ пленительной черкешенки! Она говоритъ и дѣйствуетъ такъ мало, а вы живо видите ее передъ глазами во всей определенности живого существа, читаете въ ея сердцѣ, проникаете въ изгибы его... А Максимъ Максимычъ, этотъ добрый простакъ, который и не подозреваетъ, какъ глубока и богата его натура, какъ высокъ и благороденъ онъ? Онъ, грубый солдатъ, любитъ Бѣлоу, какъ прекраснымъ дитятемъ, любитъ ее, какъ милую дочь, — и за что? — спросите его, такъ онъ отвѣтитъ вамъ: „не то, чтобы любить, а такъ — глупость!“ Ему досадно, что его ни одна женщина не любила такъ, какъ Бѣла Печорина; ему грустно, что она не вспомнила о немъ передъ смертью, хотя онъ и самъ сознается, что это съ его стороны не совсѣмъ справедливое требованіе... Останавливаться ли на этихъ чертахъ, столь полныхъ безконечностью? Нѣтъ, онъ говорить самъ за себя; а тѣ, для кого онъ нѣмъ, тѣ не стоятъ, чтобы тратить съ ними слова и время. Простая красота, которая есть одна истинная красота, не для всѣхъ доступна: у большей части людей глаза какъ грубы, что на нихъ дѣйствуетъ только пестрота, узорчатость и красная краска, густо и ярко намазанная... Характеры Азамата и Казбича — это такіе типы, которые будутъ равно понятны и англичанину, и нѣмцу, и французу, какъ понятны они русскому. Вотъ что называется рисовать фигуру во весь ростъ, съ національною фizioномією и въ національномъ костюмѣ!..

Обратите еще вниманіе на эту естественность разсказа, такъ свободно развивающагося, безъ всякихъ натяжекъ, такъ плавно текущаго собственною силою, безъ помощи автора. Офицеръ, возвращающійся изъ Тифлиса въ Россію, встрѣчается въ горахъ съ другимъ офицеромъ; одиночество дорожнаго положенія даетъ одному право начать разговоръ съ другимъ, и такъ естественно доводитъ ихъ до знакомства. Одинъ предлагаетъ чай съ ромомъ—тотъ отказывается, говоря, что по одному случаю онъ зарекся пить. Очень естественно, что, сидя въ дымной и гадкой саклѣ, путешественникъ заводитъ съ товарищемъ разговоръ объ обитателяхъ сакли: товарищъ этотъ —пожилой офицеръ, много лѣтъ проведшій на Кавказѣ, естественно, очень охотно разговариваетъ объ этомъ предметѣ. Вопросъ молодого офицера: „А что, много съ вами бывало приключеній?“ такъ же естественно, какъ и отвѣтъ пожилого: „Какъ не бывать! бывало...“ Но это не приступить къ повѣсти, а только еще, какъ и должно, слабая надежда услышать повѣсть: авторъ не погоняетъ обстоятельство, какъ лошадей, но даетъ имъ самимъ развиться. Онъ предлагаетъ Максиму Максимычу чай съ ромомъ: тотъ отказывается отъ рома, говоря, что зарекся пить. Вопросъ: „почему?“ молодого офицера такъ же не можетъ быть сочтенъ натяжкою, какъ откликъ человѣка, когда его зовутъ. Отвѣтъ Максима Максимыча, въ которомъ онъ говоритъ о случаѣ, заставившемъ его заречься пить вино, уже ожидается самимъ читателемъ. Случай этотъ чисто кавказскій: офицеры пировали, какъ вдругъ сдѣлалась тревога. Но разсужденіе Максима Максимыча, что иногда годъ жизни — тревоги нѣтъ, „да какъ тутъ еще водка — пронашій человѣкъ“, отнимаетъ всякую надежду на повѣсть: какъ вдругъ онъ обращается къ черкесамъ, которые, если напьются бузы, такъ и начнутъ рубиться, и очень естественно вспоминаетъ одинъ случай. Онъ и расположенъ его разсказать, но какъ бы не хотеть навязываться съ разсказами. Молодой офицеръ, котораго любопытство давно уже сильно возбуждено, но который умѣетъ умирить его приличіемъ, съ притворнымъ равнодушіемъ спрашиваетъ:

„какъ же это случилось?“ — „Вотъ изводите видѣть“ — и повѣсть началась. Исходный пунктъ ея — страстное желаніе мальчика-черкеса имѣть лихого коня, и вы помните эту дивную сцену изъ драмы между Азаматомъ и Казбичемъ. Печоринъ — человѣкъ рѣшительный, алчущій тревогъ и бурь, готовый рискнуть на все для выполненія даже прихоти своей, — а здѣсь дѣло шло о чѣмъ-то гораздо большемъ, чѣмъ прихоть. И такъ все вышло изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, по законамъ строжайшей необходимости, а не по произволу автора. Но еще повѣсть была простымъ анекдотомъ, и новые знакомые уже пустились въ разсужденія по поводу его, какъ вдругъ Максимъ Максимычъ, у котораго воспоминаніе оживло, и потребность сообщить его другому возбудилась, какъ бы говоря съ самимъ собою, прибавилъ: „Никогда себѣ не прощу одного: чортъ дернулъ меня, прѣхавъ въ крѣпость, пересказать Григорію Александровичу все, что я слышалъ, сидя за заборомъ; онъ посяблялся, — такой хитрый! — а самъ задумать кое-что“. Что можетъ быть естественнѣе, проще всего этого? Такая естественность и простота никогда не могутъ быть дѣломъ расчета и соображенія: онъ — плодъ вдохновенія.

Итакъ, исторія Бѣлы кончилась: но романъ еще только начался, и мы прочли одно вступленіе, которое, впрочемъ, и само по себѣ, отдѣльно взятое, есть художественное произведеніе, хотя и составляетъ только часть цѣлаго. Но пойдёмъ далѣе. Во Владикавказѣ авторъ опять сѣхался съ Максимомъ Максимычемъ. Когда они сѣдали, на дворъ вѣхала щегольская коляска, за которою шелъ человѣкъ. Несмотря на грубость этого человѣка, „балованнаго слуги лѣниваго барина“, Максимъ Максимычъ спросился у него, что коляска принадлежитъ Печорину. „Что ты? Что ты? Печоринъ!.. Ахъ, Боже мой!.. Да не служить ли онъ на Кавказѣ?“ Въ глазахъ Максима Максимыча сверкала радость. „Служилъ, кажется, да я у нихъ недавно“, отвѣчалъ слуга. „Ну, такъ!.. такъ!.. Григорій Александровичъ? Такъ, вѣдь, его зовутъ? Мы съ твоимъ бариномъ были пріятелями“, прибавилъ Максимъ Максимычъ, ударивъ дружески по плечу

лакея, такъ что заставить его пошатнуться... — „Позвольте, сударь: вы мнѣ мѣшаете“, — сказать тотъ, нахмурившись. „Экой ты, братецъ!.. Да знаешь ли? Мы съ твоимъ баринѣмъ были друзья закадычные, жили вмѣстѣ... Да гдѣ жъ онъ самъ остался?“ Слуга объявить, что Печоринъ остался ужинать и почевать у полковника Н***. „Да не зайдетъ ли онъ вечеромъ сюда?“ сказалъ Максимъ Максимычъ: „или ты, любезный, не пойдешь ли къ нему за чѣмъ-нибудь?.. Если пойдешь, такъ скажи, что здѣсь Максимъ Максимычъ: такъ и скажи... ужъ онъ знаетъ... И дамъ тебѣ восьмigrивенный на волю.“ Лакей сдѣлалъ презрительную мину, слыша такое скромное обѣщаніе, однако увѣрить Максима Максимыча, что исполнитъ его порученіе. „Вѣдь, сейчасъ прибѣжишь!...“ сказать мнѣ Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ, „пойду за ворота дожидаться... Эхъ, жалко, что я не знакомъ съ Н***!“

Итакъ, Максимъ Максимычъ ждетъ за воротами. Онъ отказался отъ чашки чая и, наскоро выпивъ одну, по вторичному приглашенію, опять выбѣжалъ за ворота. Въ немъ замѣтно было живѣющее безпокойство, и явно было, что его огорчало равнодушіе Печорина. Новый его знакомый, отворивъ окно, звать его спать: онъ что-то пробормоталъ, а на вторичное приглашеніе ничего не отвѣтилъ. Уже поздно ночью вошелъ онъ въ комнату, бросилъ трубку на столъ, сталъ ходить, ковырять въ печи, наконецъ, легъ, но долго кашлялъ, плевалъ, вертелся... „Не клопы ли васъ кусаютъ?“ спросилъ его новый пріятель — „Да, клопы...“ отвѣчалъ онъ, тяжело вздохнувъ.

На другой день утромъ сидѣлъ онъ за воротами. „Мнѣ надо сходить къ коменданту, — сказать онъ, — такъ, пожалуйста, если Печоринъ придетъ, прицлите за мной“. Но лишь ушелъ онъ, какъ предметъ его безпокойства явился. Съ любопытствомъ смотрѣлъ на него цѣпъ авторъ, и результатомъ его внимательнаго наблюденія были подробныя поргretы, въ которому мы возвратимся, когда будемъ говорить о Печоринѣ, а теперь займемся исключительно Максимомъ Максимычемъ. Надо сказать, что когда Печоринъ при-

шелъ, лакей доложилъ ему, что сейчасъ будутъ закладывать лошадей. Здѣсь мы снова должны прибѣгнуть къ дѣиной выпискѣ.

„Лошади уже были заложены: колокольчикъ по временамъ звѣнѣлъ подъ дугою, и лакей уже два раза подходилъ къ Печорину съ докладомъ, что все готово, а Максимъ Максимычъ еще не являлся. Къ счастью, Печоринъ былъ погруженъ въ задумчивость, глядя на синіе зубы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопился въ дорогу. Я подошелъ къ нему: „если вы захотите еще немного подождать“, сказалъ я, „то будете имѣть удовольствіе увидѣться съ старымъ пріятелемъ“.

— Ахъ, точно! быстро отвѣчалъ онъ: мнѣ вчера говорили,— но гдѣ же онъ?—И обернувшись къ площади и увидѣвъ Максима Максимыча, бѣгущаго, что было мочи... Черезъ нѣсколько минутъ онъ былъ уже возлѣ насъ; онъ едва могъ дышать; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки сѣдыхъ волосъ вырвались изъ-подъ шапки, приклеились ко лбу его; колѣни его дрожали... онъ хотѣлъ кинуться на шею Печорина, но тотъ довольно холодно, хотя съ пріивѣтливой улыбкой, протянулъ ему руку. Штабсъ-капитанъ на минуту остолбѣнѣлъ, но потомъ жадно схватилъ его руку обѣими руками; онъ еще не могъ говорить.

— Какъ я радъ, дорогой Максимъ Максимычъ. Ну, какъ вы поживаете?—сказалъ Печоринъ.

— А ты... а вы?.. пробормоталъ со слезами на глазахъ старикъ: сколько лѣтъ... сколько дней... да куда это?..

— Вѣду въ Персію—и дальше.

— Неужто сейчасъ?.. Да подождите, дрожайшій.. Неужто сейчасъ разетанемся?.. Сколько времени не видались...

— Мнѣ пора, Максимъ Максимычъ,—былъ отвѣтъ.

— Боже мой, Боже мой! да куда это такъ спѣшите?.. Мнѣ столько бы хотѣлось вамъ сказать... столько разспросить... Ну, что? въ отставку? какъ?.. что подѣлывали?..

— Скучалъ!—отвѣчалъ Печоринъ, улыбаясь...

— А помните наше житье-бытье въ крѣпости?.. Славная страна для охотниковъ!.. Вѣдь вы были страстный охотникъ стрѣлять... А Бѣла!..

Печоринъ чуть-чуть поблѣднѣлъ и отвернулся...

— Да, помню!—сказалъ онъ почти тотчасъ, принужденно звѣнувъ. Максимъ Максимычъ сталъ его упрашивать остаться съ нимъ еще часа два.

— Мы славно пообедаемъ, говорилъ онъ, у меня есть два фазана, а кахетинское здѣсь прекрасное.. разумѣется, не то, что въ Грузіи, однако лучшаго сорта... Мы поговоримъ... вы мнѣ расскажете про свое житье въ Петербургѣ... А?..

— Право, мнѣ нечего рассказывать, дорогой Максимъ Максимычъ... Однако прощайте, мнѣ пора .. я сиѣшу... Благодарю, что не забыли... прибавилъ онъ, взявъ его за руку.

Старикъ нахмурилъ брови... Онъ былъ печаленъ в сердцѣ, хотя старался скрыть это.—Забыть!—проворчалъ онъ,—я-то не забылъ ничего .. Ну, да Богъ съ вами!.. Не такъ я думалъ съ вами встрѣтиться...

— Ну, полно, полно! сказалъ Печоринъ, обнявъ его дружески; — неужели я не тотъ же? .. что дѣлать?.. Всекому своя дорога... Удастся ли еще встрѣтиться—Богъ знаетъ!.. Говоря это, онъ уже сидѣлъ въ коляскѣ, и ямщики уже началъ подбирать возжи.

— Постой! постой!—закричалъ вдругъ Максимъ Максимычъ, ухватясь за дверцы коляски, —совсѣмъ было забылъ... У меня остались ваши бумаги, Григорій Александровичъ... я ихъ тащу съ собою .. думалъ найти васъ въ Грузіи, а вотъ гдѣ Богъ далъ свидѣться... что мнѣ съ ними дѣлать?..

— Что хотите!—отвѣчалъ Печоринъ.—Прощайте.

— Такъ вы въ Персію?.. а когда вернетесь?.. кричалъ вслѣдъ Максимъ Максимычъ...

Коляска была уже далеко... Давно уже не слышно было ни звонка колокольчика ни стука колесъ по кремнистой дорогѣ, — а бѣдный старикъ еще стоялъ на томъ же мѣстѣ въ глубокой задумчивости“...

Довольно! не будемъ выискивать длиннаго и безсвязнаго монолога, который говорилъ огорченный старикъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ и сверкала на его рѣсницахъ. Довольно! Максимъ Максимычъ и такъ ужъ весь передъ нами... Если бы вы нашли его, познакомились съ нимъ, двадцать лѣтъ прожили съ нимъ въ одной крѣпости,—и тогда бы не знали лучше. Но мы больше уже не увидимся съ нимъ, а онъ такъ интересенъ, такъ прекрасенъ, что грустно такъ скоро разстаться съ нимъ, и потому взглянемъ на него еще разъ, уже послѣдній...

— „Максимъ Максимычъ, сказалъ я, подошедши къ нему,— а что это за бумаги оставилъ вамъ Печоринъ?“

— А Богъ его знаетъ! какія-то записки.

— Что вы изъ нихъ сдѣлаете?

— Что? я велю надѣлать патроновъ.

— Отдайте ихъ лучше мнѣ.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ, проворчалъ что-то

сквозь зубы и началъ рыться въ чемоданѣ; вотъ онъ вынулъ одну тетрадку и бросилъ ее съ презрѣніемъ на землю; потомъ другая, третья и десятая имѣли ту же участь: въ сію досадъ было что-то дѣтское; мнѣ стало смѣшно и жалко.

— Вотъ онѣ всѣ, — сказалъ онъ, — поздравляю васъ съ находкою...

— И я могу дѣлать съ ними все, что хочу?

— Хоть въ газетахъ печатайте. Какое мнѣ дѣло?.. Что я, развѣ другъ его какой или родственникъ?.. Правда, мы жили долго подъ одной кровлей... Да мало ли съ кѣмъ я не жилъ?.."

Схватя и унеся поскорѣе бумаги изъ опасенія, чтобы Максимъ Максимычъ не раскаялся, нашъ авторъ собрался въ дорогу: онъ уже надѣлъ шапку, какъ штабсъ-капитанъ вошелъ. Но нѣтъ, воля ваша! а ужъ надо проститься съ Максимомъ Максимычемъ какъ слѣдуетъ, то-есть не прежде, какъ выслушавъ его послѣднее слово. Что дѣлать? есть такіе люди, съ которыми, разъ познакомившись, вѣкъ бы не разстался...

— А вы Максимъ Максимычъ, развѣ не ѣдете?

— Нѣтъ-съ.

— А что такъ?

— Да я еще комеданта не видалъ, а мнѣ надо сдать кой-какія казенныя вещи.

— Да, вѣдь, вы же были у него?

— Былъ, конечно, — сказалъ онъ, заминаясь, да его дома не было... а я не дождался...

И понявъ его: бѣдный старикъ въ первый разъ отроду, можетъ-быть, бросилъ дѣла службы для *собственной надобности*, говоря языкомъ бумажнымъ, — и какъ же онъ былъ награжденъ!

— Очень жаль, — сказала я ему, — очень жаль, Максимъ Максимычъ, что намъ до срока надо разстаться.

— Гдѣ намъ, необразованнымъ старикамъ, за вами гоняться!.. вы молодежь свѣтская, гордая; еще покамѣть подѣ черкесскими пулями, такъ вы туда-сюда... а послѣ встрѣнитесь, такъ стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужилъ этихъ упрековъ, Максимъ Максимычъ.

— Да я, знаете, такъ, къ слову говорю; а, впрочемъ, желаю вамъ всякаго счастья и веселой дороги".

За симъ они довольно сухо разстались; но вы, любезный читатель, вѣрно не сухо разстались съ этимъ старымъ младенцемъ, столь добрымъ, столь милымъ, столь человѣчнымъ и столь необытнымъ во всемъ, что выходило за тѣсныя

кругозоръ его понятій и опытности? Не правда ли, вы такъ свыклись съ нимъ, такъ полюбили его, что никогда уже не забудете его, и если встрѣтите подъ грубой наружностью, подъ корою зачерствѣлости огъ грудной и скудной жизни—горячее сердце, подъ простою, мѣщанскою рѣчью—теплоту души, то вѣрно скажете: „это Максимъ Максимычъ“... И дай Богъ вамъ побольше встрѣтить на пути вашей жизни Максимъ Максимычей!..

И вотъ, мы разсмотрѣли двѣ части романа—„Бѣлу“ и „Максима Максимыча“: каждая изъ нихъ имѣетъ свою особенность и замкнутость, потому каждая и оставляетъ въ душѣ читателя такое полное, цѣлостное и глубокое впечатлѣніе. Героевъ той и другой повѣсти мы видѣли въ торжественнѣйшихъ положеніяхъ ихъ жизни, и коротко ихъ знаемъ. Первая—повѣсть, вторая—эскизъ характера: и каждая равно полна и удовлетворительна, ибо въ каждой поэтъ умѣлъ исчерпать все ея содержаніе, и въ типическихъ чертахъ вывести во внѣ все внутреннее, скрывшееся въ ней какъ возможность. Что намъ за нужда, что во второй нѣтъ романческаго содержанія, что она представляетъ собою не жизнь, а отрывокъ изъ жизни человека? Но если въ этомъ отрывкѣ—весь человекъ, то чего же больше. Поэтъ хотѣлъ изобразить характеръ, и превосходно успѣлъ въ этомъ: его Максимъ Максимычъ можетъ употребляться не какъ собственное, но какъ нарицательное имя, наравнѣ съ Овѣгичими, Лепескими, Загорѣвскими, Иванами Ивановичами, Иванами Никифоровичами, Афанасіями Ивановичами, Чацкими, Фамусовыми и пр. Мы познакомились съ нимъ еще въ „Бѣлѣ“, и больше уже не увидимся. Но въ обѣихъ этихъ повѣстяхъ мы видѣли еще одно лицо, съ которымъ одинаково знакомы. Это таинственное лицо не есть герой этихъ повѣстей, но безъ него не было бы этихъ повѣстей: онъ герой романа, котораго эти двѣ повѣсти только части. Теперь пора намъ съ нимъ познакомиться, и уже не чрезъ посредство другихъ лицъ, какъ прежде: они его не понимаютъ, какъ мы уже видѣли: равнымъ образомъ и не чрезъ поэта, который хотъ и одинъ виноватъ въ немъ, но умы-

васть въ немъ руки: а чрезъ него же самого: мы готовимся читать его записки. Поэтъ написалъ отъ себя предисловіе только въ запискахъ Печорина. Это предисловіе составляетъ родъ главы романа, какъ его существенѣйшая часть, но, несмотря на то, мы возвратимся къ нему послѣ, когда будемъ говорить о характерѣ Печорина, а теперь прямо приступимъ къ „запискамъ“.

Первое отдѣленіе называется „Тамань“, и, подобно первымъ двумъ, есть отдѣльная повѣсть. Хотя оно и представляетъ собою эпизодъ изъ жизни героя романа, но герой попрежнему остается для насъ лицомъ таинственнымъ. Содержаніе этого эпизода слѣдующее: Печоринъ въ Тамани остановился въ скверной хатѣ, на берегу моря, въ которой онъ нашелъ только слѣпого мальчика, лѣтъ 14-ти, и потомъ таинственную дѣвушку. Случай отрываетъ ему, что эти люди—контрабандисты. Онъ ухаживаетъ за дѣвушкою, и въ шутку грозитъ ей, что донесетъ на нихъ. Вечеромъ въ тотъ же день она приходитъ къ нему, какъ сирена, обольщаетъ его предложеніемъ своей любви, и назначаетъ ему ночное свиданіе на морскомъ берегу. Разумѣется, онъ является, но какъ страпость и какая-то таинственность во всѣхъ словахъ и поступкахъ дѣвушки давно уже возбудили въ немъ подозрѣніе, то онъ и запасся пистолетомъ. Таинственная дѣвушка пригласила его сѣсть въ лодку—онъ было колебался, но отступать было уже не время. Лодка помчалась, а дѣвушка обвинялась вокругъ его шеи, и что-то тяжелое унало въ воду... Онъ хватъ за пистолетъ, но его уже не было... Тогда завязалась между ними страшная борьба: наконецъ, мужчина побѣдилъ; посредствомъ осколка весла онъ добрался кое-какъ до берега, и, при лунномъ свѣтѣ, увидѣлъ таинственную уцдину, которая, спасшись отъ смерти, отряхалась. Черезъ нѣсколько времени она удалилась съ Янко, какъ видно, со своимъ любовникомъ и однимъ изъ главныхъ дѣйствующихъ контрабандистовъ: такъ какъ посторонній узналъ ихъ тайну, имъ опасно было оставаться болѣе на этомъ мѣстѣ. Слепой тоже пропалъ, укравъ у Печорина шкатулку, шашку съ серебряной оправой и дагестанскій кинжалъ.

Мы не рѣшились дѣлать выписокъ изъ этой повѣсти, потому что она рѣшительно не допускаетъ ихъ; это словно какое-то лирическое стихотвореніе, вся прелесть котораго уничтожается однимъ выпущеннымъ или измѣненнымъ не рукою самого поэта стихомъ; она вся въ формѣ; если выписывать, то должно бы ее выписать всю отъ слова до слова; пересказываніе ея содержанія дастъ о ней такое же понятіе, какъ рассказъ, хотя бы и восторженный, о красотѣ женщины, которой вы сами не видѣли. Повѣсть эта отличается какимъ-то особеннымъ колоритомъ; несмотря на прозаическую дѣйствительность ея содержанія, все въ ней таинственно, лица — какія-то фантастическія тѣни, мелькающія въ вечернемъ сумракѣ, при свѣтѣ зари или мѣсяца. Особенно очаровательна дѣвушка: это какая-то дикая сверкающая красота, обольстительная какъ сирена, неуловимая какъ ундина, страшная какъ русалка, быстрая, какъ прелестная тѣнь или волна, гибкая какъ тростникъ. Ее нельзя любить, нельзя и ненавидѣть, но ее можно только и любить и ненавидѣть вмѣстѣ. Какъ чудно-хороша она, когда, на крышѣ своей кровли, съ распущенными волосами, закрывъ глаза ладонью, пристально вематривается въ даль, и то смѣется и разсуждаетъ сама съ собою, то запѣваетъ полную раздолья и огласи удалую пѣсню.

Что касается до героя романа — онъ и тутъ является тѣмъ же таинственнымъ лицомъ, какъ и въ первыхъ повѣстяхъ. Вы видите человека съ сильною волею, оглаженного, не блѣднѣющаго никакой опасности, папращивающагося на бури и тревоги, чтобы занять себя чѣмъ-нибудь и наполнить бездонную пустоту своего духа, хотя бы и дѣятельностью безъ всякой цѣли.

Надпись. 1-я и „Княжна Мери“. Предисловіе нами прочитано, теперь начинается для насъ романъ. Эта повѣсть разнообразнѣе и богаче всѣхъ другихъ своимъ содержаниемъ, но зато далеко уступаетъ имъ въ художественности формы. Характеры ея — или очерки или силуэты, и только развѣ одинъ портретъ. Но что составляетъ ея недостатокъ, то же самое есть и ея достоинство, и наоборотъ. Подробное разсмотрѣніе ея объяснить нашу мысль.

Начинаемъ съ седьмой страницы. Печоринъ въ Пятигорскѣ, у Елисаветинскаго источника, сходитя съ своимъ знакомымъ — юнкеромъ Грушницкимъ. По художественному выполненію, это лицо стоитъ Макема Максимыча; подобно ему, это типъ, представитель цѣлаго разряда людей, имя парикательное. Грушницкій — идеальный молодой человекъ, который щеголяетъ своею идеальностью, какъ записные франты щеголяютъ моднымъ платьемъ, а „львы“ — ослиною глупостью. Онъ носитъ солдатскую шинель изъ толстаго сукна: у него георгиевскій солдатскій крестикъ. Ему очень хочется, чтобы его считали не юнкеромъ, а разжалованнымъ изъ офицеровъ; онъ находитъ это очень эффектнымъ и интереснымъ. Вообще „производить эффектъ“ — его страсть. Онъ говоритъ вычурными фразами, — словомъ, это одинъ изъ тѣхъ людей, которые особенно цѣнятъ чувствительныхъ, романтическихъ и романтическихъ провинціальныхъ барышень, одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ, по прекрасному выраженію автора записокъ, „не трогаетъ просто-прекрасное, и которые важно драмируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія“. „Въ ихъ душѣ, — прибавляетъ онъ, — часто много добрыхъ свойствъ, но ни на грошъ поэзіи“. Но вотъ самая лучшая и полная характеристика такихъ людей, сдѣланная авторомъ же журнала: „подъ старость они дѣлаются либо мирными помѣщиками, либо пьяницами, — иногда тѣмъ и другимъ“. Мы къ этому очерку прибавимъ отъ себя только то, что они страхъ какъ любятъ сочиненія Марлинскаго, и чуть зайдетъ рѣчь о предметахъ сколько-нибудь не житейскихъ, стараются говорить фразами изъ его повѣстей. Тенерь вы вполне знакомы съ Грушницкимъ. Онъ очень не одобряетъ Печорина за то, что тотъ его не знаетъ. Печоринъ тоже не любитъ Грушницкаго, и чувствуетъ, что когда-нибудь они столкнутся, и одному изъ нихъ не сдобровать.

Они встрѣтились какъ знакомые, и у нихъ началось разговоръ. Грушницкій началъ на общество, съѣхавшееся въ этотъ годъ на воды. „Нынѣшній годъ, — говорилъ онъ, —

изъ Москвы только одна княгиня Лиговская съ дочерью; но я съ ними незнакомъ; моя солдатская шинель какъ печать отверженія. Участіе, которое она возбуждаетъ, тяжело, какъ милостыня” Въ это время прошли мимо ихъ къ колодезю двѣ дамы, и Грушницкій сказалъ, что то княгиня Лиговская съ дочерью Мери. Опъ съ ними незнакомъ, потому что „этой гордой знати нѣтъ дѣла, есть ли умъ подъ нумерованной фурайкой и сердце подъ толстою шинелью!“ Звонкою фразою, громко сказанною по-французски, онъ обратилъ на себя вниманіе княгини. Печоринъ сказалъ ему: „эта княжна Мери прехорошенькая. У нея такіе бархатные глаза, — именно бархатные: я тебѣ совѣтую присмотрѣть это выраженіе, говоря о ея глазахъ: — нижнія и верхнія рѣсницы такъ длинны, что лучи солнца не отражаются въ ея зрачкахъ. Я люблю эти глаза — безъ блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя гладятъ... Впрочемъ, кажется, въ ея лицѣ только и есть хорошаго... а что у нея зубы бѣлы? Это очень важно! жаль, что она не улыбалась на твою пышную фразу!“ — „Ты говоришь о хорошей женщинѣ, какъ объ англійской лошади“, сказалъ Грушницкій съ негодованіемъ. Они разошлись.

Возвращаясь мимо того мѣста, Печоринъ, невидимый, былъ свидѣтелемъ слѣдующей сцены. Грушницкій былъ раненъ, или хотѣлъ казаться раненымъ, и потому хромать на одну ногу. Уронивъ стаканъ на песокъ, онъ напрасно усиливался поднять его. Легче птички подлетѣла къ нему княжна и, поднявъ стаканъ, подала ему его съ тѣлодвиженіемъ, исполненнымъ невыразимой прелести. Изъ этого выходитъ цѣлый рядъ смѣшныхъ сценъ, худо кончившихся для Грушницкаго. Онъ идеализируетъ — Печоринъ надъ нимъ тѣшится. Онъ хочетъ ему показать, что въ поступкѣ княжны не видать для Грушницкаго никакой причины къ восторгу или даже просто къ удовольствію. Печоринъ приписываетъ это своей страсти къ противорѣчію, говоря, что присутствіе энтузіазма обдастъ его крещенскимъ холодомъ, а частыя сношенія съ флегматикомъ могутъ сдѣлать его страстнымъ мечтателемъ. Напрасное обвиненіе! Такое чув-

ство противорѣчія понятно во всякомъ человѣкѣ съ глубокою душою. Дѣтская, а тѣмъ болѣе фальшивая идеальность оскорбляетъ чувство до того, что пріятно увѣрить себя въ ту минуту, что совсѣмъ не имѣешь чувства. Въ самомъ дѣлѣ, лучше быть совсѣмъ безъ чувства, нежели съ такимъ чувствомъ. Напротивъ, совершенное отсутствіе жизни въ человѣкѣ возбуждаетъ въ насъ невольное желаніе увѣриться въ собственныхъ глазахъ, что мы непохожи на него, что въ насъ много жизни, и сообщаетъ намъ какую-то восторженность. Указываемъ на эту черту ложнаго самообвиненія въ характерѣ Печорина, какъ на доказательство его противорѣчія съ самимъ собою, въ слѣдствіе непониманія самого себя, причины котораго мы объяснимъ ниже.

Теперь выходить на сцену новое лицо—медикъ Вернеръ. Въ беллетристическомъ смыслѣ, это лицо превосходно, но въ художественномъ довольно блѣдно. Мы болѣе видимъ, что хотѣлъ сдѣлать изъ него поэтъ, нежели что онъ сдѣлалъ изъ него въ самомъ дѣлѣ.

Жалѣемъ, что предѣлы статьи не позволяютъ намъ выписать разговора Печорина съ Вернеромъ: это образецъ граціозной шутливости и вмѣстѣ полнаго мысли остроумія (стр. 28—37). Вернеръ сообщаетъ ему свѣдѣнія о пріѣхавшихъ на воды, а главное—о Лиговскихъ „Что вамъ сказала княгиня Лиговская обо мнѣ?—спросилъ Печоринъ—„Вы очень увѣрены, что это княгиня... а не княжна?“—„Совершенно убѣжденъ“. — „Почему?“— „Потому что княжна спрашивала о Грушницкомъ“. — „У васъ большой царьображенія“, — отвѣчалъ Вернеръ. Затѣмъ онъ сообщилъ, что княжна почитаетъ Грушницкаго разжалованнымъ въ солдаты за дуэль. „Надѣюсь, вы се оставили въ этомъ пріятномъ заблужденіи?“ — „Разумѣется“. — „Завязка есть!“—закричалъ Печоринъ въ восторгъ,—объ развязкѣ этой комедіи мы похлопочемъ. Явно судьба заботится о томъ, чтобы мнѣ не было скучно“. Далѣе Вернеръ сообщилъ Печорину, что княгиня его знаетъ, потому что встрѣчала въ Петербургѣ, гдѣ его исторія (какая—этого не объясняется въ романѣ) нагнѣвала много шума. Говоря о ней, княгиня

къ свѣтскимъ сплетнямъ приплетала и свои, а дочка слушала со вниманіемъ; — въ ея воображеніи Печоринъ (по словамъ Вернера) сдѣлался героемъ романа въ новомъ вкусѣ. Вернеръ вызывается представить его княгинѣ. Печоринъ отвѣчаетъ, что героевъ не представляютъ, и что они не иначе знакомятся, какъ спасая отъ вѣрной смерти свою любезную. Въ шуткахъ его проглядываетъ намѣреніе. Мы скоро узнаемъ о немъ; оно началось отъ нечего дѣлать, а кончилось... по объ этомъ послѣ. Вернеръ сказалъ о княгинѣ, что она любитъ разсуждать о чувствахъ, о страстяхъ, и пр. Потомъ, на вопросъ Печорина, не видѣлъ ли онъ кого-нибудь у нихъ, онъ говоритъ, что видѣлъ женщину — блондинку, съ чахоточивымъ видомъ лица, съ черною ролликою на правой щекѣ. Примѣты эти, видимо, возмущали Печорина, и онъ долженъ былъ признаться, что нѣкогда любилъ эту женщину. Затѣмъ онъ проситъ Вернера не говорить ей о немъ, а если она спроситъ — отнестись о немъ дурно. „Покажун!“ отвѣталь Вернеръ, показавъ плечами и ушелъ.

Оставшись наединѣ, Печоринъ думаетъ о предстоящей встрѣчѣ, которая безпокоитъ его. Ясно, что его равнодушіе и пронія — больше свѣтская привычка, нежели черта характера. „Нѣтъ въ мірѣ человека (говоритъ онъ), надъ которымъ бы прошедшее приобрѣтало такую власть, какъ надъ мною. Всякое напоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу, и извлекаетъ нѣтъ нея все тѣ же звуки... Я глухо созданъ! ничего не забываю — ничего!“

Вечеромъ онъ вышелъ на бульваръ. Соединившись съ двумя знакомыми, онъ началъ имъ разсказывать что-то смѣшное; они такъ громко хохотали, что любопытство переманило на его сторону нѣкоторыхъ изъ обрѣжавшихъ княжну. Онъ, какъ выражается самъ, продолжалъ увлечать публику до захожденія солнца. Княжна нѣсколько разъ проходила мимо его съ матерью, — и ея взглядъ, стараясь выразить равнодушіе, выражалъ одну досаду. Съ этого времени у нихъ началась отърыгивал война: въ глаза и за глаза явились они другъ друга намѣшками, злыми намеками. Верхъ всегда

быть на сторонѣ Печорина, ибо онъ велъ войну съ толк-нымъ присутствіемъ духа, безъ великой заанятливости. Его равнодушіе бѣсило князю и, на зря ей самой, только дѣлало его интереснѣе въ ея глазахъ. Грушинскій стыдился за нею, какъ за вѣрью, и лишь только Печоринъ пререкъ старое знакомство его съ Лиговскими, какъ онъ въ самомъ дѣлѣ нашелъ случай заговорить съ княгиней и сказать какой-то комплиментъ князю. Вслѣдствіе этого онъ началъ докучать Печорину, почему онъ не познакомится съ этимъ домомъ, лучшимъ на водахъ? Печоринъ увѣряетъ идеальнаго пута, что княжна его любитъ; Грушинскій конфузится, говоритъ: „какой вздоръ!“ и само довольно улыбается. „Другъ мой, Печоринъ, — говоритъ онъ, — я тебя не поздравляю: ты у нея на дурномъ замѣчаніи.. А, право, жаль! потому что Мери очень мила!“ — „Да, она недурна! — сказать съ важностью Печоринъ, только берегитесь, Грушинскій!“ — Тутъ онъ сталъ ему давать совѣты и дѣлать предсказанія съ ученымъ видомъ знатока. Смысль ихъ былъ тотъ, что княжна изъ тѣхъ женщинъ, которыя любятъ, чтобы ихъ забавляли: что если съ Грушинскимъ будетъ ей скучно двѣ минуты сряду — онъ погибъ; что, наболевшившись съ нимъ, она выйдетъ за какого-нибудь урода, изъ покорности къ маменькѣ, а послѣ и стаплетъ увѣрять себя, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то-есть Грушинскаго, но что небо не хотѣло соединить ее съ нимъ, потому что на немъ была солдатская шинель, хотя подъ этой толстой сѣрой шинелью билось сердце страстное и благородное.. Грушинскій утѣрился по столу кулакомъ и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ. „Я внутренно хохоталъ (слова Печорина) и даже два улыбулся, по онъ, къ счастью, этого не замѣтилъ. Явно, что онъ влюбленъ, потому что еще доверчивѣе презняго: у него даже появилось серебряное кольцо съ чернью, зѣвней работы.. Я сталъ его разсматривать, и что же?.. мелкими буквами имя Мери было вырѣзано на внутренней сторонѣ, и рядомъ — число того дня, когда она подыала знаменитый стаканъ. Я угадалъ свое открытіе: я не хочу выжидать у

него признаний: я хочу, чтобы онъ самъ выбралъ меня въ свои повѣренныя. — и тутъ-то я буду наслаждаться!”

На другой день, гуляя по виноградной аллѣ и думая о женщинѣ съ родинкой, онъ въ гротѣ встрѣтился съ нею самою. Но здѣсь мы должны выпискою дать понятіе о ихъ отношеніяхъ.

„— Вѣра! — вскрикнулъ я невольно.

Она взирнула и поблѣднѣла. — Я знала, что вы здѣсь, — сказала она. Я сѣлъ возлѣ нея и взялъ ее за руку. Давно забытый трепетъ пробѣжалъ по моимъ жиламъ при звукѣ этого милаго голоса: она посмотрѣла на мнѣ въ глаза своими глубокими и спокойными глазами, — въ нихъ выражалась недовѣрчивость и что-то похожее на упрекъ.

— Мы давно не видались, — сказалъ я.

— Давно, и перемѣнились оба во многомъ.

— Стало быть, ужъ ты меня не любишь!..

— Я замужемъ!.. — сказала она.

— Опять? Однако, нѣсколько лѣтъ тому назадъ эта причина также существовала, но между тѣмъ...

Она выдернула свою руку изъ моей, и щеки ея запылали.

— Можетъ-быть, ты любишь своего второго мужа?

Она не отвѣчала и отвернулася.

— Или онъ очень ревнивъ?

Молчаніе.

— Что жь! онъ молодъ, хорошъ, особенно, вѣрно, богатъ, и ты боишься... Я взглянулъ на нее и испугался: ея лицо выражало глубокое отчаяніе, на глазахъ сверкали слезы.

— Скажи мнѣ, наконецъ, — прошептала она, — тебѣ очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидѣть. Съ тѣхъ поръ, какъ мы знаемъ другъ друга, ты ничего мнѣ не далъ, кромѣ страданій!.. Ея голосъ задрожалъ, она склонилась ко мнѣ и опустила голову на грудь мою.

— Можетъ-быть, — подумалъ я, — ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печаль никогда!.. “

Вѣра никакъ не хотѣла, чтобы Печоринъ познакомился съ ея мужемъ: но такъ какъ онъ дальній родственникъ Лиговиковъ, и какъ потому Вѣра часто бываетъ у ней, то она и взята съ него слово познакомиться съ княгиней.

Такъ какъ „Записки“ Печорина есть его автобіографія, то и невозможно дать полнаго понятія о немъ, не прибѣгая къ выпискамъ, а выписокъ нельзя дѣлать, не переписавши

большой части повѣсти. Посему мы принуждены пропускать множество подробностей самыхъ характеристическихъ, и слѣдить только за развитіемъ дѣйствій.

Однажды гуляя верхомъ, въ черкесскомъ платьѣ, между Пятигорскомъ и Желѣзноводскомъ, Печоринъ спустился въ оврагъ, закрытый кустарникомъ, чтобы напѣить лоя. Вдругъ онъ видитъ—приближается кавалыада: впереди ѣхалъ Грушинскій съ княжной Мери. Онъ былъ довольно смѣшонъ въ своей сѣрой солдатской шинели, сверху которой у него надѣта была шапка и пара пистолетовъ. Причина такого вооруженія та (говорить Печоринъ), что дамы на водахъ еще вѣрятъ нападенію черкесовъ.

— И вы цѣлую жизнь хотите остаться на Кавказѣ?—говорила княжна.

— Что для меня Россія?—отвѣчалъ ей кавалеръ,—страна, гдѣ тысячи людей, потому что они богаче меня, будутъ смотрѣть на меня съ презрѣніемъ, тогда какъ здѣсь,—здѣсь эта толстая шинель не помѣшала моему знакомству съ вами...

— Напротивъ...—сказала княжна, покраснѣвъ.

Въ это время они поравнялись со мной; я ударилъ плетью по лошади и выѣхалъ изъ-за куста.

— *Mon Dieu un Circassien!*..—вскрикнула княжна въ ужасѣ.

Чтобы ее совершенно разуверить, я отвѣчалъ по-французски, слегка поклонясь.

— *Ne craignez rien, madame, je ne suis plus dangereux que votre cavalier*..

Княжна смутилась отъ этого отвѣта. Вечеромъ того же дня Печоринъ встрѣтился съ Грушинскимъ на бульварѣ.

— Откуда? Отъ княжны Лиговской, — сказала онъ очень важно. — Какъ Мери поетъ! — Знаешь ли что? — сказала я ему, — я пари держу, что она не знаетъ, что ты юнкеръ; она думаетъ, что ты разжалованный.

Быть-можетъ! Какое мнѣ дѣло!..—сказалъ онъ разсѣянно.

— Нѣтъ, я только такъ это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ужасно ее разсердилъ! Она нашла, что это неслыханная дерзость; я василу могъ ее увѣрить, что ты не могъ имѣть намѣренія ее оскорбить; она говоритъ, что у тебя наглый взглядъ, что ты вѣрно о себѣ самомъ высоко мнѣнія.

— Она не ошибается.. А не хочешь ли за нее вступиться?

— Мнѣ жаль, что я не имѣю еще этого права...

Ого! думалъ я, у него есть уже надежда.

— Впрочемъ, для тебя же хуже, — продолжалъ Грушницкій, — теперь тебѣ трудно познакомиться съ ними, а жаль! это одинъ изъ самыхъ пріятныхъ домовъ, какіе я только знаю...

И внутренне улыбнулся. — Самый пріятный домъ для меня теперь мой, — сказала я, зѣвая, и встала, чтобы идти.

— Однако признайся, ты раскаявася?

— Какой вздоръ! если я захочу, то завтра же вечеромъ буду у княгини...

— Посмотримъ.

— Даже, чтобы тебѣ сдѣлать удовольствіе, стану волочиться за княжной“.

На балѣ въ ресторациі, Печоринъ услышалъ, какъ одна толстая дама, толкнутая княжною, бранила ее за гордость и извѣстила желаніе, чтобы ее проучили, и какъ одинъ услужливый драгунскій капитанъ, кавалеръ толстой дамы, сказалъ ей, что „до зимы дѣло не станетъ“. Печоринъ попросилъ княжну извиненія, и княжна едва могла подавить на устахъ своихъ улыбку торжества. Сдѣлавши съ нею нѣсколько туровъ, онъ завелъ съ нею разговоръ въ томъ касцагося преступника. Хохотъ и шушуканье прервали этотъ разговоръ, — Печоринъ обернулся: въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него стояла группа мужчинъ, и среди нихъ драгунскій капитанъ потиралъ отъ удовольствія руки. Вдругъ выходилъ на середину пьяная фигура съ усами и красной рожой, небрышми шагами подходитъ къ княжнѣ и, заложивъ руки на спину, уставивъ на смущенную дѣвушку мутно-сѣрые глаза, и говоря ей хриплымъ дислантомъ: „Пермее... ну, да что тутъ!.. просто ангажирую васъ на мазурку...“ Матери княжны не было вблизи: положеніе княжны было ужасно, она готова была упасть въ обморокъ. Печоринъ поспѣшилъ къ пьяному господину и попросилъ его уступить, говоря, что княжна дала уже ему слово танцевать съ нимъ мазурку. Разумѣется, слѣдствіемъ этой исторіи было формальное знакомство Печорина съ Лиговскими. Въ продолженіе мазурки Печоринъ говорилъ съ княжною, и намѣтилъ, что она очень мило шутила, что разговоръ ее былъ остръ, безъ притяганія на остроту, живъ и свободенъ: слѣдствіемъ иногда глубоки.

Этотъ разговоръ былъ программой той продолжительной интриги, въ которой Печоринъ играть роль соблазнителя отъ нечего дѣлать: княжна какъ птичка билась въ сѣняхъ, разставленныхъ искусною рукою, а Грушницкій попрежнему продолжалъ свою шутковскую роль. Чѣмъ скучнѣе и пессимистѣе становился онъ для княжны, тѣмъ смѣлѣе становились его надежды. Вѣра безпокоилась и страдала, замѣчая новыя отношенія Печорина къ Маріи: но при малѣйшемъ укорѣ или намекѣ должна была умолкать, покоряясь его обаятельной власти, которую онъ такъ тиранически употребляетъ надъ нею. Но что же Печоринъ? неужели онъ полюбитъ княжну? — вѣтъ. Стало-быть, онъ хочетъ обольстить ее? — вѣтъ. Можетъ быть, жениться? — вѣтъ. Вотъ что онъ самъ говоритъ объ этомъ: „Я часто себя спрашиваю, зачѣмъ я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой дѣвочки, которую обольстить я совѣтъ не хочу, и на которой никогда не женюсь? Къ чему это женское кокетство? Вѣра меня любитъ больше, чѣмъ княжна Марія будетъ любить когда-нибудь: еслибъ она казалась мнѣ непобѣдимой красавицей, то, можетъ-быть, я бы завлекся трудностью предпріятія. Изъ чего же я хлопочу? изъ зависти къ Грушницкому? Бѣдняжка! онъ вовсе ее не заслуживаетъ. Или это слѣдствіе того сквернаго, но непобѣдимаго чувства, которое заставляетъ насъ умолкать слабые заблужденія близкаго, чтобы имѣть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаяніи будетъ спрашивать, чему онъ долженъ вѣрить: „Мои другъ, со мной было то же самое, и ты видишь однако, я обѣдаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надѣюсь, сумѣю умереть безъ крика и слезъ!“

Потомъ онъ продолжаетъ, — и тутъ особенно раскрывается его характеръ:

„А, вѣдь, есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва раслутившейся душой! Она какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ ту минуту и, подышавъ имъ досыта, бросить на дорогѣ: авось, кто-нибудь подниметъ! И чувствую въ себѣ ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчаю на своемъ пути, я смогрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ

себѣ какъ на нищу, поддерживающую мои душевныя силы. Самъ я больше не способенъ безумствовать подъ вліяніемъ страсти; честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ другомъ видѣ, ибо честолюбіе есть не что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе подчинять моей волѣ все, что меня окружаетъ; возбуждать къ себѣ чувство любви, преданности и страха, не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданій и радости, не имѣя на то никакого положительнаго права, не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? насыщенная гордость. Еслибъ я почиталъ себя лучше, могущественнѣе всѣхъ на свѣтѣ, я былъ бы счастливъ; еслибъ всѣ меня любили, я въ себѣ нашелъ бы безконечные источники любви. Зло порождаетъ зло; первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другого: идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобы онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности; идеи—созданія органическія,—сказалъ кто-то, ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ больше другихъ дѣйствуетъ; отъ этого гений, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть или сойти съ ума, точно такъ же, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апоплексическаго удара“.

Такъ вотъ причины, за которыя бѣдная Мери такъ дорого должна заплатиться!.. Какой страшный человѣкъ этотъ Печоринъ! Потому что его безпокойный духъ требуетъ движенія, дѣятельности ницѣ нищѣ, сердце жаждетъ интересовъ жизни, потому должна страдать бѣдная дѣвушка? „Эгоистъ, злодѣй, извергъ, безразличный человѣкъ!“... хоромъ закричать, можетъ-быть, строгіе моралисты. Ваша правда, господа; но вы-то изъ чего хлещете? за что сердитесь? Право, намъ кажется, вы прішли не въ свое мѣсто, сѣли за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора!.. Не подходите слишкомъ близко къ этому человѣку, не нападайте на него съ такою запальчивою храбростью: онъ на васъ выйдетъ, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ всѣ прочтутъ судъ вашъ. Вы предасте его анасемъ не за пороки, — въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чернѣе и позорнѣе,—но за ту смѣлую свободу, за ту великую откровенность, съ которою онъ говоритъ о нихъ. Вы позво-

ляете человѣку дѣлать все, что ему угодно, быть всѣмъ, чѣмъ онъ хочетъ, вы охотно прощаете ему и безуміе, и лизость, и развратъ; но, какъ пошлину за право торговли, требуете отъ него моральныхъ сентенцій о томъ, какъ долженъ человѣкъ думать и дѣйствовать, и какъ онъ въ самомъ-то дѣлѣ и не думаетъ и не дѣйствуетъ... И зато ваше инквизиторское ауто-да-фе готово для всякаго, кто имѣетъ благородную привычку смогрѣть дѣйствительности прямо въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называть вещи настоящими ихъ именами и показывать другимъ себя не въ бальномъ костюмѣ, не въ мундирѣ, а въ халатѣ, въ своей комнатѣ, въ уединенной бесѣдѣ съ самимъ собою, въ домашнемъ расчетѣ съ своею совѣстью... И вы правы: покажитесь передъ людьми хоть разъ въ своемъ позорномъ negligee, въ своихъ засаленныхъ ночныхъ колпакахъ, въ своихъ оборванцыхъ халатахъ, люди съ отвращеніемъ отвернутся отъ васъ, и общество извергнетъ васъ изъ себя. Но этому человѣку ничего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что онъ не то, чѣмъ самому себѣ кажется, и что онъ есть только въ настоящую минуту. Да, въ этомъ человѣкѣ есть сила духа и могущество воли, которыхъ въ васъ нѣтъ: въ самихъ порокахъ его проблескиваетъ что-то великое, какъ молнія въ черныхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, полонъ поэзіи даже и въ тѣ минуты, когда человѣческое чувство возмущается на него... Ему другое назначеніе, другой путь, чѣмъ вамъ. Его страсти — бури, очищающія сферу духа: его заблужденія, какъ ни странны они, остры и болѣзненны въ молодомъ тѣлѣ, укрѣпляютъ его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ и геморрой, которыми вы, бѣдные, такъ бесплодно страдаете... Пусть онъ клеветаетъ на вѣщныя законы разума, поставляя высшее счастье въ насущной гордости: пусть онъ клеветаетъ на человѣческую природу, видя въ ней одинъ эгоизмъ; пусть клеветаетъ на самого себя, принимая моменты своего духа за его полное развитіе и смѣшивая юность съ возмужалостью, — пусть... Настанетъ торжественная минута, и противорѣчіе

разрывается, борьба колеблется, и разрываемые звуки души свиваются въ одинъ гармоничекій аккордъ! . Далеко и теперь онъ протравливается и противорѣчитъ себѣ, уничтожая одною страницей все предыдущее: такъ глубока его натура, такъ врождена ему разумность, такъ силенъ у него инстинктъ истины! Послѣдующее, что говоритъ онъ тотчасъ послѣ того мѣста, которое, вѣроятно, такъ возмущаетъ моралистовъ:

„Страсти не что иное, какъ идеи при первомъ своемъ развитіи: онѣ принадлежатъ юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ ими цѣлую жизнь любоваться: многія спокойныя рѣки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачетъ и не плыветъ до самаго моря. Но это спокойствіе часто признакъ великой, хотя скрытой силы: полнота и глубина чувствъ и мыслей не допускаетъ бышлыхъ порывовъ: душа, страдая и наслаждаясь, даетъ во всемъ себѣ стройнѣй отчетъ, и убождается въ томъ, что такъ толкнуто: она знаетъ, что безъ грѣзъ постоянный зной солнца ее изсушитъ, она проникается своею собственною жизнью, дѣлается и наказывается себя, какъ любимаго ребенка. Только въ этомъ высшемъ состояніи самознанія человекъ можетъ оценить правосудіе Божіе“.

Но пока (прибавимъ мы отъ себя), пока человекъ не дойдетъ до того высшаго состоянія самознанія, если ему неизбежно должи до него, — онъ долженъ страдать отъ другихъ, и застаивать страсти другихъ, возставать и падать, падать и воставать, отъ изнужденія переходить къ заблужденію и отъ истины къ лжи. Все эти отступленія суть необходимыя и дѣйствы въ сферѣ сознанія: чтобы войти до мѣста, часто надо дать большой крутокъ, совершить длинный обходъ, вѣрнѣе сказать съ дороги назадъ. Царство истины есть обитываемая земля, и путь къ ней — арабійская пустыня. Но, съжжете вы, за что же другіе должны гибнуть отъ такихъ страстей и ошибокъ? А развѣ мы сами не гибнемъ иногда такъ отъ собственныхъ, такъ и отъ чужихъ? Кто вылетѣлъ изъ горнила испытаній чистъ и свѣтелъ какъ золото, натура того — благородный металлъ: кто сгорѣлъ или не очнулся, натура того — дерево или жесть. И если многія благородныя натуры погибаютъ жертвами случайности, разрѣшеніе на этотъ вопросъ дастъ ре-

лиги. Для насъ ясно и положительное одно: безъ бурь нѣтъ плодородія, и природа изнываетъ; безъ страстей и противорѣчій нѣтъ жизни, нѣтъ поэзіи. Лишь бы только въ этихъ страстяхъ и противорѣчіяхъ была разумность и человечность, и ихъ результаты вели бы человека къ его цели, — а судъ принадлежитъ не намъ: для каждаго человека судъ въ его дѣлахъ и ихъ слѣдствіяхъ! Мы должны требовать отъ искусства, чтобы оно показывало намъ дѣйствительность, какъ она есть, ибо какова бы она ни была, эта дѣйствительность, она больше скажетъ намъ, больше научитъ насъ, чѣмъ все выдумки и поученія моралистовъ...

Но, скажутъ, можетъ-быть, рецензеры, зачѣмъ рисовать картины возмущительныхъ страстей, вмѣсто того, чтобы плыть воображеніе изображеніемъ кроткихъ чувствованій природы и любви, и трогать сердце и поучать умъ? — Старая пѣсня, господа, такъ же стара, какъ и „Выйду-ль я на рѣченьку, посмотрю на быструю!“... Литература восемнадцатаго вѣка была по преимуществу моральной и разсудочною, въ ней не было другихъ повѣстей, какъ *contes moraux* и *contes philosophiques*; однакожь эти нравственные и философскія книги никого не исправили, и вѣкъ все-таки былъ по преимуществу безнравственнымъ и развратнымъ. И это противорѣчіе очень понятно. Законы нравственности въ натурѣ человека, въ его чувствахъ, и потому они не противорѣчаютъ его дѣламъ; а кто чувствуетъ и поступаетъ сообразно съ своимъ чувствомъ, тотъ мало говоритъ. Разумъ не сочиняетъ, не выдумываетъ законовъ нравственности, но только сознаетъ ихъ, принимая ихъ отъ чувства какъ даннаго, какъ факты. И потому чувство и разумъ суть не противорѣчащіе, не враждебные другъ другу, но родственные или, лучше сказать, родственные элементы духа человеческого. Но когда человеку или отказано природою въ нравственномъ чувствѣ, или оно испорчено дурнымъ воспитаніемъ, безпорочною лизью, — тогда его разсудокъ изобрѣгаетъ свои законы нравственности. Говоримъ: разсудокъ, а не разумъ, ибо разумъ есть сознавшее себя чувство, которое даетъ ему въ себѣ пред-

метъ и содержаніе для мышленія; а разсудокъ, лишенный дѣйствительнаго содержанія, по необходимости прибѣгаетъ къ произвольнымъ построениямъ. Вотъ происхожденіе морали, и вотъ причина противорѣчій между словами и поступками записанныхъ моралистовъ. Для нихъ дѣйствительность ничего не значитъ; они не обращаютъ никакого вниманія на то, что есть, и не предчувствуютъ его необходимости: они хлопочутъ только о томъ, что и какъ должно быть. Это ложное философское начало породило и ложное искусство еще задолго до XVIII вѣка,—искусство, которое изображало какую-то небывалую дѣйствительность, создавало какихъ-то небывавшихъ людей. Въ самомъ дѣлѣ, неужели мѣсто дѣйствія Корнелиевскихъ и Расиновскихъ трагедій — земля, а не воздухъ, ихъ дѣйствующія лица — люди, а не маріонетки? Принадлежать ли эти рыцари, герои, наперсники и вѣстники какому-нибудь вѣку, какой-нибудь странѣ? говорили ли кто-нибудь отъ созданія міра языкомъ, похожимъ на ихъ языкъ!.. Восемнадцатый вѣкъ довелъ это разсудочное искусство до послѣднихъ предѣловъ нелѣпости: онъ только о томъ и хлопочалъ, чтобы искусство шло навыворотъ дѣйствительности, и сдѣлать изъ нея мечту, которая и въ нѣкоторыхъ добрыхъ старичкахъ нашего времени еще находитъ своихъ магическихъ витязей. Тогда думали быть поэтами, воспѣвая Хлоя, Филиды, Лорисъ въ филмахъ и мушкахъ, и Менализовъ, Даметовъ, Титировъ, Миконзовъ, Миртилисозъ и Мелибеевъ въ шитыхъ кафтанахъ: восхваляли мирную жизнь подъ соломенною кровлею, у свѣтлаго ручейка Ладона, съ милою подругою, невинною пастушкою, въ то время какъ сами жили въ раззолоченныхъ палатахъ, гуляли въ стрѣленныхъ аллеяхъ, вмѣсто одной пастушки, имѣли по тысячѣ овечекъ, и для доставленія себѣ оныхъ благъ готовы были на всяческая...

Нашъ вѣкъ гнушается этимъ лицемерствомъ. Онъ громко говоритъ о своихъ грѣхахъ, но не гордится ими: обнажаетъ свои кровавыя раны, а не прячетъ ихъ подъ нищенскими лохмотьями притворства. Онъ понимаетъ, что со-

знаніе своей грѣховности есть первый шагъ къ спасенію. Онъ знаетъ, что дѣйствительное страданіе лучше минимой радости.. Для него польза и нравственность только въ одной негнѣ, а истина — въ сущемъ, т.-е. въ томъ, что есть. Потому и искусство нашего вѣка есть воспроизведеніе разумной дѣйствительности. Задача нашего искусства — не представить событія въ повѣсти, романѣ или драмѣ, сообразно съ предположенною заранѣе цѣлью, но развитіе ихъ сообразно съ законами разумной необходимости. И въ такомъ случаѣ, каково бы ни было содержаніе поэтического произведенія, его впечатлѣніе на душу читателя будетъ богато, и, слѣдовательно, нравственная цѣль достигнется сама собою. Намъ скажутъ, что безнравственно представлять ненаказаннымъ и торжествующимъ пороки: мы противъ этого и не споримъ. Но и въ дѣйствительности порокъ торжествуетъ только вишнимъ образомъ: онъ въ самомъ себѣ носитъ свое наказаніе и гордою улыбкою только подавляетъ внутреннее терзаніе. Такъ точно и новѣйшее искусство: оно показываетъ, что судъ чловѣка — въ дѣлахъ его: оно, какъ необходимость, допускаетъ въ себѣ диссонансы, производимые въ гармоніи нравственнаго духа, но для того, чтобы показать, какъ изъ диссонанса снова возникаетъ гармонія, — чертъ то ли, что раззвучная струна снова настраивается или разрывается влѣдствіе ея своевольнаго разлада. Это міровой законъ жизни, а, слѣдовательно, и искусства. Вотъ другое дѣло, если поэтъ захочетъ въ своемъ произведеніи показать, что результаты добра и зла одинаковы для людей, — оно будетъ безнравственно, но тогда уже оно и не будетъ произведеніемъ искусства, — и какъ крайности сходятся, то оно, вмѣстѣ съ моральными произведеніями, составитъ одинъ общій разрядъ непоэтическихъ произведеній, писанныхъ съ опредѣленною цѣлью. Дать же мы изъ самаго разбираемаго нами сочиненія докажемъ, что оно не принадлежитъ ни къ тѣмъ ни къ другимъ, и въ основаніи своемъ глубоко-нравственно. Но пора намъ обратиться къ нему.

На отлогости Машука, въ верстѣ отъ Пятигорска, есть

провалъ. Въ одинъ день тамъ назначено было гулянье и родъ бала подъ открытымъ небомъ. Печоринъ спросилъ Грушницкаго, произведеннаго въ офицера, идетъ ли онъ въ провалъ, а тотъ отвѣчалъ, что ни за что въ свѣтъ не явится передъ княжною прежде, нежели будетъ готовъ его мундиръ, и просилъ его не предвѣдомлять ее о его производствѣ.

„— Скажи мнѣ однако, какъ твои дѣла съ нею?..

Онъ смутился и задумался: ему хотѣлось похвастаться, солгать—и было совѣстно, а вмѣстѣ съ этимъ было стыдно признаться въ истинѣ.

— Какъ ты думаешь, любить ли она тебя?..

— Любить ли? Помилуй, Печоринъ, какія у тебя понятія? какъ можно такъ скоро? Да если даже она и любитъ, то порядочная женщина этого не скажетъ.

— Хорошо! и, вѣроятно, порядочный человѣкъ долженъ тоже молчать о своей страсти?..

— Эхъ, братецъ! На все есть манера; многое не говорится, а отгадывается.

— Это правда... Только любовь, которую мы читаемъ въ глазахъ, ни къ чему женщину не обязываетъ, тогда какъ слова... Берегись, Грушницкій, она тебя надуваетъ...

— Она...—отвѣчалъ онъ, поднявъ глаза къ небу и самодовольно улыбувшись,—мнѣ жаль тебя, Печоринъ!“

Многочисленное общество отправилось вечеромъ къ провалу. Възбралась на гору, Печоринъ подаль руку княжнѣ, и она не покидала ее въ продолженіе всей прогулки. Разговоръ ихъ начался злостовіемъ. Желчь Печорина взрывалась—и, начавши шутя, онъ кончилъ искреннотою злобю. Сначала это забавляло княжну, а потомъ испугало. Она сказала ему, что лучше желала бы понасться подъ ножъ убійцы, чѣмъ ему на языкъ. Онъ на минуту задумался, а потомъ, принявъ на себя глубоко-тронутый видъ, началъ жаловаться на свою участь, которая, по его словамъ, такъ жалка съ самаго его дѣтства.

„Всѣ читали на моемъ лицѣ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было, но ихъ предполагали—и они родились. Я былъ скромнень — меня обвиняли въ лукавствѣ: я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло: никто меня не ласкалъ, всѣ оскорбляли—я сталъ злопамятенъ; я былъ угрюмъ—другія дѣла

были веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ—меня ставили выше: я сдѣлался заискивающимъ. Я былъ готовъ любить весь міръ,—меня никто не понималъ, и я выучился ненавидѣть. Моя безцвѣтная молодость протекла въ борьбѣ съ собой и свѣтомъ: лучшія мои чувства, боясь насмѣшки, я хоронилъ въ глубинѣ сердца; они тамъ и умерли. И говорилъ правду—миръ не вѣрилъ: я началъ обманывать; узнавъ хорошо свѣтъ и пружины общества, я сталъ искусенъ въ наукѣ жизни и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣмъ выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчаяніе,—не то отчаяніе, которое лѣзаетъ дуломъ пистолета,—но холодное, безцельное отчаяніе, прикрытое любезностью и добродушною улыбкой; я сдѣлался нравственнымъ калѣкой: одна половина души моей не существовала, она высохла, умерла, я ее отрѣзалъ и бросилъ, тогда такъ другая шевелилась и жила къ услугамъ каждаго, и этого никто не замѣтилъ, потому что никто не зналъ о существованіи погибшей ея половины: но вы теперь во мнѣ разбудили воспоминаніе о ней, и я вамъ прочелъ ея эпитафію. Многимъ все вообще эпитафіи кажутся смѣшными, но мнѣ нѣтъ, особенно когда вспоминаю, что подъ ними покаялся. Впрочемъ, я не прошу васъ раздѣлять мое мнѣніе: если моя выходка вамъ кажется смѣшною—пожалуйста, смѣйтесь,—предупреждаю васъ, что это меня не огорчитъ ни мало“.

Отъ души ли говорилъ это Печоринъ или притворялся,—трудно рѣшить окончательно; кажется, что тутъ было и то и другое. Люди, которые вѣчно находятся въ борьбѣ съ вѣннимъ міромъ и съ самимъ собою, всегда недовольны, всегда огорчены и желчны. Огорченіе есть постоянная форма ихъ бытія, и что бы ни пошло въ ихъ глаза, все служитъ имъ содержаніемъ для этой формы. Мало того, что они хорошо помнятъ свои истинныя страданія,—они еще ценятъ ими въ выдуманіи несбыточныхъ. Вздумайте ихъ утѣшать—они разсердятся; покажите имъ причины ихъ горестей въ настоящемъ ихъ свѣтѣ—они оскорбятся. Помогите имъ бранить самихъ себя, взвѣсите на нихъ небывалыя обиды жизни, отыщите несбыточные недостатки и пороки въ ихъ характерѣ—имъ польстите имъ и выиграете ихъ расположеніе. Если вы упадете на чело-вѣка недостаточно глубокаго и сильнаго,—будете оскорблены: вы можете или оскорбить его самозлюбіе такъ, что разбудите въ себѣ его несправедливость, или убить въ немъ великую

увѣренность въ себя и возродить отчаяніе, — и тогда вамъ предстоитъ горькая и мучительно скучная роль утѣшителя и повѣреннаго однихъ и тѣхъ же жалобъ. Если же это человѣкъ глубокий и сильный, — не бойтесь слишкомъ далеко зайти въ нападки на него и на жизнь: у него есть лазейка изъ этой западни: „я дурень, но, вѣдь, и всѣ такіе“. А вы знаете, что, по пословицѣ, при людяхъ и смерть не странна, — и какъ бы вы ни представлялись себѣ дурнымъ, но если и лучший изъ людей не лучше васъ, — ваше самолюбіе спасено. И вотъ почему такіе люди такъ неистощимы въ самообвиненіи: оно обращается имъ въ привычку. Обманывая другихъ, они прежде всего обманываютъ себя. Истинная или ложная причина ихъ жалобъ, — имъ все равно, и жгучая горестъ ихъ равно искренна и неопровержима. Мало того: начиная лгать съ сознаніемъ или начиная шутить — они продолжаютъ и оканчиваютъ искренно. Они сами не знаютъ, когда лгутъ и когда говорятъ правду, когда слова ихъ — вопль души или когда они — фразы. Это дѣлается у нихъ вѣстью и болѣзью души, и привычкою, и безумствомъ, и кокетничаньемъ. Во всей выходѣ Печорина вы замѣчаете, что у него страждетъ самолюбіе, отчего родилось у него отчаяніе? — Видите ли: онъ узналъ хорошо свѣтъ и дружныя общества, сталъ искусенъ въ наукѣ жизни и видѣть, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ онъ такъ неутомимо добивался. Какое мелкое самолюбіе! восклицаете вы. Но не торонитесь вашимъ приговоромъ: онъ клеветаетъ на себя; повѣрьте мнѣ, онъ и даромъ бы не видалъ того счастья, которому завидовать у этихъ *другихъ* и котораго добивался. Но княжнѣ отъ этого не легче: она все приняла за наличную монету. Печоринъ не ошибся, сказавъ, что въ немъ два человѣка: въ то время, какъ одинъ такъ горько жалуется ни на что, другой наблюдать и за нимъ и за княжнѣю, и вотъ что замѣтить за послѣднюю:

„Въ эту минуту и встрѣтилъ ее глаза: въ нихъ бѣгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали: ей было жаль

меня! Состраданіе—чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, выпустило свои когти въ ея неопытное сердце. Во все время прогулки она была разсѣянна, ни съ кѣмъ не кокетничала,—а это великій признак...”

Бѣдная Мери! Какъ систематически, съ какою разсчитанною точностью ведетъ ее злой духъ по пути гибели! Подошедши къ провалу, всѣ дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не оставляла руку Печорина: остроты тамошнихъ денди не смѣшили ея; крутизна обрыва, у котораго она стояла, не пугала ее, тогда какъ другія барышни пищали и закрывали глаза. На возвратномъ пути она была разсѣянна, грустна. „Любили ли вы?“ спросить ее Печоринъ: она пристально на него посмотрѣла, покачала головой и снова задумалась... Казалось, что-то хотѣлось сказать, но она не знала, съ чего начать; грудь ея волновалась. „Не правда ли, я была сегодня очень любезна“, — сказала она, при разставаньи, съ принужденною улыбкою. Печоринъ, вмѣсто ея, отвѣтилъ самому себѣ: „Она недовольна собой, она себя обвиняетъ въ холодности... о, это первое, главное торжество! Завтра она захочетъ вознаградить меня. И все это ужъ знаю наизусть—вотъ что скучно!“—Бѣдная Мери!

Между тѣмъ Вѣра мучилась ревностью, и мучила ею Печорина. Она взяла съ него слово уѣхать въ Кисловодскъ и напять себѣ квартиру возлѣ того дома, верхъ котораго она займетъ съ мужемъ, а низъ—княгиня Лиговская, которая собирается туда еще черезъ недѣлю. Вечеръ того же дня Печоринъ провелъ у Лиговскихъ и веселился, замѣчая усиленнѣе чувства въ княгиню. Вѣра все это видѣла и страдала. Чтобы утѣшить ее, онъ разсказать вслухъ исторію своей любви съ нею, разумѣется, прикрывъ все вымышленными именами. „И, —говоритъ онъ,—такъ живо изобразить мою нѣжность, мои безпокойства, восторги: я въ такомъ выгодномъ свѣтѣ выставилъ ея уступки, характеръ, что она поневолѣ должна была простить мнѣ мое кокетство съ княжною“.

На другой день—бать въ рестораціи. За полчаса до бала

къ Печорину явился Грушницкій въ полномъ сіяніи армейскаго мундира.—„Ты, говорятъ, эти дни ужасно влюбился за мою княжну?“—сказалъ онъ довольно небрежно и не глядя на Печорина „Гдѣ намъ, дуракамъ, чай пить!“ отвѣчалъ тотъ. Затѣмъ Грушницкій спросилъ у него духовъ; несмотря на замѣчанія Печорина, что отъ него и такъ несетъ розовою помадой, налилъ полстаканки за галстукъ, въ носовой платокъ и на рукава, и заключилъ опасеніемъ, что ему придется начинать съ княжною мазурку, тогда какъ онъ не знаетъ почти ни одной фигуры. На вопросъ Печорина: „А ты звалъ ее на мазурку?“ онъ отвѣчалъ, что нѣтъ, и посѣвшилъ дожидаться ее у подъѣзда. Разумѣется, на балу бѣдный Грушницкій разиралъ, благодаря Печорину, очень смѣшную роль. Княжна очень разсѣянно его слушала и отвѣчала насмѣшками на его трагикомическія выходки. „Нѣтъ, — говорилъ онъ, — лучше бы мнѣ вѣкъ остаться въ этой презрѣнной солдатской шинели, которой, можетъ-быть, я былъ обязанъ вашимъ вниманіемъ..“ — „Въ самомъ дѣлѣ, вамъ шинель гораздо болѣе къ лицу“, — отвѣчала княжна и, замѣтивъ подошедшаго къ нимъ Печорина, обратилась къ нему съ вопросомъ о его мнѣніи объ этомъ предметѣ „Я съ вами несогласенъ, — отвѣчалъ Печоринъ, — въ мундирѣ онъ еще моложе!“ Этотъ злой намекъ на дѣла мальчика, который хотѣлъ бы, чтобы на его лицѣ читали слѣды сильныхъ страстей, возбѣсилъ Грушницкаго: онъ топнулъ ногою и отошелъ. Все остальное время онъ преслѣдовалъ княжну: танцовать или съ нею, или vis-à-vis, вздыхалъ и надѣлалъ ей мольбами и упреками. Поелъ третьей кадрили она ужъ его неавидѣла.

„— И этого не ожидалъ отъ тебя, — сказалъ онъ, подойдя ко мнѣ и взявъ меня за руку.

— Чего?

— Ты съ нею танцуешь мазурку?—спросилъ онъ торжественнымъ голосомъ.—Она мнѣ призналась...

— Ну, такъ что жъ? а развѣ это секретъ?

— Разумѣется... Я долженъ былъ этого ожидать отъ дѣвочки... отъ кокетки... Ужъ я отомщу!

— Пеняй на свою шинель или на свои эпалеты, а зачѣмъ же обвинять ее? Чѣмъ она виновата, что ты ей больше не нравишься?..

— Зачѣмъ же подавать надежды?

— Зачѣмъ же ты надѣялся?"

Печоринъ достигъ своей цѣли: Грушинскій отошелъ отъ него съ чѣмъ-то въ родѣ угрозы. Это его радовало и забавляло, но что же за радость бѣсить добраго, пустого малаго, и для этого играть обдуманную роль, дѣйствовать по обдуманному плану? Что это: слѣдствіе праздности ума или мелкости души? Вотъ что думать объ этомъ онъ самъ, собираясь на балъ.

„Я шелъ медленно; мнѣ было грустно... Неужели,—думалъ я,—мое единственное назначеніе—разрушать чужія надежды? Съ тѣхъ поръ, какъ я живу и дѣйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня къ развязкѣ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы ни умереть ни прійти въ отчаяніе! Я былъ необходимое лицо пятаго акта; невольно я разыгрывалъ роль палача или предателя. Какую цѣль имѣла на это судьба?.. Ужъ не назначенъ ли я ею въ сочинители мѣщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ, или въ сотрудники поставщику повѣстей, наприкладъ, для „Библіотеки для Чтенія“?... Почему знать?.. Мало ли людей, начиная жизнь, думаютъ кончить ее, какъ Александръ Великій или лордъ Байронъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками“.

Мы нарочно выписали это мѣсто, какъ одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ двойственности Печорина. Въ самомъ дѣлѣ, въ немъ два человека: первый дѣйствуетъ, второй смотритъ на дѣйствіе перваго, и разсуждаетъ о нихъ или, лучше сказать, осуждаетъ ихъ, потому что они дѣйствительно достойны осужденія. Причины этого раздвоенія, этой ссоры съ самимъ собою, очень глубокія, и въ нихъ же заключается противорѣчіе между глубиной натуры и жалкостью дѣйствія одного и того же человека. Ниже мы коснемся ихъ причинъ, а пока замѣтимъ только, что Печоринъ, ошибочно дѣйствуя, еще ошибочнѣе судитъ себя. Онъ смотритъ на себя, какъ на человека, вполнѣ развившагося и опредѣливающагося; удивительно ли, что и его взглядъ на человека вообще мраченъ, желченъ и ложенъ?.. Онъ какъ будто не знаетъ, что есть эпоха въ жизни человека, когда ему досадно, зачѣмъ дуракъ глупъ, подлецъ низокъ, зачѣмъ толпа пошла, зачѣмъ на сцену пустыхъ людей сънабрѣ-

тишь одного порядочнаго человѣка... Онъ какъ будто не знаетъ, что есть такія пытки и сильныя души, которыя въ эту эпоху своей жизни находятъ неизъяснимое наслажденіе въ сознаніи своего превосходства, метая посредственности за ея ничтожность, вышниваются въ ея расчеты и дѣла, чтобы мѣшать ей, разрушая ихъ... Но еще болѣе, онъ какъ будто бы не знаетъ, что для нихъ приходитъ другая эпоха жизни—результатъ первой, когда они или равнодушно на все смотрятъ, не сочувствуя добру, не оскорбляясь зломъ, или убѣждаются, что въ жизни и зло необходимо, какъ и добро, что въ арміи общества человѣческаго рядовыхъ всегда должно быть больше, чѣмъ офицеровъ, что глупость должна быть глупа, потому что она глупость, а подлость подла, потому что она подлость, и они оставляютъ ихъ идти своею дорогою, если не видятъ отъ нихъ зла, или не видятъ возможности помѣшать ему, и повторяютъ про себя то съ радостью, то съ грустною улыбкою: „и все то благо, все добро“! Увы, какъ дорого достается уразумѣніе самыхъ простыхъ истинъ!.. Печоринъ еще не знаетъ этого, и именно потому, что думаетъ, что все знаетъ.

Позабавившись надъ Грушницкимъ, онъ позабавился и надъ княжною, хотя совѣмъ другимъ образомъ.

„Я два раза пожалъ ея руку... во второй разъ она ее выдернула, не говоря ни слова.“

— Я душно буду спать эту ночь,—сказала она мнѣ, когда ма-зурка кончилась.

— Этому виноватъ Грушницкій.

— О, нѣтъ!—И лицо ея стало такъ задумчиво, такъ грустно, что я далъ себѣ слово въ этотъ вечеръ непременно поцѣловать ея руку.

Стали разъѣзжаться. Сажая княжну въ карету, я быстро прижалъ ея маленькую ручку къ губамъ своимъ. Было темно, и никто не могъ этого видѣть.

Я возвратился въ залу очень довольный собою“.

Съ этого времени исторія круто поворотилась, и изъ комической начала переходитъ въ трагическую. Досетъ Печоринъ сѣзжалъ—теперь настаетъ время пожинаать ему плоды посяяннаго. Мы думаемъ, что въ этомъ и должна заключаться истинная нравственность поэтического произведенія, а не въ пошлыхъ сентенціяхъ.

Грушницкій, наконецъ, понялъ, что онъ одураченъ, но вмѣсто того, чтобы въ самомъ себѣ увидѣть причину своего позора, онъ увидѣлъ ее въ Печоринѣ. Къ нему присталъ драгунскій капитанъ и всѣ другіе, которыхъ оскорбляло превосходство Печорина — и противъ Печорина начала составляться враждебная партія; но онъ не испугался, а обрадовался этому, увидѣвъ новую почву для своей праздной дѣятельности... „Очень радъ: я люблю враговъ, хотя не по-христіански. Они меня забавляютъ, волнуютъ мнѣ кровь. Быть всегда на стражѣ, ловить каждый взглядъ, значеніе каждаго слова, угадывать намѣреніе, притворяться обманутымъ, и вдругъ однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе ихъ хитростей и замысловъ—вотъ что я называю жизнью!“ — Ошибочное названіе!—восклицаете вы, — и мы согласны съ вами; но сила всегда остается силою, и всегда будетъ полна поэзіи, всегда будетъ восхищать и удивлять васъ, хотя бы она дѣйствовала и деревяннымъ мечомъ, вмѣсто булатнаго... Есть люди, въ рукахъ которыхъ и простая палка опаснѣе, чѣмъ у иныхъ шпага: Печоринъ изъ такихъ людей.

На другой день Вѣра уѣхала съ мужемъ въ Кисловодскъ. Печоринъ винить ее самое въ причинѣ ея жалобъ на него: она отказывается ему въ свиданіи насидѣвъ. „Авось—говоритъ онъ—ревность сдѣлаетъ то, чего не могли мои просьбы“. Вечеромъ онъ заходилъ къ Лиговскимъ и не видалъ княжны—она больна. Возвратясь домой, онъ замѣтилъ, что ему чего-то не достаетъ. „Я не гикалъ ся! Она больна! Ужъ не влюбился ли я въ самый дѣлъ? Какой вздоръ!“ — Видите ли: какъ увлечательна эта игра въ увлеченіе, какъ легко, увлекая другихъ, увлечься и самому? Какъ ни старается Печоринъ выставить себя холоднымъ обольстителемъ безъ всякой цѣли, отъ нечего дѣлать, однако тѣнась его холодность очень подозрительна. Конечно, это еще не любовь, но, вѣдь, трудно разбирать и различать свои ощущенія: собственное сердце всякаго есть самый извилистый, самый темный лабиринтъ. На другой день онъ остался ее одну. Она была блѣдна и задумчива. „Вы на меня

сердитесь?“ Она заплакала и закрыла лицо руками. „Что съ вами?“ — „Вы меня не уважаете!“ отвѣчала она. Онь ей сказала что-то въ родѣ извиненія и тисцелавной загадки на счетъ своего характера — и вышла; но, уходя, слышала, какъ она плакала. Бѣдная дѣвушка! стрѣла такъ глубоко вошла въ ея сердце, что дѣло не можетъ кончиться хорошо!.. Въ тотъ же день Печоринъ узналъ отъ Вервера, что ходятъ слухи, будто онъ женится на княжнѣ...

Наконецъ, дѣйствие переносится въ Кисловодскъ. Однажды многочисленная кавалькада отправилась смотрѣть Кольцовскую скалу, образующую ворота, верстахъ въ трехъ отъ Кисловодска. Когда, на возвратномъ пути, переѣзжали черезъ Подкумокъ, у княжны закружилась голова, оттого что она смотрѣла въ воду — „Мнѣ душно!“ — проговорила она слабымъ голосомъ. Печоринъ обвилъ рукою ея гибкій станъ, щека ея почти касалась его щеки, отъ нея вѣяло пламенемъ... „Что вы со мной дѣлаете? Боже мой!“ говорила она: но онъ не обращалъ вниманія на ея слова — и губы его коснулись ея щеки. Выѣхавъ на берегъ, всѣ пустились рысью, княжна прѣстановила свою лошадь, и они опять поѣхали пошатаясь всѣхъ. Пустѣло долгое молчаніе, умышленнаго со стороны Печорина, она, наконецъ, сказала голосомъ, въ которомъ были слезы:

„Или вы меня презираете или очень любите! Можетъ-быть, вы хотите пошебѣться надо мною, возмутить мою душу, и потомъ оставить... Это было бы такъ подло, такъ низко, что одно предположеніе... О, нѣтъ! не правда ли, — прибавила она голосомъ нѣжной довѣрчивости: — не правда ли, но мнѣ нѣтъ ничего такого, что бы включало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ... я должна вамъ его простить, потому что позволила... Отвѣчайте, говорите же; я хочу слышать вашъ голосъ!“

Въ послѣднихъ словахъ было такое женское нетерпѣніе, что я невольно улыбаюсь: къ счастью, начинало смеркаться... И ничего не отвѣчалъ.

— Вы молчите?—продолжала она: — вы, можетъ-быть, хотите, чтобы я первая сказала вамъ, что я васъ люблю?..

Я молчалъ.

— Хотите ли эгъ го?—продолжала она, быстро обратясь ко мнѣ... Въ рѣшительности ея взора и голоса было что-то страшное...

— Зачѣмъ?—отвѣчалъ я, пожавъ плечами.

Она ударила хлыстомъ свою лошадь и пустилась во весь духъ по узкой, опасной дорогѣ: это произошло такъ скоро, что я едва могъ ее догнать, и то, когда уже она присоединилась къ остальному обществу. До самого дома она говорила и смѣялась поминутно; въ ея движеніяхъ было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Все замѣтили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервическій припадокъ, она проведетъ ночь безъ сна и будетъ плакать. *Эта мысль мнѣ доставляетъ необъятное наслажденіе: есть минуты, когда я понимаю Вальмира!.. а еще слышу добрымъ малымъ, и добиваюсь этого названія*.

Что такое вся эта сцена? Мы понимаемъ ее только какъ свидѣтельство, до какой степени ожесточенія и безправственности можетъ довести челоѣка вѣчное противорѣчіе съ самимъ собою, вѣчно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истиннаго блаженства; но послѣдней черты ея мы рѣшительно не понимаемъ... Она кажется намъ преумышленною клеветою на самого себя, чертою изысканною и натянутою,—словомъ, намъ кажется, что здѣсь Печоринъ впалъ въ Грушницкаго, хотя и болѣе страшнаго, чѣмъ смѣшнаго... И, если мы не ошибаемся въ своемъ заключеніи, это очень понятно: состояніе противорѣчія съ самимъ собою необходимо условливаетъ большую или меньшую изысканность и натянутость въ положеніяхъ...

Возвращаясь домой слободкою, Печоринъ слышалъ изъ одного дома нестройный говоръ и шумные крики. Онъ слѣзъ съ коня, и сталъ подслушивать. Говорили о немъ. Драгунскій капитанъ кричалъ, что его надо проучить, что эти петербургскіе слетки зазнаются, пока ихъ не ударишь по носу; что Печоринъ думаетъ, что онъ только одинъ и жить въ свѣтъ, оттого что носитъ всегда чистыя перчатки и вычищенные сапоги, и что онъ долженъ быть трусъ. Грушницкій подтвердилъ достовѣрность послѣдняго предположенія, выдумавъ какое-то происшествіе, въ которомъ будто бы Печоринъ сыгралъ передъ нимъ не слишкомъ выгодную для своей чести роль. Почтенная компанія подкидываетъ Грушницкаго—имя княжны упоминается. Впрочемъ, драгунскій капитанъ хочетъ только позабавиться надъ Печоринимъ, заставить его обнаружить свою трусость. Онъ

предлагаетъ Грушницкому вызвать его на дуэль, а себя предоставляет поставить ихъ въ шести шагахъ, и въ пистолеты не положить пуль.

„Я съ трепетомъ ждалъ отвѣта Грушницкаго; холодная злость овладѣла мною при мысли, что еслибъ не случай, то я могъ бы сдѣлаться посмѣшнымъ этихъ дураковъ. Еслибъ Грушницкій не согласился, я бросился бъ ему на шею. Но послѣ нѣкотораго молчанія онъ всталъ съ своего мѣста, протянулъ руку капитану и сказалъ очень важно: хорошо, я согласенъ“.

По утру Печоринъ встрѣтитъ княжну у колодца. Это свиданіе было странною развязкою пустой и ничтожной драмы, которая предшествовала другой драмѣ, не менѣе пустой и ничтожной въ сущности, но еще съ болѣе странною развязкою.

— Вы больны?—сказала она, пристально посмотрѣвъ на меня.

— Я не спалъ всю ночь.

— И я также... я васъ обвиняла... можетъ-быть, напрасно?— Но объяснитесь, я могу вамъ простить все...

— Все ли?

— Все... только говорите правду... только скорѣе... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведеніе: можетъ-быть, вы боитесь препятствій со стороны моихъ родныхъ... это ничего: когда они узнаютъ... (ея голосъ задрожалъ) я ихъ упрошу Или ваше собственное положеніе... но знайте, что я всею могу пожертвовать для того, котораго люблю... О, отвѣчайте скорѣе, скажитесь: вы меня не презираете; не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди насъ съ мужемъ Вѣры, и ничего не видала, но насъ могли видѣть гуляющіе болыше, самые любопытные сплетники изъ всѣхъ любопытныхъ, и я быстро освободилъ свою руку отъ ея страстнаго пожатія.

— Я вамъ скажу всю истину.—отвѣчала я княжнѣ:—не буду оправдываться ни объяснять своихъ поступковъ: я васъ не люблю.

Ея губы слегка поблѣднѣли...—Оставьте меня! сказала она едва слышно... И пожалъ плечами, повернулся и ушелъ“.

На зрѣть расъ Печоринъ снисходительнѣе къ намъ: онъ приподнималъ таинственное покрывало, которымъ облекъ свое сатанинское величіе, очень просто, хотя и прекрасною прозою, объяснилъ причину этой сцены, какъ бы желая оправдаться въ ней. Онъ говоритъ, что какъ бы страстно ни любилъ онъ женщину, но какъ скоро она дастъ ему по-

чувствовать, что онъ долженъ на него жениться — прости любовь!.. Этотъ страхъ лишиться постылой и ни для чего не нужной ему свободы онъ приписываетъ предсказанію старушки, которая, когда еще онъ былъ ребенкомъ, гадала про него его матери, и претрекла ему смерть отъ злой жены. . Нѣтъ, это все не то!.. Печоринъ не любилъ княжны; онъ оскорбилъ бы самого себя, если бы называть любовью легкое чувство, возбужденное его собственнымъ кокетствомъ и самолюбіемъ. Потому: бракъ есть дѣйствительность любви. Любить истинно можетъ только вполне созрѣвшая душа, и въ такомъ случаѣ любовь видитъ въ бракѣ свою высочайшую награду и, при блескѣ вѣнца, не блекнетъ, а пылнѣе распускаетъ свой ароматный цвѣтъ, какъ при лучахъ солнца... Всякое чувство дѣйствительно въ отношеніи къ самому себѣ, какъ выраженіе моментальнаго состоянія духа: и первая любовь едва проснувшейся для жизни души отрока имѣетъ свою поэзію и свою истину: но, будучи дѣйствительна по своей сущности, она совершенно призрачна по своей формѣ, и въ сравненіи съ любовью возмужалаго человѣка есть то же, что первое безсвязное лепетаніе младенца въ сравненіи съ разумною рѣчью музика. Это больше потребность любви, чѣмъ самая любовь, и потому она обращается на первый предметъ, способный поразить юную фантазію истиннымъ или минимымъ сходствомъ съ ея идеаломъ, и такъ же скоро погасаетъ, какъ и вспыхиваетъ. Такая любовь можетъ много разъ повториться въ жизни человѣка; она или ненавидитъ бракъ, и отвергается его, какъ идею, профанирующей ея идеальность, или представляетъ его высочайшимъ блаженствомъ, и стремится къ нему только до тѣхъ поръ, пока онъ не предстанетъ къ ней съ своимъ строго-испытующимъ, недоувѣрчиво-суровымъ взоромъ: тогда бѣдная любовь погупляетъ передъ нимъ свои глаза какъ ребенокъ, застигнутый въ шалости строгимъ гувернеромъ... Да, бракъ есть гибель такой любви, и вотъ почему такъ много бываетъ „несчастливыхъ браковъ по любви“... Только истинное чувство не боится своего осуществленія, не трепещетъ

своей повѣры: только действительность смѣло смотреть въ глаза действительности, не потушая своихъ глазъ... И неужели Печоринъ, этотъ человѣкъ, столь глубокой и могучий, могъ почестъ свое чувство къ княгинѣ действительнымъ, и удивиться, что ея намекъ о бракѣ такъ же легко уничтожилъ его чувство, какъ видъ догадки уничтожаетъ рѣзвость ребенка? Нѣтъ, изъ всего этого опять-таки видно только одно, что Печоринъ еще равно почелъ себя дожившимъ до дня чашу жизни, тогда какъ онъ еще не сдѣлалъ порядочно кипящей пѣны... Повторяемъ: онъ еще не знаетъ самого себя, и если не должно ему вѣрить, когда онъ оправдываетъ себя или приписываетъ себѣ различныя нечеловѣческія свойства и пороки, то винить ли его за это? — Вините, если въ глазахъ вѣнскихъ юноша виноваты тѣмъ, что онъ молодъ, а старецъ тѣмъ, что онъ старъ! Есть люди, въ которыхъ потребность жизни такъ сильна, что составляетъ ихъ мученіе до тѣхъ поръ, пока не удовлетворится, — и есть люди, которые долго живутъ и умираютъ неудовлетворенные, ибо действительны только потребности, а удовлетвореніе всегда зависитъ отъ случая, который такъ же можетъ сбыться, какъ и можетъ не сбыться. И вотъ когда такіе люди бросаются всею, ни на удовлетвореніе, и не находятъ его, — ихъ огнианіе порождаетъ клеветы на вѣчные законы разумной действительности; но они правы передъ самими собою въ этихъ клеветахъ, хотя и неправы передъ действительностью. Можно ли винить ихъ за несчастье? Можно ли винить ихъ за то, что они съ такою жадностью бросаются на все, что волнуется душу призраками блаженства? Не все же родится съ этимъ апатическимъ благоразуміемъ, источникъ котораго — гнилая и мертвая натура...

Въ Кисловодскъ пріѣхалъ фокусникъ. Разумѣется, на водахъ нѣльзя презирать никакимъ родомъ развлеченія, — и на первое представленіе все бросились. Сама княгиня Лиговская, несмотря на то, что дочь ея была больна, взяла билетъ. Печоринъ получилъ отъ Вѣры записку, которою она назначала ему свиданіе въ 9 часовъ вечера, извѣщая

его, что мужъ ея уѣхать въ Штигорекъ до утра слѣдующаго дня, а людямъ, какъ своимъ, такъ и Лиговскихъ, она раздала билеты. Повертѣвшись на представленіи и замѣтивъ въ заднихъ рядахъ лакеевъ и горничныхъ Вѣры и княгини, Печоринъ отправился на свиданіе.

На дворѣ было темно. Вдругъ Печорину показалось, что кто-то идетъ за нимъ. Изъ предосторожности, онъ обошелъ вокругъ дома, будто гуляя. Проходя мимо оконъ княжны, онъ снова услышалъ за собою шаги, — и человекъ, завернутый въ шинель, пробѣжалъ мимо него. Печоринъ бросился на темную лѣстницу — дверь отворилась, и маленькая ручка охватила его руку...

Около двухъ часовъ пополудни Печоринъ спустился изъ окна, съ верхняго балкона на нижній, посредствомъ двухъ связанныхъ шатей. У княжны горѣлъ огонь, и что-то толкнуло Печорина къ окну. Благодаря не совсемъ задержанному занавѣсу, вотъ что увидѣлъ онъ: „Мери сидѣла на своей постели, скрестивъ на колѣняхъ руки: ея густые волосы были собраны подъ ночнымъ чепчикомъ, обшитымъ кружевами; большой пунцовый платокъ покрывалъ ея бѣлыя плечики, а маленькая ножка пряталась въ пестрыхъ персидскихъ туфляхъ. Она сидѣла неподвижно, опустивъ голову на грудь; передъ нею на столѣ была открыта книга, но глаза ея, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, въ этотъ разъ пробѣгали одну и ту же страницу, тогда какъ мысли ея были далеко...“

Какъ много говорить эти немногія и простыя строчки! Какую длинную и мучительную повѣсть оскорбленнаго женскаго достоинства, оскорбленной женской любви, затаенныхъ страданій и холодно-жгучаго отчаянія разсказываютъ онѣ!.. Бѣдная Мери!..

Въ эту минуту кто-то шевельнулся за кустомъ: Печоринъ прыгнулъ съ балкона на землю, и невидимая рука схватила его за плечо. „А-га! — сказалъ грубый голосъ: — попался!.. Будешь у меня къ княжнамъ ходить ночью!..“ — „Держи его крѣпче!“ — закричалъ другой голосъ, — и Печоринъ узналъ Грушинскаго и драгунскаго капитана. Силь-

нымъ ударомъ по головѣ спибъ онъ послѣдняго и бросился въ кусты. „Воры, караулъ!“ кричали преслѣдователи; раздался ружейный выстрѣлъ, и дымящійся пылъ упалъ почти къ ногамъ Печорина. Черезъ минуту онъ былъ уже дома и лежалъ, раздѣтый, въ своей постели. Едва человѣкъ его успѣлъ запереть на замокъ дверь, какъ драгунскій капитанъ и Грушницкій начали стучаться, крича: „Печоринъ! вы спите? здѣсь вы? — „Сплю“, — отвѣчалъ онъ имъ сердито. — „Вставайте!—воры... Черкесы...“ — „У меня насморкъ, боюсь простудиться“.

Они ушли. Между тѣмъ сдѣлалась тревога. Изъ крѣпости прискакали казакъ. Все зашевелилось, начали искать черкесовъ, и на другой день все были убѣждены въ ночномъ нападеніи черкесовъ. На другой день утромъ Печоринъ встрѣтился у колодца съ мужемъ Вѣры, съ которымъ и пошелъ въ ресторацію завтракать. Добрый старикъ рассказывалъ ему о страхахъ жены своей въ прошлую ночь. „Надобно жъ, чтобъ это случилось именно тогда, какъ я въ отсутствіи!“ говорилъ онъ. Они успѣли завтракать у двери, ведущей въ угловую комнату, гдѣ находилось человѣкъ десять молодежи, въ числѣ которой былъ и Грушницкій. Итакъ, судьба снова доставила Печорину случай подслушать Грушницкаго. Этотъ послѣдній за тайну открывалъ обществу, что причиною ночной тревоги были не черкесы, а одинъ человѣкъ, имя котораго онъ долженъ утаить, и который былъ у княжны. „Какова княжна! — заключилъ онъ, — а? Ну, ужъ признаюсь, московскія барышни! послѣ этого чему же можно вѣрить? Мы хотѣли его схватить! только онъ вырвался, и, какъ заяцъ, бросился въ кусты; тутъ я по немъ выстрѣлилъ“. Замѣтивъ, что ему никто не вѣритъ, онъ сталъ увѣрять честнымъ словомъ въ справедливости разсказаннаго имъ и, наконецъ, даже изъявилъ готовность назвать виновника исторіи.

„— Скажи, скажи, кто жъ онъ!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

„— Печоринъ,—отвѣчалъ Грушницкій.

Въ эту минуту онъ поднялъ глаза,—я стоялъ въ дверяхъ противъ него; онъ ужасно покраснѣлъ. Я подошелъ къ нему и сказалъ медленно и внятно:

— Мнѣ очень жаль, что я вошелъ послѣ того, какъ вы уже дали честное слово въ подтвержденіе самой отвратительной клеветы. Мое присутствіе избавило бы васъ отъ лишней подлости*.

Грушницкій вскочилъ съ своего мѣста и хотѣлъ разгорячиться. Печоринъ, разумеется, сталъ требовать отъ него, чтобы онъ отказался отъ своихъ словъ. Грушницкій стоялъ передъ нимъ, потупивъ глаза, въ сильномъ волненіи; но борьба совѣсти съ самолюбіемъ была непродолжительна, тѣмъ болѣе, что драгунскій капитанъ толкнулъ его локтемъ: не подымая глазъ на Печорина, снова подтвердилъ онъ ему истину своего обвиненія. Печоринъ отвелъ капитана и переговорилъ съ нимъ. На крыльцѣ ресторациі мужъ Вѣры схватилъ его за руку съ чувствомъ, похожимъ на восторгъ, называлъ его благороднѣйшимъ человѣкомъ, а Грушницкаго подлецомъ, и изъявлялъ свою радость, что у него нѣтъ дочерей... Бѣдный мужъ!..

Оттуда Печоринъ пошелъ къ Вернеру, рассказалъ ему все, и попросилъ въ свои секунданты. Черезъ часъ Вернеръ пришелъ къ нему, уже переговоривши съ драгунскимъ капитаномъ. „Противъ васъ точно есть заговоръ“, — сказалъ онъ ему. Пока Вернеръ снималъ въ передней калоши, онъ былъ свидѣтелемъ жаркаго спора капитана съ Грушницкимъ, изъ котораго понялъ, что Грушницкій не соглашался дурачить Печорина, но требовалъ, какъ обиженный, рѣшительной дуэли. Переговоры Вернера съ капитаномъ порѣшились на томъ, чтобы мѣстомъ дуэли было глухое ущелье, верстахъ въ пяти отъ Киселоводека, и чтобы стрѣляться на другой день, въ четыре часа утра, въ шести шагахъ, а убитаго — на счетъ черкесовъ. Затѣмъ Вернеръ сообщилъ свое подозрѣніе, что капитанъ намѣренъ положить пулю только въ пистолетъ Грушницкаго, и спросилъ Печорина, должно ли имъ показать, что они догадались, на что послѣдній рѣшительно не согласился, говоря, что онъ и безъ того разстроитъ ихъ планы.

Вечеромъ къ Печорину приходятъ лакей съ приглашеніемъ отъ княгини, но онъ отказался большимъ. Всею ночью онъ не спалъ, въ головѣ его пробѣгали мысли за мыслями.

Отъ угрозъ Грушницкому, котораго онъ почитаетъ вѣрною жертвою своею, онъ перешелъ къ мысли о неостоянствѣ счастья, которое доселѣ неизмѣнно служило ему. „Что жъ, — думать онъ, — умереть, такъ умереть! потеря для міра небольшая: да и мнѣ самому порядочно ужъ скучно. Я — какъ человѣкъ, зѣвующій на балѣ, который не ѣдетъ спать только потому, что еще нѣтъ его кареты. Но карета готова. Прощайте!“ Затѣмъ онъ обращается на всю жизнь свою, и ему невольно приходитъ въ голову вопросъ о цѣли его жизни. „Зачѣмъ я живу? для какой цѣли я родился? А, вѣрно, она существовала, и, вѣрно, было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя. Но я не угадать этого назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ: изъ горнища ихъ я вынесъ твердь и холоденъ какъ желѣзо, но утратилъ навѣки пылъ благородныхъ стремленій — лучший цвѣтъ жизни!“

Поучительная пѣмая бесѣда съ самимъ собою человѣка, который завтра готовится быть или убитымъ или убійцею! Мысль невольно обращается на себя, и сквозь мглу предразсужденій и умысленныхъ софизмовъ блеснитъ лучъ ужасной истины. Но рѣшеніе принято, шагъ сдѣланъ, и возврата нѣтъ: само общество, которое смотритъ на кровавыя сѣньи, какъ на безирравственность, само общество, противобѣда себѣ, запрещаетъ этотъ возвратъ своимъ насмѣшливо-презрительнымъ взглядомъ, своимъ недвижно-остановившимся на жертвѣ перстомъ. Кровавая развязка дѣла составляетъ ему средства читать себѣ для другихъ правоученія, произвести ближнему приговоръ и начавъ ему позднихъ совѣтовъ; отступленіе лишаетъ его занимательнаго анекдота, прекраснаго случая къ развлеченію на чужой счетъ. Что жъ тутъ дѣлать? разумеется, идти впередъ, а чтобы выисканіе въ себѣ и въ сущности дѣла не лишило смѣлости, закрыть глаза на истину, и обѣими руками ухватиться за первый представившійся софизмъ, котораго ложность самому очевидна. Печеринъ такъ и сдѣлать: онъ рѣшилъ, что не стоить труда жить, и онъ правъ передъ собою, или, по край-

ней мѣрѣ, не виновать передъ тѣми строгими судьями чужихъ поступковъ, которые сами не участвуютъ въ жизни, но на живущихъ смотреть, какъ зрители на актеровъ, то аплодируя, то шикая...

Несмотря на тайное безпокойство, мучившее Пенорина, онъ не только имѣлъ силы заставить себя взяться за романъ Вальтеръ-Скотта — „Шотландскіе Пуритане“, но еще и увлечься волшебнымъ вымысломъ.

Когда разсвѣло, онъ посмотрѣлся въ зеркало: тусклая блѣдность покрывала лицо его, хранившее слѣды мучительной безсонницы, но глаза, хотя окруженные коричневой тѣнью, блистали гордо и неутомимо. „Я, — говорилъ онъ, — остался доволенъ собою“. Купанье въ Нарванѣ сдѣлало его совершенно свѣжимъ и бодрымъ. Возвращаясь съ купанья, онъ пошелъ у себя Вернера. Они сѣли на лошадей и поѣхали. Тутъ слѣдуетъ мимоходомъ краткое, полное поэтич. описаніе прекраснаго кавказскаго утра.

Они ѣхали молча.

„— Написали ли вы свое завѣщаніе? — вдругъ спросилъ Вернеръ.

— Нѣтъ.

— А если будете убиты?

— Наслѣдники отыщутся сами.

— Неужели у васъ нѣтъ друзей, которымъ бы вы хотѣли послать послѣднее прощаніе?..

Я покачалъ головой.

— Неужели нѣтъ женщины, которой вы хотѣли бы оставить что-нибудь на память?..

— Хотите ли, докторъ, — отвѣчалъ я ему, — чтобъ я раскрылъ вамъ мою душу?.. Видите ли: я выжилъ изъ тѣхъ лѣтъ, когда умираютъ, принося ния своей любезной и завѣщая другу клочекъ напомаженныхъ или ненапомаженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю объ одномъ себѣ; иные не дѣлаютъ и этого. Друзья, которые завтра меня забудутъ или, хуже, взведутъ на мой счетъ Богъ знаетъ какія небывальши; женщины, которыя, обвиняя другого, будутъ смѣяться надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ усонинему, — Богъ съ ними! Изъ жизненной бури я вынесъ только нѣсколько идей и нѣ одного чувства. Я давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣшиваю, разбираю свои собственныя страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ два человѣка: одинъ живетъ въ познѣмъ

смыслъ этого слова, другой мыслить и судить его; первый, можетъ-быть, чрезъ часъ простится съ вами и міромъ навѣки, а второй... второй?..“

Это признаніе обнаруживаетъ всего Печорина. Въ немъ нѣтъ фразъ, и каждое слово искренно. Безсознательно, но вѣрно выговорить Печоринъ всего себя. Этотъ человѣкъ не пылкій юноша, который гоняется за впечатлѣніями, и всего себя отдаетъ первому изъ нихъ, пока оно не изгладится, и душа не запроситъ новаго. Нѣтъ, онъ вполне пережилъ юношескій возрастъ, этотъ періодъ романтическаго взгляда на жизнь: онъ уже не мечтаетъ умереть за свою возлюбленную, произнесъ ей имя и завѣщавая другу поцѣловать, не принимаетъ слова за дѣло, порывъ чувства, хотя бы самаго возвышеннаго и благороднаго, за дѣйствительное состояніе души человѣка. Онъ много переживалъ, много любилъ, и по опыту знаетъ, какъ непродолжительны всѣ чувства, всѣ привязанности: онъ много думалъ о жизни, и по опыту знаетъ, какъ ненадежны всѣ заключенія и выводы для тѣхъ, кто прямо и смѣло смотритъ на истину, не гнѣшитъ и не обманываетъ себя убѣжденіями, которымъ уже самъ не вѣритъ... Духъ его созрѣлъ для новыхъ чувствъ и новыхъ думъ, сердце требуетъ новой привязанности: *дѣйствительность* — вотъ сущность и характеръ всего этого новаго. Онъ готовъ для него; но судьба еще не даетъ ему новыхъ опытовъ, и, презирая старые, онъ все-таки по нимъ же судитъ о жизни. Отсюда это безвѣріе въ дѣйствительность чувства и мысли, это охлажденіе къ жизни, въ которой ему видится то оптический обманъ, то безсмысленное мельканіе китайскихъ тѣней. Это — переходное состояніе духа, въ которомъ для человѣка все старое разрушено, а новаго еще нѣтъ, и въ которомъ человѣкъ есть только возможность чего-то дѣйствительнаго въ будущемъ и совершенный призракъ въ настоящемъ. Тутъ-то возникаетъ въ немъ то, что на простомъ языкѣ называется и „хапдрю“, и „индохендрією“, и „мнительностью“, и „сомнѣніемъ“, и другими словами, далеко не выражающими сущности явления, и что на языкѣ философовъ называется *рефлексією*. Мы

не будемъ объяснять ни этимологическаго ни философскаго значенія этого слова, а скажемъ коротко, что въ состоянн рефлексн чловѣкъ распадается на два чловѣка, изъ которыхъ одинъ живетъ, а другой наблюдаетъ за нимъ, и судить о немъ. Тутъ нѣтъ полноты ни въ какомъ чувствѣ, ни въ какой мысли, ни въ какомъ дѣйстви: какъ только зародится въ чловѣкѣ чувство, намѣреніе, дѣйствіе, тотчасъ какой-то скрытый въ немъ самый врагъ уже подматриваетъ зародивш, анализируетъ его, изслѣдуетъ, вѣрна ли, истина ли эта мысль, дѣйствительно ли чувство, законно ли намѣреніе, и какая ихъ цѣль, и къ чему они ведутъ,—и благоуханный цвѣтъ чувства блекнетъ, не распустившись, мысль дробится въ безконечность, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталѣ; рука, поднятая для дѣйствія, какъ внезапно окаменѣлая, останавливается на взмахѣ и не ударяетъ...

Такъ робкими всегда творятъ насъ совѣтъ.

Такъ яркій въ насъ рѣшимости румянецъ

Подъ тѣню тускнѣетъ размышленья,

И замысловъ отважные порывы,

Отъ сей препоны уклоняя бѣгъ свой,

Имень дѣяній не стяжаютъ...

говоритъ Шекспировъ Гамлетъ, этотъ поэтическій апофеозъ рефлексн. Ужасное состояніе! Даже въ объятіяхъ любви, среди блаженнѣйшаго упоенія и полноты жизни, возстаетъ этотъ враждебный внутренний голосъ, чтобы заставить чловѣка думать, и, вырвавъ изъ его рукъ очаровательный образъ, замѣнить его отвратительнымъ скелетомъ...

. . . въ такое время,

Когда не думаетъ никто.

Но это состояніе сколько ужасно, столько же необходимо. Это одинъ изъ величайшихъ моментовъ духа. Полнота жизни въ чувствѣ, но чувство не есть еще послѣдняя степень духа, дальше которой онъ не можетъ развиваться. При одномъ чувствѣ чловѣкъ есть рабъ собственныхъ ощущеній, какъ животное есть рабъ собственнаго инстинкта. Достоинство безсмертнаго духа чловѣческаго заключается въ его разумности, а послѣдній, высшій актъ разумности

есть мысль. Въ мысли независимость и свобода человека отъ собственныхъ страстей и темныхъ ощущеній. Когда человекъ поднимаетъ въ гнѣвъ руку на врага своего—онъ слѣдуетъ чувству, его одушевляющему; но только разумная мысль о своемъ человѣческомъ достоинствѣ и о своемъ человѣческомъ братствѣ со врагомъ можетъ удержать порывъ гнѣва и обезоружить поднятую для убійства руку. Но переходъ изъ непосредственности въ разумное сознаніе необходимо совершается черезъ рефлексію, болѣе или менѣе болѣзненную, смотря по свойству индивидуума. Если человекъ чувствуетъ хоть сколько-нибудь свое родство съ человѣчествомъ и хоть сколько-нибудь сознаетъ себя духомъ въ духѣ, — онъ не можетъ быть чуждъ рефлексіи. Исключенія остаются только или за натурами чисто-практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересамъ духа, и чьихъ жизнь — апатическая дремота. И нашъ вѣкъ есть по преимуществу вѣкъ рефлексій, почему отъ нея не освобождены ни тѣ мирныя и счастливыя натуры, которыя съ глубиною соединяють тихость и невозмущаемое спокойствіе, ни самыя практическія натуры, если онѣ не лишены глубины. Отсюда значеніе цѣлой германской литературы: въ основаніи почти каждаго изъ ея произведеній лежитъ нравственный, религіозный или философскій вопросъ. „Фаустъ“ Гёте есть поэтическій апофеозъ рефлексіи нашего вѣка. Естественно, что такое состояніе человѣчества нашло свой отзывъ и у насъ; но оно отразилось въ нашей жизни особеннымъ образомъ, вслѣдствіе неопредѣленности, въ которую поставлено наше общество насильственнымъ выходомъ изъ своей непосредственности, черезъ великую реформу Петра. Дивно-художественная „Сцена Фауста“ Пушкина представляетъ собою высокій образъ рефлексіи, какъ болѣзни многихъ индивидуумовъ нашего общества. Ея характеръ—апатическое охлажденіе къ благамъ жизни, вслѣдствіе невозможности предаваться имъ со всею полнотою. Отсюда: томительная бездѣйственность въ дѣйствіяхъ, отвращеніе ко всякому дѣлу, отсутствіе всякихъ интересовъ въ душѣ, неопредѣ-

ленность желаній и стремленій, безотчетная тоска, мечтательность при избыткѣ внутренней жизни. Это противорѣчіе превосходно выражено авторомъ разбираемаго нами романа въ его чудно-поэтической „Думѣ“, исполненной благороднаго негодованія, могучей жизни и поразительной вѣрности идей. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно припомнить изъ нея слѣдующіе четыре стиха, въ которыхъ сказано больше, чѣмъ въ двѣнадцати томахъ иного „господина-сочинителя“:

И ненавидимъ мы и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови!..

Печоринъ есть одинъ изъ тѣхъ, къ кому особенно должно относиться это энергическое воззваніе благороднаго поэта, котораго это самое и заставило назвать героя романа героемъ нашего времени. Отсюда происходятъ и недостатки опредѣленности, недостатокъ художественной рельефности въ изображеніи этого лица, но отсюда же выходитъ и его высочайшій поэтический интересъ для всѣхъ, кто принадлежитъ къ *нашему времени* не по одному году и числу мѣсяца, въ которые родился, и то сильное неотразимо-грустное впечатлѣніе, которое онъ на насъ производитъ. Но мы еще возвратимся къ этому предмету, когда кончимъ изложеніе содержанія романа.

Подробности свиданія противниковъ на мѣстѣ роковой раздѣлки переданы авторомъ съ ужасающею истиною и поэзією. Чтобы разстроить безчестныя намѣренія своихъ враговъ, возбудивъ трусость въ Грушницкомъ, Печоринъ предложилъ ему стрѣляться на узенькой площадкѣ отвѣсной скалы, сажень въ тридцать вышины, и съ острыми камнями внизу. „Каждый изъ насъ (говоритъ онъ Грушницкому) станетъ на самомъ краю площадки; такимъ образомъ даже легкая рана будетъ смертельна: это должно быть согласно съ вашимъ желаніемъ, потому что вы сами пазпачили шесть шаговъ. Тотъ, кто будетъ раненъ, полетитъ непременно внизъ, разобьется вдребезги: пулю докторъ вынетъ. И тогда

можно будетъ очень, очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачнымъ прыжкомъ. Мы бросимъ яребию, кому первому стрѣлять. Объясняю вамъ въ заключеніе, что иначе я не буду драться“... Грушиницкій былъ поставленъ въ затрудненіе—лицо его ежеминутно мѣнялось. Теперь ему нельзя было отдѣлаться легкой раной, нанесенною противнику или полученною имъ самимъ. Съ другой стороны, ему пришлось бы или выстрѣлить на воздухъ, или сдѣлаться убійцею, или отказаться отъ своего подлаго замысла. Капитанъ отвѣчалъ на вызовъ Печорина: „пожалуй!“, и Грушиницкій принужденъ былъ кивнуть головою въ знакъ согласія. Однако онъ отвелъ капитана въ сторону, и сталъ говорить съ нимъ съ большимъ жаромъ. Печоринъ видѣлъ, какъ дрожали его носинѣлыя губы, и слышалъ, какъ капитанъ, отвернувшись съ презрѣніемъ, отвѣчалъ ему довольно громко: „ты дуракъ! ничего не понимаешь!“

Вышли на площадку, изображавшую почти треугольникъ. Условились, что бы готъ, которому первому достанется встрѣтить выстрѣлъ, сталъ на углу площадки, спиною къ пропасти; если же онъ не будетъ убитъ, противники должны были помѣняться мѣстами. Бросили яребию. Грушиницкому досталось стрѣлять первому. Когда стали на мѣста, Печоринъ сказалъ Грушиницкому, что если онъ промахнется, то не долженъ надѣяться промаха съ его стороны. Грушиницкій покраснѣлъ: мысль убить человека безоружнаго, казалось, боролась въ немъ со стыдомъ признаться въ подломъ умыслѣ. Докторъ снова сталъ совѣтовать Печорину обнаруживать ихъ умыслъ, и самъ было хотѣлъ это сдѣлать. „Ни за что на свѣтѣ, докторъ! — отвѣчалъ Печоринъ, удерживая его за руку, — вы все испортите, вы мнѣ дали слово не мѣшать... какое вамъ дѣло? Можетъ-быть, я хочу быть убитымъ...“ — „О! это другое!.. только на меня на томъ свѣтѣ не жалуйтесь...“ — отвѣчалъ Вернеръ, посмотрѣвъ на него съ удивленіемъ.

Капитанъ зарядилъ пистолеты и подаль одинъ Грушиницкому, шепнувъ ему что-то, а другой—Печорину. Печоринъ выдался впередъ, опершись рукою о коѣно, чтобы, въ

случаѣ легкой раны, не полетѣть въ бездну; Грушницкій, съ блѣднымъ лицомъ, дрожащими кѣтями, сталъ наводить пистолеть, мѣтя въ лобъ; но тутъ совершилось то, что необходимо должно было совершиться вслѣдствіе слабости характера Грушницкаго, неспособнаго ни къ положительному добру ни къ положительному злу: пистолеть опустился, и блѣдный какъ смерть, обратившись къ своему секунданту, Грушницкій сказалъ глухимъ голосомъ: „не могу!“ — „Трусъ!“ отвѣчалъ капитанъ, — выстрѣлъ раздался — пуля легко оцарапала кѣтью Печорина, который невольно сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, чтобы поскорѣе отдѣлаться отъ края. Какая вѣрная черта человѣческой натуры, въ которой ни порывы самолюбія ни жизненная сила воли не могутъ заглушить инстинкта самосохраненія!..

Теперь настала очередь Печорина. Капитанъ сыгралъ сцену прощанія съ Грушницкимъ, едва удерживаясь отъ смѣха. Можно себѣ представить, какія чувства волновали Печорина при видѣ соперника, который теперь съ спокойною дерзостью смотрѣлъ на него и, кажется, удерживалъ улыбку, а за минуту хотѣлъ убить его какъ собаку... Какъ бы для очистки своей совѣсти, онъ предложилъ ему попросить у него прощеніе, но, услышавъ гордый отказъ, произнесъ слѣдующія слова съ разстановкою, громко и внятно, какъ произносятъ смертный приговоръ: „Докторъ, эти господа, вѣроятно второяхъ, забыли положить пулю въ мой пистолеть: прошу васъ зарядить его снова, — и хорошенько!“ Капитанъ старался казаться обиженнымъ и утверждать, что это неправда; но Печоринъ заставилъ его замолчать, сказавъ, что если это такъ, то онъ и съ нимъ будетъ стрѣляться на тѣхъ же условіяхъ. Грушницкій подаетъ рѣшительный голосъ въ пользу переряженія пистолета. „Дуракъ же ты, братецъ“, — сказалъ капитанъ, плюнувъ и топнувъ ногою, — „пошлый дуракъ!.. Ужъ положился на меня, такъ слушайся во всемъ... подѣломъ же тебѣ! окотѣвай себѣ какъ муха!..“ Печоринъ снова предложилъ Грушницкому — признаться въ своей клеветѣ, обѣщаясь этимъ и кончить дѣло, и даже напоминать ему о ихъ преж-

ней дружбѣ. Здѣсь предстоялъ автору прекрасный случай изобразить трогательную сцену примиренія враговъ и обращенія на путь истины заблудшаго человека, и тѣмъ премоно утѣшить моралистовъ и любителей привычныхъ эффектовъ; но глубоко-художническій инстинктъ истины, безсознательно открывающій по ту самую сокровеннѣйшую тайну чело-вѣческой природы, заставилъ его написать сцену совѣтъ въ другомъ родѣ, — сцену, которая поражаетъ своею ужасною, безысходною истинностью и своею потрясающею эффектностью, при высочайшей простотѣ и естественности... Лицо Грушницкаго вскинулось, глаза засверкали. „Стрѣляйте!“ — отвѣчалъ онъ, — „я себя презираю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убьете, я васъ зарѣжу ночью изъ-за угла. Памъ на землѣ вѣдомъ нѣтъ мѣста...“.

Да, это гениальная черта, смѣлый и мощный взмахъ художнической кисти!.. Не забудьте, что у Грушницкаго нѣтъ только характера, но что натура его не чужда была нѣкоторыхъ добрыхъ сторонъ: онъ неспособенъ былъ ни къ дѣйствительному добру ни къ дѣйствительному злу; но торжественное трагическое положеніе, въ которомъ самолюбіе его играло бы напропалую, необходимо должно было возбудить въ немъ мгновенный и смѣлый порывъ страсти. Самолюбіе увѣрило его въ необыкновенной любви къ княжнѣ и въ любви княжны къ нему; самолюбіе заставило его видѣть въ Печоринѣ своего соперника и врага; самолюбіе рѣшило его на заговоръ противъ чести Печорина; самолюбіе не допустило его послушаться голоса своей совѣсти и увлечься своимъ добрымъ началомъ, чтобы признаться въ заговорѣ; самолюбіе заставило его выстрѣлить въ безоружнаго человека; то же самое самолюбіе и сосредоточило всю силу его души въ такую рѣшительную минуту, и заставило предпочесть вѣрную смерть вѣрному спасенію чрезъ признаніе. Этотъ человекъ — апофеозъ мелочнаго самолюбія и слабости характера: отсюда все его поступки, — и, несмотря на кажущуюся силу его послѣдняго поступка, онъ вышелъ прямо изъ слабости его характера. Самолюбіе — великій рычагъ въ душѣ человека: оно рождаетъ чудеса! Бываютъ на

свѣтъ люци, которые, не бѣдѣвъ, какъ передъ чайною чаю, стоять переть дуломъ своего пропущина, и которые прячутся подъ фуры во время сраженія...

Спускаясь по пропущинѣ внизъ, Печоринъ замѣнить между развѣлинами стать обрѣзанннмъ группъ Грушницкаго, — и невѣстно закрыть глаза. Во французскъ въ Кусторскѣ, онъ опустить поворота и дать волю коню. Солнце уже садилось, когда, измученный, на измученной лошади, прѣхаетъ онъ домой. Тамъ застать онъ двѣ записки — одну отъ доктора, другую отъ Вѣры.

Докторъ увѣдомляетъ его, что тѣло уже перенесено, но что, благодаря изъ мѣрамъ, возвраще вѣтнмъ, попорѣмнн пѣтъ никакихъ, и что онъ можетъ спать спокойно — если можетъ...

Долго не рѣшался онъ открыть вторую записку: гаденое прѣчувствіе мучило его — и оно не обмануло его. Письмо Вѣры начинается прощаніемъ навсѣгда. Мужъ разсказалъ ей о ссорѣ Печорина съ Грушницкимъ, — и это такъ поразило и взволновало ее, что она не понимала, что отвѣчала ему, и только тогдаывалась, что то было признаніе въ своей тайной любви, потому что мужъ оскорбилъ ее ужаснымъ словомъ и, рысаясь изъ комнаты, велѣлъ закладывать карету. Мысль о вѣчной разлукѣ утѣкла ее къ объясненію своихъ отношеній къ Печорину, — и вотъ примѣчательнѣйшее мѣсто письма:

„Мы расстаемся навѣки, однакожъ ты можешь быть увѣренъ, что я никогда не буду любить другого: моя душа истончила на тебѣ все свои сокровища, свои слзы и надежды. Любвиная разъ тебя не можетъ сморѣть безъ нѣкотораго презрѣнія на прочихъ мужчинъ, не потому, чтобы ты была лучше ихъ, о нѣтъ! но въ твоей природѣ есть что-то особенное, тебѣ одному свойственное, что-то гордое и таинственное: въ тебѣ емъ голосъ, что бы ты ни говорилъ, есть власть необходимая; никто не умѣетъ такъ постоянно хотѣть быть любимымъ; ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно; ни чей взоръ не обѣщаетъ столько блаженства; никто не умѣетъ лучше пользоваться своими преимуществами, и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увѣрить себя въ противномъ“.

Письмо заключается изъясненіемъ сомнѣній оиъ утѣрен-

пости, что онъ не любить Мери, и не женится на ней. „Послушай, ты долженъ мнѣ припести эту жерву: я для тебя потеряла все на свѣтѣ...“.

Велѣвъ осѣдлать измученнаго коня, какъ безумный помчался Печоринъ въ Пятигорскъ. При возможности потерять Вѣру, она стала для него дороже всего на свѣтѣ — жизни, чести, счастія! Натискъ судьбы взволновалъ могучую натуру, изнемогавшую въ спокойствіи и мирѣ, и возбуждалъ ее дремавшее чувство... Здѣсь невольно приходятъ на умъ эти стихи Пушкина:

О, люди! всѣ похожи вы
На прародительницу Еву:
Что вамъ дано, то не влечетъ;
Васъ безпрестанно змій зоветъ
Къ себѣ, къ таинственному древу:
Запретный плодъ вамъ подавай,
А безъ того вамъ рай не въ рай.

Стремглавъ скача и погоняя безпощадно, онъ сталъ замѣчать, что конь его тяжело дышитъ и спотыкается. Оставалось пять верстъ до Есентуковъ, казаньей станицы, гдѣ бы могъ пересѣсть онъ на другую лошадь. Еще бы только десять минутъ, но конь рухнулся и издохъ... Печоринъ хотѣлъ идти пѣшкомъ, но, измученный тревогами дня и бессонницею, онъ упалъ на мокрую траву и какъ ребенокъ заплакалъ... Напряженная гордость, холодная твердость — плодъ сухого отчаянія, софизмы свѣтской философіи — все исчезло и умолкло; уже не стало человѣка, волнующаго страстями, потрясимаго борьбою внутреннихъ противорѣчій, — передъ нами бѣдное, безцѣльное дитя, слезами омывающее грѣхи свои, чуждое, на эту минуту, ложнаго стыда, и не жалующееся ни на судьбу, ни на людей, ни на самого себя...

„И долго лежалъ я неподвижно, и плакалъ горько, не стараясь удержать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе исчезли какъ дымъ, душа обезсилѣла, разсудокъ замолкъ; и селѣвъ въ эту минуту кто-нибудь увидѣлъ, онъ бы съ презрѣніемъ отвернулся“.

Когда ночная роса и горный вѣтеръ освѣжили его горящую голову, онъ разсудилъ, что горькій прощальный по-

дѣлу и немного бы прибавить къ его воспоминаніямъ, а разлука послѣ него была бы тяжелѣе, — и возвратился въ Киселоводекъ въ пять часовъ утра, бросился въ постель и проспалъ мертвымъ сномъ до вечера. Тутъ пришелъ къ нему Вернеръ и извѣстилъ его, что княжна Лиговская больна разслабленіемъ нервъ; что начальство догадывается объ истинныхъ причинахъ смерти Грушинскаго, и что ему должно взять свои мѣры. Въ самомъ дѣлѣ, на другой день утромъ онъ получилъ приказаніе отъ высшаго начальства отправиться въ крѣпость N, гдѣ судьба и свѣда его съ Максимомъ Максимычемъ.

Передъ отъѣздомъ онъ зашелъ къ княгинѣ Лиговской проститься. Она встрѣтила его, какъ человека, навѣрное явившагося къ ней, какъ къ матери, съ предложеніемъ руки дочери. Тутъ слѣдуетъ превосходная комическая сцена, гдѣ княгиня, намекая Печорину, что ей извѣстны его отношенія къ Мери, даетъ ему знать, что не будетъ противиться ихъ соединенію, и охотно прощаетъ ему страшность его поведенія въ отношеніи къ ея дочери. Нѣсколько разъ прерывала она свой большой монологъ пыхтѣніемъ и вздохами, и, наконецъ, заплакала. Печоринъ попросилъ у нея позволенія наединѣ переговорить съ ея дочерью, на что княгиня принуждена была согласиться.

„Прошло пять минутъ; сердце мое билось, но мысли были спокойны, голова холодна; какъ я ни искалъ въ груди моей хотѣ пскры любви къ милой Мери, старанія мои были напрасны.

Вотъ дверь отворилась, и вошла она. Боже! какъ перемѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ ее,—а давно ли? Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочилъ, подалъ ей руку и довелъ ее до кресель.

Я стоялъ противъ нея. Мы долго молчали; ея большіе глаза, наполненные неизъяснимой грустью, казалось, искали въ моихъ что-нибудь похожее на надежду; ея блѣдныя губы напрасно старались улыбнуться; ея нѣжныя руки, сложенные на колѣняхъ, были такъ худы и прозрачны, что мнѣ стало жаль ея.

— Княжна, — сказалъ я, — вы знаете, что я надъ вами смѣлся!.. Вы должны презирать меня.

На ея щекахъ показался болѣзненный румянецъ.

Я продолжалъ: слѣдственно, вы меня любить не можете.

Она отвернулась, облокотилась на столъ, закрыла глаза рукою, и мнѣ показалось, что въ нихъ блеснули слезы.

— Боже мой!—произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо; еще минута, и я бы упалъ къ ногамъ ея.

— Итакъ, вы сами видите, сказалъ я сколько могъ твердымъ голосомъ и съ принужденною усмѣшкою,—вы сами видите, что я не могу на васъ жениться. Еслибъ вы даже этого теперь хотѣли, то скоро бы раскаялись; мой разговоръ съ вашей матушкой принудилъ меня объясниться съ вами такъ откровенно и такъ грубо; я надѣюсь, что она въ заблужденіи: вамъ ее легко разуверить. Вы видите, я играю въ вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, и даже въ этомъ признаюсь; вотъ все, что могу для васъ сдѣлать. Какое бы вы дурное мнѣніе обо мнѣ ни имѣли, я ему покоряюсь... Видите ли, я передъ вами низокъ?.. Не правда ли, если даже вы меня и любили, то съ этой минуты презираете?..

Она обернулась ко мнѣ блѣвая, какъ мраморъ, только глаза ея чудно сверкали.—Я васъ ненавижу!—сказала она.

И поблагодарить, поклонился почтительно и вышелъ“.

Нужно ли что-нибудь говорить объ этой сценѣ, гдѣ блѣдная Мери является въ такомъ безконечно поэтическомъ апофеозѣ страданія отъ обманутаго чувства и оскорбленнаго самолюбія и достоинства женщины, и гдѣ каждое ея движеніе, каждый звукъ ея голоса запечатлѣны такою неотразимою прелестью и истиною, а поведеніе такъ трогательно и возбуждаетъ такое сильное и горестное участіе?.. Итъ, кому эта сцена не скажетъ всего, кому наши слова ничего не пояснятъ...

Черезъ часъ сказать онъ на тройкѣ курьерскихъ изъ Кисловодска, и на дорогѣ увидѣть своего коня: сѣдло было снято и, вмѣсто него, два ворона сидѣли у него на спинѣ... Онъ вздохнулъ и отвернулся...

„И теперь, здѣсь, въ этой скучной крѣпости, и часто, пробѣгая мыслями прошедшее, спрашиваю себя, отчето я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?.. Итъ, я бы не ужился съ этою долею! Я какъ матросъ, рожденный и выросшій на палубѣ разбойничьего брига: его душа слилась съ бурями и битвами, и, выброшенный на берегъ, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тѣмнѣтая роща, какъ ни свѣзи ему мирное солнце; онъ ходитъ себѣ цѣлый день по прибрежному песку, прислуши-

вается къ однообразному ровному набѣгающимъ волнъ и вематривается въ туманную даль: не мелькнетъ ли тамъ, на блѣдной чертѣ, отдѣляющей синюю пучину отъ сѣрыхъ тучекъ, желанный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало по-малу отдѣляющійся отъ пѣны галуновъ и рогнымъ обѣгомъ приближающійся къ пустынной пристави“.

Такого лирическаго выхода, полное безконечной поэзии и обнаруживающаго всю глубину и мощь этого человека, заканчивается журналъ Печорица. Теперь это таинственное лицо, такъ сильно волновавшее наше любопытство и въ исторіи Бѣлы, и при свиданіи съ Максимъ Максимычемъ, и въ разсказѣ о собственномъ приключеніи въ Тамани,—теперь оно все передъ нами во весь ростъ свой. Черезъ него самого познакомимся мы со всеми изгибами его сердца, со всеми событіями его жизни, и теперь уже самъ онъ ничего новаго не въ состояніи сказать намъ о самомъ себѣ. Но, между тѣмъ, прочли „Княжну Мери“, мы все еще не разстались съ нимъ, и еще разъ встречаемся съ нимъ, какъ съ рассказчикомъ необыкновеннаго случая, котораго онъ быть свидѣтелемъ. Мы не будемъ ни подробно излагать содержанія этого разсказа ни дѣлать изъ него выписки. Въ обществѣ офицеровъ завелъ споръ о восточномъ фатализмѣ, и молодой офицеръ Вуличъ предложить пари противъ предопредѣленія, схватилъ со стѣны первый попавшійся ему изъ множества висѣвшихъ на стѣнѣ пистолетовъ, насыпать на полку пороха, приставилъ пистолетъ ко лбу, спустилъ курокъ — осыпалъ. Захотѣли узнать, точно ли пистолетъ былъ заряженъ, выстрѣлили въ фуражку, — и, когда дымъ развеялся, все увидѣли, что фуражка была прострѣлена. Еще до выстрѣла Печорину въ лицѣ и голосѣ Вулича показалось что-то такое странное и таинственное, что невольно убѣдился въ близкой смерти этого человека, и притомъ ему смерть. Въ самомъ дѣлѣ, выходя изъ общества, Вуличъ былъ убитъ на улицѣ станицы пляхмъ казакомъ. Да здравствуетъ фатализмъ! Все, что мы пересказали въ нѣсколькихъ строкахъ, составляетъ въ романѣ порядочный отрывокъ съ превосходно изложенными подробностями, увлекательный по разсказу. Особенно хоро-

по обрисовать характер героя—такъ и видите его передъ собою, тѣмъ болѣе, что онъ очень похожъ на Печорина. Самъ Печоринъ является тутъ дѣйствующимъ лицомъ, и едва ли еще не болѣе на первомъ планѣ, чѣмъ самъ герой разсказа. Свойство его участія въ ходѣ повѣсти, равно какъ и его отчаянная, фаталическая смѣлость при взятіи взбѣсившагося казака если не прибавляютъ ничего новаго къ даннымъ о его характерѣ, то все-таки добавляютъ уже извѣстное намъ, и тѣмъ самымъ усугубляютъ единство мрачнаго и терзающаго душу впечатлѣнія цѣлаго романа, который есть біографія одного лица. — Это усиленіе впечатлѣнія особенно заключается въ основной идеѣ разсказа, которая есть фатализмъ, вѣра въ предопредѣленіе, одно изъ самыхъ мрачныхъ заблужденій человѣческаго разсудка, которое лишаетъ человѣка нравственной свободы, изъ слѣплого случая дѣлая необходимость. Предразсудокъ — явно выходящій изъ положенія Печорина, который не знаетъ, чему вѣрить, на чемъ опереться, и съ особеннымъ увлеченіемъ хватается за самыя мрачныя убѣжденія, лишь бы только давали они поэзію его отчаянію и оправдывали его въ собственныхъ глазахъ.

Что же за человѣкъ этотъ Печоринъ?—Здѣсь мы должны обратиться къ „Предисловію“, написанному авторомъ романа къ журналу Печорина.

„Теперь я долженъ нѣсколько объяснить причины, побудившія меня передать публикѣ сердечныя тайны человѣка, котораго я никогда не зналъ. Добро бы я былъ еще его другомъ; коварная нескромность истиннаго друга понятна каждому, но я видѣлъ его только разъ въ моей жизни на большой дорогѣ; слѣдовательно, не могу питать къ нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъ личиною дружбы, ожидаетъ только смерти или несчастья любимаго предмета, чтобъ разразиться надъ головою громомъ упрековъ, совѣтовъ и сожалѣній“.

Несмотря на всю софистическую ложность этой горькой выходки,—самая же желчность свидѣтельствуетъ уже, что въ ней есть своя истинная сторона. Въ самомъ дѣлѣ, и дружба, подобно любви, есть роза съ роскошнымъ цвѣтомъ, упонительнымъ ароматомъ, но и съ колючими шипа-

ми. Каждая индивидуальность, какъ бы по природѣ своей, враждебна другой, и силится пересоздать ее по своему, и въ самомъ дѣлѣ, когда сходятся двѣ субъективности, онѣ, такъ сказать, чрезъ взаимное треніе другъ обѣ друга сглаживаются и измѣняются, заимствуя одна отъ другой то, чего имъ не достаетъ. Отсюда это взаимное цензорство въ дружбѣ, эта страсть разражаться надъ головою друга градомъ упрековъ, насмѣшекъ и сожалѣній. Самолюбіе тутъ играетъ свою роль; но если дружба основана не на дѣтской привязанности или какой-нибудь внѣшней связи, — истинная привязанность, внутреннее человѣческое чувство всегда играетъ тутъ свою роль. Авторъ видитъ въ дружбѣ одинъ пиннъ — и его ошибка не въ ложности, а въ односторонности взгляда. Онъ, видимо, находится въ томъ состояніи духа, когда въ нашемъ разумѣнн всякая мысль распадается на свои же собственные моменты, до тѣхъ поръ, пока духъ нашъ не созрѣетъ для великаго процесса разумнаго примиренія противоположностей въ одномъ и томъ же предметѣ. Вообще, хотя авторъ и выдастъ себя за человѣка, совершенно чуждаго Печорину, но онъ сильно симпатизируетъ съ нимъ, и въ ихъ взглядѣ на вещи — удивительное сходство. Слѣдующее мѣсто изъ „Предисловія“ еще болѣе подтверждаетъ нашу мысль:

„Можетъ-быть, нѣкоторые читатели захотятъ узнать мое мнѣніе о характерѣ Печорина. Мой отвѣтъ — заглавіе этой книги. — Да это злая иронія! скажутъ они. — Не знаю“.

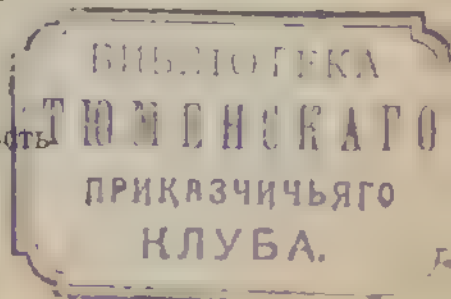
Итакъ, „Герой нашего времени“ — вотъ основная мысль романа. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ этого весь романъ можетъ почестся злою ироніею, потому что большая часть читателей навѣрное воскликнетъ: „Хорошъ же герой!“ — А чѣмъ же онъ дурень? — смѣемъ васъ спросить.

Зачѣмъ же такъ неблагосклонно
Вы отзываетесь о немъ?

За то-ль, что мы неутомимо
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ.

Что пылкихъ думъ неосторожность
Себялюбивую ничтожность

Иль оскорбляетъ иль смѣшитъ.



Что умъ, любя просторъ, тѣснить,
 Что слишкомъ часто разговоры
 Принять мы рады за дѣла,
 Что глупость вѣтрена и зла,
 Что важнымъ людямъ важны вздоры,
 И что посредственность одна
 Намъ по плечу и нестрашна?

Вы говорите противъ него, что въ немъ нѣтъ вѣры. Прекрасно! но, вѣдь, это то же самое, что обвинять внищаго за то, что у него нѣтъ золота: онъ бы и радъ имѣть его, да не дается оно ему. И при томъ развѣ Печоринъ радъ своему безвѣрью? развѣ онъ гордится имъ? развѣ онъ не страдаетъ отъ него? развѣ онъ не готовъ цѣною жизни и счастья дунуть эту вѣру, для которой еще не насталаъ часъ его?.. Вы говорите, что онъ эгоистъ?—Но развѣ онъ не презираетъ и не презираетъ себя за это? развѣ сердце его не закладеть любви чистой и безкорыстной? Итъ, это не эгоизмъ: эгоизмъ не страдаетъ, не обвиняетъ себя, но доволенъ собою, радъ себѣ. Эгоизмъ не знаетъ мученія; страданіе есть удѣлъ одной любви. Душа Печорина не каменная почва, но засохшая отъ зной пламенной жизни земля: пусть взрыхлитъ ее страданіе и ороситъ благодатный дождь,—и она произраститъ изъ себя пышные, роскошные цвѣты небесной любви. Этому человѣку стало больно и грустно, что всѣ его не любятъ,—и кто же эти „всѣ?“—пустые, ничтожные люди, которые не могутъ простить ему его превосходства падъ ними. А его готовность задушить въ себѣ ложный стыдъ, голосъ свѣтской чести и оскорбленнаго самолюбія, когда онъ за признаніе въ клеветѣ готовъ былъ простить Грушницкому, — человѣку, сейчасъ только выстрѣлившему въ него пулею и безстыдно ожидавшему отъ него холостого выстрѣла? А его слезы и рыданія въ пустынной стѣнѣ, у тѣла издохшаго коня?—Итъ, все это не эгоизмъ! Но его—скажете вы—холодная расчетливость, систематическая разсчитанность, съ которою онъ обольщаетъ бѣдную дѣвушку, не любя ея, и только для того, чтобы посмѣяться надъ нею, и чѣмъ-нибудь занять свою праздность? — Такъ, но мы и не думаемъ оправдывать его въ

такихъ поступкахъ, ни выставить его образцомъ, высокимъ идеаломъ чистѣйшей нравственности: мы только хотимъ сказать, что въ человѣкѣ должно видѣть человека, и что идеалы нравственности существуютъ въ однихъ классическихкихъ трагедіяхъ и морально-сентиментальныхъ романахъ прошлаго вѣка. Судя о человѣкѣ, должно брать въ разсмотрѣніе обстоятельства его развитія и сферу жизни, въ которую онъ поставленъ судьбою. Въ идеяхъ Печорина много ложнаго, въ оцѣнкахъ его есть искаженіе: но все это выкупается его богатою натурою. Его, во многихъ отношеніяхъ, дурное настоящее обѣщаетъ прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрымъ движеніемъ парохода, видите въ немъ великое торжество духа надъ природою — и хотите потомъ отрицать въ немъ всякое достоинство, когда онъ сокрушается, какъ зерно жерновъ, неосторожныхъ, попавшихъ подъ его колеса: не значить ли это противорѣчить самимъ себѣ? опасность отъ парохода есть результатъ его чрезвычайной быстроты: слѣдовательно, порокъ его выходитъ изъ его достоинства. Бываютъ люди, которые отирагительны при всей безукоризненности своего поведения, потому что она въ нихъ есть слѣдствіе безжизненности и слабости духа. Порокъ возмутителенъ и въ великихъ людяхъ; но наказанный, онъ приводитъ въ умиленіе вашу душу. Это наказаніе только тогда есть торжество нравственного духа, когда оно является не извнѣ, но есть результатъ самаго порока, отрицаніе собственной личности индивидуума въ оправданіе вѣчныхъ законовъ оскорбленной нравственности. Авторъ разбираемаго нами романа, описывая наружность Печорина, когда онъ съ нимъ встрѣтился на большой дорогѣ, вотъ что говоритъ о его глазахъ: „Они не смѣялись, когда онъ смѣялся... Вамъ не случалось замѣчать такой стражности у пѣкоторыхъ людей? Это признакъ или злого нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъ-за полупропущенныхъ рѣсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отраженіе жара душевнаго или играющаго воображенія: то былъ блескъ, подобный блеску гладкой стали,

ослѣпительный, но холодный; взглядъ его — непродолжительный, но прощипательный и тяжелый, оставлялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескромнаго вопроса, и могъ казаться дерзкимъ, еслибъ не былъ столь равнодушно спокоенъ“. Согласитесь, что какъ эти глаза, такъ и вся сцена свиданія Печорина съ Максимъ Максимычемъ показываютъ, что если это порокъ, то совѣмъ не торжествующій, и надо быть рожденнымъ для добра, чтобъ такъ жестоко быть наказану за зло?.. Торжество нравственнаго духа гораздо поразительнѣе совершается надъ благородными натурами, чѣмъ надъ злодѣями...

А между тѣмъ этотъ романъ совѣмъ не злая пропія, хотя и очень легко можетъ быть принятъ за пропію: это одинъ изъ тѣхъ романовъ,

Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный человекъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Клящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

„Хорошъ же современный человекъ!“ воскликнулъ одинъ нравописательный „сочинитель“, разбирая или, лучше сказать, ругая седьмую главу „Евгенія Онегина“. Здѣсь мы почитаемъ кстати замѣтить, что всякій современный человекъ, въ смыслѣ представителя своего вѣка, какъ бы онъ ни былъ дурень, не можетъ быть дурень, потому что нѣтъ дурныхъ вѣковъ, и ни одинъ вѣкъ не хуже и не лучше другого, потому что онъ есть необходимый моментъ въ развитіи человечества или общества.

Пушкинъ спрашивалъ самого себя о своемъ Онегинѣ:

Чудакъ печальный и опасный,
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Что жъ онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ,—
Ужъ не пародія ли онъ?

И тѣмъ самымъ вопросомъ онъ разрѣшилъ загадку и нашелъ слово. Онѣгинъ не постраданіе, а отраженіе, не ставившееся не въ фантазію поэта, а въ современное общество, которое онъ изобразилъ въ лицѣ героя своего поэтическаго романа. Сближеніе съ Европою должно было особеннымъ образомъ отразиться въ нашемъ обществѣ, — и Пушкинъ типичнымъ инстинктомъ великаго художника уловилъ это отраженіе въ лицѣ Онѣгина. Но Онѣгинъ для насъ уже прошедшее, и прошедшее невозвратное.

Если бы онъ явился въ наше время, вы имѣли бы право спросить вмѣстѣ съ поэтомъ:

Все тотъ же ль онъ иль усмирился?
Иль корчитъ также чудака?
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?
Что намъ представить онъ пока?
Чѣмъ нынѣ явится?—Мельмотомъ,
Космополитомъ, патриотомъ,
Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой,
Иль маской щегольнетъ иной?
Иль просто будетъ добрый малый,
Какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ?

Петровичъ Лермонтова есть лучший отвѣтъ на тѣ же вопросы. Это Онѣгинъ нашего времени, герой нашего времени. Несходство ихъ между собою гораздо меньше, разстоянія между Онѣгиною и Петровою. Иногда въ самомъ имени, которое истинный поэтъ даетъ своему герою, есть разумная необходимость, хотя, можетъ-быть, и невидимая самимъ поэтомъ.

Со стороны художественнаго выношенія, нечего и сравнивать Онѣгина съ Петровичемъ. Но такъ выше Онѣгина Петровича въ художественномъ отношеніи, такъ Петровичъ выше Онѣгина по плоти. Впрочемъ, это преимущественно принадлежитъ нашему времени, а не Лермонтову.

Что такое Онѣгинъ? Душею характеристичною и порочающимъ его лица можетъ служить французскій эпигравъ въ поэмѣ: „Petri de vanite il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment

de supériorité, peut-être imaginaire“. Мы думаемъ, что это превосходство въ Онегинѣ несколько не было воображаемымъ, потому что онъ „лучше чувства уважалъ“, и что въ „его сердцѣ была и гордость и прямая честь“. Онъ является въ романѣ человекомъ, котораго убили воспитаніе и свѣтская жизнь, которому все пришло въ голову, все пришло въ голову, и котораго вся жизнь состояла въ томъ:

Что онъ равно зѣвалъ
Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

Но заковъ Печоринъ, зѣвать человѣкъ не равнодушно, не апатически несетъ свое страданіе: бѣшено гоняется онъ за жизнью, ища ей побѣду: только обвиняетъ онъ себя въ своихъ заблужденіяхъ. Въ немъ неумолчно раздается внутреннее возроще, тревожитъ его, мучаетъ, и онъ въ рефлексіонъ ищетъ ихъ разрѣшеній: подматриваетъ каждое движеніе своего сердца, разсматриваетъ каждую мысль свою. Онъ слѣдитъ за собою самымъ любознательнымъ предметомъ своихъ наблюденій, и, стараясь быть такъ можно изощреніе въ своемъ искусствѣ, не только строго присматривается въ своихъ поступкахъ неискренности, но еще и издумываетъ необычайныя, или должно изобрѣтать самыя естественныя свои мысли. Какъ въ характеристикѣ современнаго человѣка, сказанной Пушкинымъ, говорится про Онегина, такъ Печоринъ про въ этихъ стихахъ Лермонтова:

И ненавидимъ мы и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ ни любви,
И паритъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови.

„Герой нашего времени“ — это грустная дума о нашемъ времени, такъ грусть, которую такъ старательно такъ энергично такъ обильно, но въ свое политическое поприще, и изъ которой мы взяли эти четыре стиха...

Но съ каждою новой изобразленіе Печорина не совсѣмъ художественно. Онегинъ, принявъ то же въ подлинникъ, такъ много, а не то, что изображаемымъ имъ характеръ, такъ мы уже слыли и слышали, такъ близокъ къ нему, что онъ не въ силахъ быть отдѣляться отъ него и объек-

тивировать его. Мы убѣждены, что никто не можетъ видѣть въ словахъ нашихъ желаніи выставить романъ Лермонтова автобіографіею. Субъективное изображеніе лица не есть автобіографія. Шиллеръ не былъ разбѣликомъ, хотя въ Карлѣ Моорѣ и выразилъ свои идеалъ человека. Прекрасно выразился Фаригагенъ, сказавъ, что на Опылина и Тенескаго можно бы смотрѣть, какъ на братьевъ Вулфа и Вальта у Жанъ-Поля Рихтера, т.-е. какъ на разложеніе самой природы поэта, и что онъ, можетъ-быть, воплотилъ двойство своего внутреннего существа въ этихъ двухъ живыхъ созданіяхъ. Мысль вѣрная, а между тѣмъ было бы очень нелѣпо искать сходныхъ чертъ въ жизни этихъ лицъ съ жизнью самого поэта.

Вотъ причина неопредѣленности Печорина и тѣхъ противорѣчій, которыми такъ часто опутывается изображеніе этого характера. Чтобы изобразить вѣрно данный характеръ, надо совершенно отделиться отъ него, стать выше его, смотрѣть на него какъ на нѣчто оконченное. Но этого, повторяемъ, не видно въ созданіи Печорина. Онъ скрывается отъ насъ такимъ же неяснымъ и неразгаданнымъ существомъ, какъ и является намъ въ началѣ романа. Оттого и самый романъ, поражая удивительнымъ единствомъ сущности, нисколько не поражаетъ единствомъ мысли, и стараясь насъ безъ всякаго перенесенія, которая неслѣдуетъ возникать въ фантазии читателя по прочтеніи художественнаго произведенія, и въ которую неслѣдуетъ погружаться старороссійскимъ готъ-сто. Въ этомъ романѣ удивительная замѣнучесть созданія, но не та вѣчная, художественная, которая сообщается созданію что-то единство личностной идеи, а происходящая отъ единства поэтического ощущенія, которымъ онъ такъ глубоко поражаетъ душу читателя. Въ немъ есть что-то неразгаданное, какъ бы недоговоренное, какъ въ „Verteig“ Гёте, и потому есть что-то гнетущее въ его вычитаніи. Но этотъ недостатокъ есть въ то же время и достоинство романа Лермонтова: таковы бы-ваютъ тѣ современные общественные процессы, выявляемые въ поэтическихъ произведеніяхъ: это роуль страданія, но роуль, который облегчаетъ страданіе.

Это же единство впечатлѣній, а не идеи, связываетъ и весь романъ. Въ „Онегинѣ“ всѣ части органически соотнесены, ибо въ ифранической рамѣ романъ своего Пушкинъ исчерпалъ всю свою идею, и потому въ немъ ни одной части нельзя ни измѣнить ни замѣнить. „Герой нашего времени“ представляетъ собою нѣсколько рамокъ, вложенныхъ въ одну большую рамку, которая состоитъ въ названіи романа и единствѣ героя. Частн. части романа разнотолковы сообразно съ измѣненіемъ необходимости, но такъ какъ онѣ только отдѣльные случаи изъ жизни хотя и одного и того же человека, то и могли бы быть замѣнены другими, ибо, вмѣсто принятыхъ въ крѣпости съ Батюхинымъ въ Тамани, могли бы быть подобны же и въ другихъ мѣстахъ, и съ другими лицами. Хотя при этомъ и томъ же героѣ. Но тѣмъ не менѣе особая мысль автора есть имъ единство, и общности ихъ впечатлѣній и развлеченій, не говоря уже о томъ, что „Батю“, „Мисамъ Максимычъ“ и „Тамань“, отъменно велики, суть въ высшей степени художественныя произведенія. Тамань гинерская, катъ цено-художественныя лица. Батю, Азматъ, Казимъ, Максимъ Максимычъ, дѣдушки въ Тамани! Какая поэтическая подробность, какой на всемъ поэтической колоритъ!

Но „Князь Мери“, и такъ отъменно великая повѣсть, менѣе всѣхъ другихъ художественна. Изъ лицъ — только Грушницкій есть истинно-художественно созданъ. Драгуновскій князь безнравственъ, хотя и является въ тѣхъ, какъ лицо мучитель въ жизни. Но всѣхъ слабо описаны лица записки, потому что на нихъ-то особенно отраженъ субъективизмъ велика автора. Ибо Вѣры особенно неудовольно и не представлено. Это скорѣе страстная женщина, чѣмъ женщина. Только что истинно вы со заинтересовывае ться и очаровывается, какъ авторъ говоритъ же и раздвигаетъ ваше участіе и очарованіе такъ-нибудь совершенно притворенно-блудное. Одиновъ си къ Петровичу похожи на мѣдуху. То си въскрѣсь всѣ женщины, и глубоко, и глубоко къ безразличію и тѣмъ и преданности, къ героическому самоотреченію, то тѣмъ въ ней одну слабость и

больше ничто. Особенно оцутителенъ въ ней недостатокъ женственной гордости и чувства своего женственного достоинства, которыя не мѣшаютъ женщинѣ любить горячо и беззаветно, по которыя едва ли когда допустить истинно глубокую женскую сснсть тиранство любви. Она любитъ Печорина, а въ другой разъ выходить замужъ, и еще за старика, следовательно по расчету, по какому бы то ни было: или нивъ для Печорина одному мужу, или нивъ и другому, и скорѣ по слабости, чѣмъ по увлеченію чувства. Она обожаетъ въ Печоринѣ его высшую природу, и въ ея обожаніи есть что-то рабское. Вслѣдствіе всего этого она не возбуждаетъ къ себѣ сильнаго участія со стороны автора и, подобно тѣни, проскользаетъ въ его воображеніи. Княжна Мері изображена удачнѣе. Это дѣвушка неглупая, но и не пустая. Ея направленіе нѣсколько идеально, въ дѣтскомъ смѣслѣ этого слова: ей мало любить челоѣка, къ которому влекло бы ее чувство, непременно надо, чтобы онъ былъ несчастенъ и ходилъ въ толстой и сѣрой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ее: стоило только казаться непонятнымъ и таинственнымъ, и быть дерзкимъ. Въ ея направленіи есть нѣчто общее съ Грушницкимъ, хотя она и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя: но когда увидѣла себя обманутой, она, какъ женщина глубоко почувствовала свое оскорбленіе, и пала его жертвою, безотвѣтною, безмолвно страдающею, но безъ униженія,—и сцена ея послѣдняго свиданія съ Печоринимъ возбуждаетъ къ ней сильное участіе и обливаетъ ея образъ блескомъ поэзіи. Но, несмотря на это, и въ ней есть что-то какъ будто бы недосказанное, чему опять причиною то, что ея тягбу съ Печоринимъ судило не третье лицо, какимъ бы долженъ былъ явиться авторъ.

Однако, при всемъ этомъ недостатокъ художественности, вся повѣсть насквозь проникнута поэзіею, исполнена высочайшаго интереса. Каждое слово въ ней такъ глубоко знаменательно, самые парадоксы такъ поучительны, каждое положеніе такъ интересно, такъ живо обрисовано! Слогъ

повѣсти — то блескъ молнии, то ударъ меча, то разсыпавшійся по бархату жемчугъ! Основная идея такъ близка сердцу всякаго, кто мыслить и чувствовать, что всякій изъ такихъ, какъ бы ни противоположно было его положеніе положеніямъ, въ ней представленнымъ, увидитъ въ ней исповѣдь собственнаго сердца.

Въ „Предисловіи“ къ журналу Печорина авторъ, между прочимъ, говоритъ:

„Я помѣстилъ въ этой книгѣ только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Кавказѣ. Въ моихъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, гдѣ онъ разсказываетъ всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на судъ свѣта, но теперь я не могу взять на себя эту отвѣтственность“.

Благодаримъ автора за пріятное обѣщаніе, но сомнѣваемся, чтобы онъ его выполнилъ: мы крѣпко убѣждены, что онъ навсегда расстанется со своимъ Печоринимъ. Въ этомъ убѣжденіи утверждаетъ насъ признаніе Гёте, который говоритъ въ своихъ запискахъ, что, написавъ „Вертера“, бывшаго плодомъ тяжелаго состоянія его духа, онъ освободился отъ него, и былъ такъ далекъ отъ героя своего романа, что ему смѣшно было видѣть, какъ сходила отъ него съ ума пылкая молодежь... Такова благодарная природа поэта: собственною силою своею вырывается онъ изъ всякаго момента ограниченности и летитъ къ новымъ, живымъ явленіямъ міра, въ полное славы твореніе... Объективируя собственное страданіе, онъ освобождается отъ него; переходя на поэтическіе звуки диссонансы духа своего, онъ снова входитъ въ родную ему сферу вѣчной гармоніи... Если же Лермонтовъ и выполнитъ свое обѣщаніе, то мы увѣрены, что онъ представитъ уже не стараго и знакомаго намъ, о которомъ онъ уже все сказалъ, а совершенно новаго Печорина, о которомъ еще много можно сказать. Можетъ-быть, онъ покажетъ его намъ исправившимся, признавшимъ законы нравственности, но вѣрно ужъ не въ утѣшеніе, а въ нудное огорченіе моралистовъ: можетъ-быть, онъ заставитъ его признать разумность и блаженство жизни, но для того чтобы увѣриться, что это не для него, что

онъ много утратилъ силъ въ ужасной борьбѣ, ожесточился въ ней, и не можетъ сдѣлать эту разумность и блаженство своимъ достоинствомъ... А можетъ-быть и то: онъ сдѣлаетъ его и причастникомъ радостей жизни, торжествующимъ побѣдителемъ надъ злымъ гениемъ жизни... Но то или другое, а, во всякомъ случаѣ, искушеніе будетъ совершенно черезъ одну изъ тѣхъ женщинъ, существованію которыхъ Печоринъ такъ упрямо не хотѣлъ вѣрить, основываясь не на своемъ внутреннемъ созерцаніи, а на бѣдныхъ опытахъ своей жизни... Такъ сдѣлать и Пушкинъ съ своимъ Онегинымъ: отвергнутая имъ женщина воскресила его изъ смертнаго усыпленія для прекрасной жизни, но не для того, чтобы дать ему счастье, а для того, чтобы наказать его за невѣріе въ таинство любви и жизни и въ достоинство женщины...

В. Бѣлинскій.

*

*) Мы когда-то обѣщали нашимъ читателямъ поговорить о русскихъ романахъ, и до сихъ поръ не сдержали еще обѣщанія. Виноваты, но признаемся: скучно приниматься за русскіе романы, грустно разсматривать ихъ — мертвыя, безжизненныя, или живущія чужою, судорожною жизнью изданія, гдѣ природа забыта, искусство не являлось, языкъ носитъ всѣ признаки незнавія его сочинителями! Вотъ, мы хотѣли бы сказать теперь нѣсколько словъ о двухъ повѣяхъ романическихъ произведеніяхъ, заглавія которыхъ выписали. Но недавно еще, въ какомъ-то журналѣ сказано было, что критика тогчасъ по выходѣ книги доказываетъ будто бы зависть и желаніе убить книгу, внушить объ ней непріязненное понятіе читателямъ, ибо не всякій еще у насъ самобытно судитъ, и многіе все еще держатся старой системы — вѣрить критикамъ на слово. Хороши созданія, которыя убиваетъ каждое малѣйшее прикосновеніе критики! Впрочемъ, есть пословица: „лежачаго не бьютъ“, и мы ни слова не говоримъ теперь ни о творецѣ г-на Башуцкаго,

*) „Сынъ Отечества“ 1840 г., т. 2, книга 4. О „Герое нашего времени“ Лермонтова и „Мѣщанинѣ“ Башуцкаго.

ни о твореніи г-на Лермонтова, — пусть они идутъ, пусть публика обвинитъ ихъ сама. Пріятельскіе журналы уже расхвалили ихъ, обѣщаютъ даже подробно разобрать и выказать всѣ великія красоты и *Мыслинна* и *Героя нашего времени*. Мы думаемъ, что для многихъ пишущихъ — критика дѣло безполезное, такъ безполезны дождь и роса для растений, корень которыхъ поточенъ неумолимымъ червякомъ. Критика въ такомъ случаѣ можетъ быть полезна, какъ анатомія, произволяющая свои изслѣдованія надъ мертвыми тѣлами для наученія другихъ. Следовательно, критикъ здѣсь торопится нечего. Она всегда успеетъ догнать болѣзнь созданія, влекущіеся между жизнью и смертію, въ малый промежутокъ ихъ бѣднаго, «фемернаго» бытія. — Нѣтъ! Мм, Гг, грустно смотрѣть на *современную литературу русскую*, и обязанность рецензента становится нѣтъ тяжелою, невыносимою обязанностью!

Едва ли кто, посвятивши ей нѣсколько времени, не захочетъ некупишь удовольствія отъ нея всякими пожертвованіями, не захочетъ купить спокойствія молчаніемъ, предоставляя всякому дѣлать, что ему угодно. Блаженъ, кто можетъ положить критическое перо и повторить стихъ Виргилія:

Deus nobis haec otium fecit!

Изъ „Сына Отечества“ за 1840 г.

Стихотворенія Лермонтова. Санктпетербургъ. 1840.

*) Странное дѣло, любезнѣйшій Владѣй Вепедиктовичъ! Когда только что вышло „Герой нашего времени“, сочиненіе Лермонтова, когда одни журналы, провознося его похвалами въ огромныхъ статьяхъ, перепечатали едва ли не полнѣйши въ листахъ своихъ; другіе, по странному взгляду и страннѣйшимъ понятіямъ объ искусствѣ, брали его не милосердно, тоже перепечатывали огромные изъ него отрывки, — книга, посмотри на всѣ эти великодушныя, хотя и искрен-

*) „Сына Отечества“ 1840 г., № 284 и 285. О стихотвореніяхъ Лермонтова. Статья Л. Л. (В. С. Межевичъ).

нія похвалы, и одесеточенія, не смѣю сказать, неисрениія, нападки, оставалась почти потрогнута въ книжныхъ лавкахъ... Надо же было случаю подеунуть вамъ въ руки статью недоброжелательную, надо было, чтобъ вы прочли ее, и потому только, что книгу брачить, превозносилъ въ то же время, правда, умный, но скучный, лишенный всякой поэзіи романъ, надо было, говорю, чтобъ вы черезъ это самое захотѣлись прочесть произведеніе молодого, почти неизвѣстнаго вамъ автора... Вы прочли его: черезъ нѣсколько дней вышла въ „СѢвѣрной Пчелѣ“ статья ваша, а черезъ нѣсколько недѣль „Героя нашего времени“ въ книжныхъ лавкахъ почти не бывало!..

Послѣ этого снимаю передъ вами шапку, и низко кланяюсь: люди хлопотали годъ или два, чтобъ ознакомить публику съ замѣчательнымъ дарованіемъ молодого писателя, и публика все-таки мало была съ нимъ знакома, а ваша одна статья сдѣлала болѣе, нежели ихъ двухъ годовыхъ усилія. Честь и хвала вамъ!

Публика едва успѣла ознакомиться съ прекраснымъ дарованіемъ Лермонтова, по первому его произведенію, какъ вотъ является новая книга съ его именемъ—собраніе стихотвореній, исполненныхъ живою, роскошною поэзію, рядъ художественныхъ произведеній, какихъ, послѣ Пушкина, еще не являлось въ нашей литературѣ. Это такой дорогой подарокъ для нашего времени, почти отвыкшаго отъ истинно художественныхъ поэтическихъ созданій, что, право, нельзя налюбоваться этою неожиданною находкою, нельзя довольно порадоваться. Боясь, что огромная статья съ великолѣпными похвалами явится не скоро, а брани, можетъ-быть, и совѣтъ не будетъ, и что вы, занявшись теперь „Экономомъ“, не скоро удосужитесь заглянуть въ область поэзіи,—я спѣшу подѣлиться съ вами живыми впечатлѣніями, какія возбудило во мнѣ чтеніе стихотвореній Лермонтова.

Съ именемъ Лермонтова соединяются самыя сладкія воспоминанія моей юношеской жизни. Лѣтъ десять сдвинемъ тому назадъ, помню я, хаживать, бывало, въ московскія

университетъ (я былъ въ то время студентомъ) молодой человекъ, съ смуглымъ выразительнымъ лицомъ, съ маленькими, но необыкновенно быстрыми, живыми глазами: это былъ Лермонтовъ. Некоторые изъ студентовъ видѣли въ немъ добраго, милаго товарища: я съ нимъ не сходился и не былъ знакомъ, хотя знать его болѣе, нежелали другіе. Лермонтовъ воспитывался въ Московскомъ Университетскомъ Пансіонѣ, и посѣщать университетскаго лекціи, какъ вольноприходящій слушатель. Между воспитанниками Университетскаго Пансіона было у меня нѣсколько добрыхъ пріятелей: изъ числа ихъ упомяну о покойномъ С. М. Строевѣ. Въ то время (въ 1828, 1829 и 1830 годахъ) въ Москвѣ была замѣтна особенная жизнь и дѣятельность литературная. Покойный М. Г. Павловъ, инспекторъ Благороднаго Университетскаго Пансіона, издавалъ *Атеней*; С. Е. Рачинъ, преподаватель Русской Словесности, издавалъ *Галатею*; примѣръ наставниковъ, искренно любившихъ науку и литературу, дѣйствовалъ на воспитанниковъ, что очень естественно; по врожденной дѣтямъ и юношамъ склонности подражать взрослымъ, воспитанники Благороднаго Пансіона также издавали *журналы*, разумѣется, для своего круга, и рукописные: я помню, что въ 1830 году въ Университетскомъ Пансіонѣ существовали *четыре* изданія: *Аріонъ*, *Улей*, *Пчелка* и *Маякъ*! Изъ нихъ одну книжку *Аріона*, издававшегося покойнымъ С. М. Строевымъ, и подареннаго мнѣ въ знакъ дружбы, берегу я и по сіе время, какъ драгоценное воспоминаніе юности. Изъ этихъ-то *дѣтскихъ журналовъ*, благородныхъ забавъ въ часы отдохновенія, узнать я въ первый разъ имя *Лермонтова*, которое случалось мнѣ встрѣчать подъ стихотвореніями, запечатлѣнными живымъ поэтическимъ чувствомъ, и верѣдко зрѣлостью мысли не по лѣтамъ.

И вотъ что заставляло меня смотрѣть съ особеннымъ любопытствомъ и уваженіемъ на Лермонтова, и потому болѣе, что до того времени мнѣ не случалось видѣть ни одного русскаго поэта, кромѣ почтеннаго профессора, моего наставника, А. Ѳ. Мерзляковского.

Не могу вспомнить теперь первыхъ опытовъ Лермонтова; но кажется, что ему принадлежатъ читанные мною отрывки изъ поэмы Томаса-Мура „Талла-Рукъ“, и переводы нѣсколькихъ методій того же поэта (изъ нихъ я очень помню одну, подъ названіемъ „Выстрѣлъ“).

Прошло нѣсколько лѣтъ съ того времени: имя Лермонтова не исчезло изъ моей памяти, хотя я нигдѣ не встрѣчалъ его печатно; наконецъ, если не ошибаюсь, въ „Библіотекѣ для Чтенія“ увидѣть я его въ первый разъ, и, не будучи знакомъ съ поэтомъ, обрадовался ему, какъ другу. Послѣ того, въ „Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду“ появилось его стихотвореніе (безъ имени): „Пѣсня про Царя Іоанна Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“. Не знаю, какое впечатлѣніе произвело стихотвореніе это въ Петербургѣ, но въ Москвѣ оно возбудило общее участіе; хотя имени автора подъ этимъ стихотвореніемъ подписано не было, однакожь оно скоро сдѣлалось извѣстно всѣмъ любителямъ литературы. Вслѣдъ за тѣмъ, имя Лермонтова стало появляться въ печати довольно часто, только исключительно почти въ „Отечественныхъ Запискахъ“ и „Литературной Газетѣ“. Напечатанныя въ этихъ двухъ изданіяхъ стихотворенія, съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ новыхъ, нигдѣ не напечатанныхъ пьесъ, вышли нынѣ особенною книгою.

Повторяю: послѣ Пушкина, мнѣ кажется, ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не дебютировалъ съ такою полною свѣжихъ, дѣвственныхъ силъ, съ такимъ запасомъ поэтическаго огня, съ такою глубиною мысли самобытной, независимой отъ чуждаго вліянія. Лермонтовъ—это чисто русская душа, въ полномъ смыслѣ этого слова: и если можно сравнить его поэтическія созданія съ чѣмъ-нибудь, такъ я сравню ихъ съ русскою народною пѣсней, конечно, разумѣя здѣсь сравненіе не формы, не выраженія, но идеи, но элементовъ русскаго духа.

Всѣ блестящія дарованія поэтовъ Пушкинскаго періода, такъ ярко мелькнувшія и такъ скоро исчезающія на горизонтѣ русской словесности, сіяли свѣтомъ, замѣтновзвѣвающимъ

сть того солнца, которое вышло ихъ за собою, и вокругъ которого вращались они, какъ спутники великаго свѣтила. Подмѣливъ гармонію, они пѣли, такъ сказать, съ голоса, и, въ свое время, пѣвля слухъ, еще неизбалованный музыкальнымъ утонченностью, нерѣдко увлекали чувство, увлекали душу Пушкина, какъ художникъ самобытный, въ послѣднее время, промѣнять стихъ на прозу, которая не переставала одинаково у него быть поэзіей: лучшіе свои поэтические созданія сталъ онъ передавать, болѣею частью, въ формѣ свободной рѣчи, не стѣсняясь числомъ и мѣромъ: подражатели его, не имѣя силъ, чтобы выѣннся изъ продолженной колеи, оставили при своемъ прѣжномъ направленіи. Умеръ Пушкинъ: русская публика, заслушавшись посыланныхъ звуковъ его гармоническомъ лири, забыла младенческій лепетъ его подражателей, такъ что имена ихъ чуть-чуть не исчезли изъ памяти: опомнились поелъ первого пораженія, она оглядывалась и спрашивала: гдѣ же наследники Пушкина? Наслѣдника не было. Публика забыла было, что въ литературѣ существуетъ поэзія...

И, вотъ, въ такое-то безвременье является Лермонтовъ. Надобно много имѣть силы, много самобытности, много оригинальности, чтобы къ *стихамъ* приковать общее вниманіе: въ то время, когда стихи потеряли весь кредитъ, и оставлены *малышниками съ лабасу*. Лермонтовъ волищебною силою своего таланта привлекаетъ, если не привлекъ уже къ себѣ общаго вниманія пресыщенной публики.

Въ изданномъ нынѣ собраніи стихотвореній Лермонтова помѣщено всего шесть двѣдцать восемь. Изъ нихъ двѣ — „Песня про Царя Юанна Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова“ и „Мцыри“ — составляютъ цѣлыя небольшія поэмы.

Первая изъ нихъ въ высочайшей степени проникнута *русскимъ духомъ*: переть ей бѣднѣють и уничтожаются всѣ прѣжнія попытки нашихъ поэтовъ создать искусственную русскую сказку въ подражаніе сказкамъ народнымъ. Поэтическою душою своею Лермонтовъ умѣлъ такъ хорошо понять, такъ чудно уловить и духъ, и форму, и языкъ

народной русской пѣснѣ, что, чиня „Пѣсню“ его, невольно увлекаясь ею, какъ произведеніемъ живымъ, доподлиннымъ неопровергаемаго простоуміа, неотпѣлимо и натуралъ. Не могу утерпѣть, чтобы не ознакомить васъ коротко съ этою пѣсней.

„Охъ ты гой сси, Царь Іоаннъ Васильевичъ!
 Про тебя нашу пѣсню сложили мы.
 Про твою любимаго опричника,
 Да про смѣлаго купца, про Калашникова.
 Мы сложили ее на старинный ладъ,
 Мы пѣвали ее подъ гуслирный звонъ
 И причитывали да присказывали.
 Православный народъ сию тѣшилъся,
 А бояринъ Матвѣй Ремодановскій
 Намъ чарку поднесъ меду пѣнаго,
 А боярыня его бѣлолицая
 Поднесла намъ на блюдѣ серебряномъ
 Полотенце новое, шелкомъ шитое.
 Угощали насъ три дня, три ночи,
 И все слушали, не наслушались“.

Такъ пѣть начинается своя *пѣсню* — прелюдія, которая приготавливаетъ слушателей къ предмету ея дѣйствія.

За гробовой сѣнью грозныи царь Іоаннъ Васильевичъ, окруженный столбниками, боярами и опричниками. Ликованье, веселье: онъ велитъ поднести опричникамъ въ злато-ченомъ ковнѣ своемъ вина заморскаго.

„И всѣ пили, Царя славили“.

Одинъ только изъ опричниковъ не принимаетъ никакого участія въ общемъ весельѣ, и *не можетъ дѣлѣ своимъ въ золотомъ ковнѣ*: это опричникъ *Кирибѣевичъ*, изъ роду *Скуратовыхъ*, вскормленный семьею *Милославной*. Царь замѣтитъ грусть Кирибѣевича, и спроситъ его, почему онъ *царскою радостію тнушается*.

Не коря ты раба недостойнаго:
 Сердца жалкаго не залишь виномъ,
 Думу черную не запотчивать“.

Такъ отвѣчаетъ ему молодой опричникъ Казанецъ *одна черная* делитъ на сердце у него, молодца удачливаго, счастливаго, богатаго, вилкавшаго мистостію царскою.

Прекрасенъ стѣлъ Кирибѣевича, въ которомъ онъ исчисляеть свои достоинства и преимущества, и гдѣ, между прочимъ, говорить:

Какъ я сяду, поѣду на лихомъ конѣ
За Москву рѣку покатаюсь,
Кушачкомъ подтянуся шелковымъ,
Заломлю на бочокъ шапку бархатную,
Чернымъ соболемъ отороченную,—
У воротъ стоять у тесовыхъ
Красны дѣвушки да молодушки,
И любятъся, глядя перешептываясь.
Лишь одна не глядитъ, не любитъся,
Полосатой фатой покрывается.

Эту непреклонную красавицу зовутъ Аленой Дмитріевной. Она жена удалаго московскаго купца Калашникова. Но Кирибѣевичъ не скрываетъ того Царя, *обманувъ ее, лукавый рабъ*, и Царь даетъ такой советъ своему любимцу:

Вотъ возьми перстенецъ ты мой яхонтовый,
Да возьми ожерелье жемчужное,
Прежде свахѣ смышленной поклоняйся,
И пошли дары драгоценныя
Ты своей Аленѣ Дмитріевнѣ:
Какъ полюбишься, празднуй свадьбу,
Не полюбишься,—не прогибайся“.

Постъ этотъ постъ начинается второю частью *жизни* стесни. Сцена дѣйствія мѣняется. Мы переходимъ со сцѣны въ другой міръ.

Молодой удалий купецъ. Сопланъ Парамонъ сынъ Калашниковъ, заперевъ дверь свою въ гостиную дворъ, приходитъ домой. Жена его пошла къ вечернѣ, но несмотря на то, по вечерней дѣлѣ уже кончилась, она дома не разграблена. Невенчанъ, измученъ сномъ, съѣдаясь, потревоженъ, голоденъ и спешитъ въ спальню. Когда она разбранилась съ прѣстѣмъ, приказавъ ему не спускаться Кирибѣевичу, заснуть и спать и съ рыданьями съдвинула рѣчи—

„А смотрѣли въ калитку сосѣдушки,
Смѣючись на насъ пальцемъ показывали“.

говорить Алена Дмитріевна.

Воспалить интимъ молодой удалий купецъ. Онъ помы-

лазетъ за своими меншими братьями, и говоритъ имъ, что завтра —

„Будетъ кулачный бой,
На Москвѣ-рѣкѣ, при самомъ Царѣ“.

и спѣть выйдетъ на опричника, чтобъ биться съ нимъ на смерть.

Ай, ребята, пойте
Только гусли стройте!
А ребята пейте —
Дѣло разумѣйте!

Этимъ приѣздомъ почти отдѣляетъ третью часть своей пѣсни, третій актъ превосходной драмы.

На Москвѣ-рѣкѣ кулачный бой. Самъ грозный Царь Іоаннъ Васильевичъ прѣхаетъ посмотреть на удалихъ бойцовъ. Выходитъ удалой Кирибѣевичъ, ожидая себѣ противника. Кликнули кличъ, никто не является.

„На просторѣ опричникъ похаживаетъ,
Надъ плохими бойцами подсмѣиваетъ:
Присмирѣли, небойсь, призадумались!
Такъ и быть, общаюсь, для праздника,
Отпущу живого съ покаяніемъ,
Лишь потышу Царя нашего батюшку“.

Выходитъ удалой гонецъ Калашниковъ, поклонился въ полѣ Царю, поклонился Кремлю бѣлому и церквямъ православнымъ, а потомъ всему народу русскому.

Кирибѣевичъ спрашиваетъ его объ имени и объ отцѣ, подсмѣивается надъ нимъ съ русскимъ юморомъ:

„А повѣдай мнѣ, добрый молодецъ,
Ты какого рода, племени,
Какимъ племенемъ прозываешься?
Чтобы знать, по комъ наизлуду служить,
Чтобы было чѣмъ и похвастаться“.

Прекрасенъ отзывъ Калашникова, полный убійственного сарказма: это бури души, разрывающаяся въ грозныхъ словахъ...

„А зовутъ меня Степаномъ Калашниковымъ,
А родился я отъ честнаго отца,
И жилъ я по закону Господнему.
Не позорилъ я чужой жены,

*Не разбойничалъ ночью темною,
 Не таился отъ свѣта небеснаго.
 И промолвилъ ты правду истинную:
 Но однимъ изъ насъ нанимоду будутъ жить,
 И не позже, какъ завтра, въ часъ полуденный;
 И одинъ изъ насъ будетъ хвастаться,
 Съ удалыми друзьями пируючи...
 Не шутку шутить, не людей слышать:
 Къ тебѣ вышелъ я теперь, басурманскій сынъ,
 Вызвать я на страшный бой, на послѣдній бой».*

Какъ бы хребтъ и ушатъ билъ Кирибѣвичъ, по при
 этихъ словахъ —

*„Бойки очи его затуманились,
 Между сильныхъ плечъ пробѣжалъ морозъ...“*

Начался бой. Сильный ударъ, нанесенный съ Кирибѣ-
 вича Калашникову, но и достой отмстить за него поствѣд-
 ний: онъ ударилъ его въ лѣвыи плечо въ то, что Кири-
 бѣвичъ застоналъ и упалъ замертво...

*„Повалился онъ на холодный снѣгъ,
 На холодный снѣгъ, будто сосенка,
 Будто сосенка во сыромъ бору
 Подъ смолистый корень подрубленная“.*

Царь Іоаннъ Васильевичъ, увидѣвъ то, *пробитъ* лежалъ ги-
 бнѣмъ, велѣлъ схватить убитого кунца и привести его пе-
 редъ свои ясныя очи.

Калашниковъ признается, что онъ убитъ, опричиная *болы-
 ной вѣдой*, но не отрицаетъ причины, за что. „А за что,
 про что“, говоритъ онъ, „скажу только Богу единому“. Онъ готовъ снести на плѣху пощину и пощину, но просить
 только не оставитъ матушъ плушекъ, не оставитъ молодой
 вдовы да меньшихъ братьевъ.

Защитой и протѣжей Царь приказываетъ убитого бойца
 гнѣмъ, что обѣщется исполнить его просьбу — наградить
 ясну и дѣломъ изъ воли царской. „А ты самъ“, гово-
 ритъ онъ,

*„Ступай, дѣтнушка,
 На высокое мѣсто лобное,
 Сложи свою буйную головушку.
 Я топоръ велю наточить, наострить,*

Палача велю *одѣтъ, нарядить,*
 Въ большой колоколъ прикажу звонить,
 Чтобы знали все люди московскіе,
 Что и ты не оставленъ *моей милостью*“.

На другой день, при многочисленномъ собраніи народа, удалой боецъ Калашниковъ казненъ...

Тѣло его схоронили—

За Москвой-рѣкой,
 На чистомъ полѣ, промежъ трехъ дорогъ:
 Промежъ Тульской, Рязанской, Владимирской,
 И бугоръ земли тутъ насыпали,
 И кленовый крестъ тутъ поставили.
 И гуляютъ, шумятъ вѣтры буйныя
 Надъ его безименной могилою.
 И проходятъ мимо люди добрые:
 Пройдетъ *старъ человекъ*—перекрестится,
 Пройдетъ *молодецъ*—пріосанится,
 Пройдетъ *дѣвица*—пригорюнится,
 А пройдутъ *цусляры*—спокуютъ *тѣсенку*...”

Такъ оканчивается поэтъ свой неподражаемый разсказъ, придиравъ къ нему въ заключеніе возгласіе *молдымъ цу-сларамъ*, по примѣру русскихъ старинныхъ пѣсень въ томъ родѣ.

Вы не станете съговаривать на меня, почтеннѣйшій Фаддей Венечиктовичъ, что я позволюсь себѣ считать нѣсколько выисокъ. Нельзя лучше познать нашъ поэтическій произведеніемъ, а притомъ стихи такъ увлекательны, что, выписывая, рука не можетъ остановиться.

Теперь, когда вы ознакомлены съ содержаніемъ *пѣсни*, взгляните въ ея художественное сознаніе: въ нѣ, это —цѣлая драма, простая по заглавію своему, но въ то же время высочайше-поэтическая, но стройная въ частяхъ, но полная жизни и дѣятелья. Какіхъ драматическихъ фантазій и мистерій не отдали бы мы съ вами за другое подобное произведеніе!

Но надобно прочесть эту драму вполнѣ, чтобы увидѣть, какъ поэтъ въ такомъ маломъ объемѣ умѣлъ обрисовать характеры дѣйствующихъ лицъ ея. Каждое лицо, начиная отъ грезнаго Царя Іоанна Васильевича, до старой рѣзницы Еремѣевича, имѣетъ свои живыя образы, свои отцѣлы-

ный характер: каждое изъ нихъ пластически рисуется въ вашемъ воображеніи.

Но, кромѣ всего этого, меня поражасть самая форма разбираемаго произведенія, его поэтическій колоритъ, роскошь выраженія, снѣжность и живость картинъ и образовъ, яркость краски, и сила языка. Тутъ нѣтъ веротныхъ пѣсень и сѣрень, словъ, выраженій, прибаутокъ, присказокъ, сдѣлавшихся общими мѣстами у нашихъ родильныхъ сказочницъ; здѣсь сама природа представляетъ образы и даетъ краски, и это сколько самостоятельности, сколько силы и крепости въ стихахъ твои *Иванъ!* Пусть нашъ не подслушиваетъ *слова*, не перелетать робски *нагаженія* народныя, но, проникнутый живымъ духомъ русскимъ, сынъ народный ихъ самъ собою, въ глубинѣ своей поэтической души, и потому-то у него все такъ сѣло, такъ живо, такъ самобытно. Вы въ томъ убѣдитесь сами, даже изъ однихъ только приведенныхъ мною выписокъ.

Другой поэмъ Лермонтова— „Мцыри“— отличается совершенно инымъ характеромъ

Мцыри, какъ обозначается въ примѣчаніи, на грузинскомъ языкѣ, значить *не сдержанной монахъ*, нѣко въ рѣчь *послѣдника*. Пусть изобразить жизнь или, лучше сказать, моментъ изъ жизни *Мцыри*, который, будучи еще ребенкомъ, взятъ изъ плетъ въ Грузіи, оставленъ русскимъ генераломъ въ одномъ грузинскомъ монастырѣ, гдѣ онъ былъ призрѣнъ и воспитанъ монахами. Этого юнѣна унесъ однажды изъ монастыря, прочесть нѣсколько словъ, и потому павиль въ степи, лежащимъ безъ чужестъ. На удивленія и молитбы монаховъ, юнѣна пытаться вернуть души своей, и въ этомъ заключается вся поэма. Содержаніе, повидимому, очень трудно въ—Боже мой, сколько здѣсь поэзіи, какая поэтика чувства, какая неисчерпаемая глубина мысли! Пусть перечесть поэмъ Лермонтова—столѣтъ 1837 годъ, поэтъ еще юнѣ, —1840 годъ—три года разницы, но какъ далеко онъ пошелъ, какъ окрепъ и возмужалъ талантъ молодого поэта! Въ послѣдніе произведенія своего Лермонтовъ является вѣнкомъ съ необыкновеннымъ талантомъ, съ неисчерпае-

мымъ воображеніемъ, съ самобытною фантазіею; го вторымъ—это мужъ, это уже поэтъ-философъ, не безотчестно-творящій идеалы, но изыскующій въ лицѣ жизни, слиявшагося разгадать тайну ея, приобщать таинственное покрывало съ земного бытія человѣка.

Не смѣю въ отрывочномъ прозаическомъ разсказѣ обезображивать созданія поэта и цѣлаго; краткія выписки не дадутъ о немъ никакого понятія, потому что главное здѣсь—основная идея и ея гигантское развитіе. Несколько, подождемъ, очень вѣрно списанныхъ страницъ изъ англійской поэмы Брюллока. Последние дѣнь Помпеи, не могутъ, даже приблизительно, ознакомить насъ во рещи полночѣ съ этимъ высокимъ произведеніемъ современнаго искусства: такъ точно отрывочны выписки изъ поэмы, о которой говорю я, не знакомятъ насъ съ нею; а потому, предоставляя самимъ вамъ насладиться ею вполне, я позволю себѣ выписать только одинъ отрывокъ, чтобы показать, какъ самобытенъ, какъ могучъ талантъ нашего поэта. Этотъ отрывокъ я не назову *лучшимъ*, потому что въ истинно-художественномъ произведеніи, въ которомъ всѣ части гармонируютъ между собою, *лучшаго*, очень естественно, быть не можетъ, но я привожу его потому, что онъ самъ по себѣ представляетъ нѣчто цѣлое и полное.

Мишра продолжаетъ разсказывать черену впечатлѣнія, волновавшія его во время двухъ трехъ дней его свободнаго странствованія, безъ цѣли и намѣренія. Между прочимъ, онъ описываетъ слѣдующее приключеніе:

„Передо мной

Была поляна. Вдругъ не ней
Мелькнула тѣнь, и двухъ огней
Промчались искры, и потомъ
Какой то звѣрь однимъ прыжкомъ
Изъ чащи выскочилъ и легъ.
Играя навзничъ на песокѣ
То былъ пустыни вѣчный гость—
Могучій барсъ. Сырую кость
Онъ грызъ и весело визжалъ;
То взоръ кровавый устремлялъ,
Махая ласково хвостомъ,

На полный мѣсяцъ,—и на немъ
Шерсть отливалась серебромъ.
Я ждалъ, схвативъ рогатый сукъ,
Минуты битвы; сердце вдругъ
Зажглося жаждою борьбы
И крови...
Я ждалъ. И вотъ, въ тѣни ночной
Врага почувялъ онъ, и вой
Протяжный, жалобный, какъ стонъ,
Раздался вдругъ... и началъ онъ
Сердито лапой рыть песокъ,
Всталъ на дыбы, потомъ прилегъ,
И первый бѣшенный скачокъ
Мнѣ страшной смертію грозилъ..
Но я его предупредилъ.
Ударъ мой вѣренъ былъ и скоръ.
Надежный сукъ мой, какъ топоръ,
Широкий лобъ его разсѣкъ...
Онъ застоналъ, какъ человѣкъ,
И опрокинулся. Но вновь —
Хотя лила изъ раны кровь
Густой широкою волной,—
Бой закипѣлъ—смертельный бой!
Ко мнѣ онъ кинулся на грудь,
Но въ горло я успѣлъ воткнуть
И тамъ два раза повернуть
Мое оружье... Онъ завылъ,
Рванулся изъ послѣднихъ силъ,
И мы, сплетясь какъ пара змѣй,
Обнявшись крѣпче двухъ друзей,
Упали разомъ, и во мглѣ
Бой продолжался на землѣ.
И я былъ страшенъ въ этотъ мигъ;
Какъ барсъ пустынный золъ и дикъ,
Я пламенѣлъ, визжалъ, какъ онъ;
Какъ будто самъ я былъ рожденъ
Въ семействѣ барсовъ и волковъ,
Подъ свѣжимъ пологомъ лѣсовъ.
Казалось, что слова людей
Забылъ я—и въ груди моей
Раздался тотъ ужасный крикъ,
Какъ будто съ дѣтства мой языкъ
Къ такому звуку не привыкъ...
Но врагъ мой сталъ изнемогать,

Метаться, медленнѣй дышать,
 Сдавилъ меня въ послѣдній разъ...
 Зрачки его недвижныхъ глазъ
 Блеснули грозно—и потомъ
 Закрылись тихо вѣчнымъ сномъ;
 Но съ торжествующимъ врагомъ
 Онъ встрѣтилъ смерть лицомъ къ лицу,
 Какъ въ битвѣ слѣдуетъ бойцу!“

Согласитесь, что такой сѣвѣй, энергической поэзіи давно вы не встрѣчали.

Не могу не выписать изъ этой же поэмы еще одного небольшого отрывка, замѣчательнаго по оригинальности мысли и поэтической граціи. Это — пѣснь *Золотой рыбки*. *Мири* рассказываетъ, что ему, въ бреду горячки, представлялось, будто снѣ дождитъ на днѣ прозрачной рѣки; надъ нимъ играли стада рыбокъ, и одна изъ нихъ, покрытая золотою чешуей, напѣвала ему:

„Дитя мое,
 Останься здѣсь со мной:
 Въ водѣ привольное житіе,
 И холодъ и покой.
 Я созову моихъ сестеръ:
 Мы пляской круговой
 Развеселимъ туманный взоръ
 И духъ усталый твой.
 Усни—постель твоя мягка,
 Прозраченъ твой покровъ.
 Пройдутъ года, пройдутъ вѣка
 Подъ говоръ чудныхъ сновъ.
 О, малый мой, не утаю,
 Что я тебя люблю,
 Люблю, какъ вольную струю,
 Люблю, какъ жизнь мою...“

И вышелъ за предѣлы письма, и не смѣю распространяться объ остальныхъ стихотвореніяхъ Лермонтова: почти каждое изъ нихъ есть дорогой перлъ въ нашей современной литературѣ. Иное, какъ, напримѣръ, „*Три Пальмы*“, отличается глубиною мысли и художественною полнотою созданія; другое, какъ „*Дары Терека*“, поражаетъ мощною, энергическою фантазіей: нѣкоторые исполнены глубокаго

чувства, неподдающаяся грани, но въ впечатлѣнннхъ свѣ-
лестіи, оригинальностью таланта гнѣнаго и самоубынаго.

Въ заключеніе попрошу у васъ позволенія выписать
еще одну необыкновенную пьесу Лермонтова, имѣющую глу-
бокое современное значеніе. Это его

Дума.

Печально я гляжу на наше поколѣніе!
Его грядущее иль пусто иль темно,
Мельтѣять ночь бременемъ познанья и сомнѣнья
Состарится безвременно оно.
Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибками отцовъ и познанимъ ихъ умомъ,
И жизнь ужъ насъ томить, какъ ровный путь безъ цѣли,
Какъ пиръ на праздникъ чужомъ!
Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы;
.....
.....
Такъ тощій плоть, до времени созрѣлый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,
Виситъ между нѣтъовъ, прилепъ осиротѣлый,
И часть ихъ красоты—его послѣдній часъ!
Мы псушили умъ наукою безплодной,
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей
Надежды лучшія и голосъ благородный
Певѣріемъ осмѣянныхъ страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли;
Изъ каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сокъ навѣки пзвлекли.
Мечты поэзіи, созданія искусства
Восторгамъ сладотнымъ нашъ умъ не шевелитъ.
Мы жадно бережемъ въ груди остатки чувства—
Зарытый скупостью и безполезный кладъ.
И ненавидимъ мы и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови.
И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,
Ихъ добросовѣтныи ребяческій развратъ,
И къ гробу мы бредемъ безъ счастья и славы,
Глядя насмѣшливо назадъ.
Толпой угрюмою и скоро позабытой

Падь міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
 Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодovитой,
 Ни гениемъ начатаго труда.
 И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданна,
 Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
 Намѣшкой горькою обманутаго сына
 Падь промотавшимся отцомъ.

Согласенъ, почтеннѣйшій Фаддей Венедиктовичъ, что это стихотвореніе есть страница изъ современной исторіи, глубокъ—философскій выводъ изъ ея фактовъ. Прочтя эту „Думу“, есть надъ чѣмъ подумать и о чѣмъ призадуматься.

Благодаря издѣліямъ *стихотворений Лермонтова*, подъ каждою пьесой его находимъ мы годъ, въ которомъ она писана. Самыя слабыя произведенія — слабыя, разумеется, относительно, — означены 1836 годомъ. Съ 1837 г. варованіе поэта нашего мукаетъ и крѣпнеть постепенно. Нельзя-ли въ этомъ фактѣ подмѣнить утѣшительную разгадку глубокой тайны, скрывающей будущую судьбу русскаго поэта? Въ 1837 году не стало Пушкина..

Постыднѣе умирающее звучаніе лиры его сливается съ первыми юношескими пѣснями новаго поэта...

Изъ „Сыпной Пчелы“ за 1840 г. Статья Л. Л.
 (В. Межевича).

* * *

*) Собраніе пьесъ, болышею частью очень короткихъ, но всегда чрезвычайно милыхъ и показывающихъ въ авторѣ прелестный поэтическій талантъ и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма похвальную строгость въ отношеніи къ самому себѣ. Господинъ Лермонтовъ, какъ извѣстно, сочинилъ стиховъ несравненно болѣе, чѣмъ на полтораста страничекъ, писать даже стихотворенія гораздо длиннѣе, но онъ далеко не помѣстилъ всего въ этомъ собраніи, составленномъ съ большимъ вкусомъ изъ выбора того, что самъ поэтъ признаетъ лучшимъ изъ своихъ произведеній. Этотъ выборъ приноситъ ему много чести, и будетъ одобренъ читателями, по-

*) „Библиотека для Чтенія“ 1840 г., т. 43. „Литературная Литература“. Статья О. Сенковского.

тому что въ собраніи рѣшительно нѣтъ ни одной слабой пьесы: всѣ вообще хороши, а многія и истинно прекрасны. На такомъ счастливомъ умѣни строга оцѣнивать свои произведенія можно основывать еще болѣе надежды относительно поэтической будущности господина Лермонтова, ведши на самыхъ пьесахъ и пьескахъ перваго изданнаго имъ собранія: онѣ доказываютъ многое, но еще не доказываютъ всего; съ ними онѣ еще не въ правѣ требовать для себя титула „великаго поэта“, хотя, конечно, и никто не откажетъ ему въ весьма почетномъ и лестномъ названіи „настоящаго поэта“. Надобно произвесть что-нибудь powerful, чтобы стать рядомъ съ великими. Онѣ, безъ сомнѣнія, это и сдѣлаютъ. Между тѣмъ, судя по первому собранію, мы уже знаемъ, чего можно ожидать отъ господина Лермонтова въ тѣхъ изъ будущихъ твореній, которыми онъ захочетъ навсегда уверить свою стагу: стихъ звучный, твердый и мужественный, сильное чувство, богатое воображеніе, разнообразіе ощущеній, простота, естественность, нѣжность, свѣжесть, отсутствіе подцѣльныхъ стихотворныхъ страстишекъ и притворныхъ жалобъ, сарказмъ безъ наглости, грусть безъ пошлаго романа, вотъ—прекрасныя и рѣдкія достоинства, которыми отличаются эти, болѣею частью мелкія, „Стихотворенія“, и которыя сильно возвысятъ цѣну будущихъ поэмъ его. Самъ онъ гдѣ-то говоритъ:

„О чемъ писать? Востокъ и югъ
Давно описаны, воспѣты;
Толпу ругали всѣ поэты,
Хвалили всѣ семейный кругъ,
Всѣ въ небеса неслись душою,
Взывали съ тайною мольбою
Къ III., невѣдомой красѣ,
И страшно надоѣли всѣ“.

Это доказываетъ, что молодой поэтъ чувствуетъ необходимость быть новымъ, и не станетъ „надоѣдать“ намъ изпошеними темами, которыя завѣщали Державинъ и Пушкинъ повѣйшему поколѣнію русскихъ поэтовъ, и на которыхъ до сихъ поръ вертится всѣ ихъ „вдохновенія“. Прочтите его чудесную „Молитву“.

„Въ минуту жизни трудную,
Тѣснится-ль въ сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
Въ созвучьи словъ живыхъ,
И дышитъ непонятная,
Святая прелесть въ нихъ.
Съ души, какъ бремя, скатится
Сомнѣнье далеко,—
И вѣрится, и плачется,
И такъ легко, легко!..“

Тутъ, кажется, нѣтъ никакой хитрости: молитва такъ проста! А сколько искусства, сколько поэзии, сколько свѣжести въ этой простотѣ! Не менѣе красоты представляеть и слѣдующая пѣснь, которую авторъ называетъ „Думою“.

„Печально я гляжу на наше поколѣнье!

Его грядущее иль пусто иль темно... (см. 134 стр.).

Стихотвореніе „Дары Терека“ совсѣмъ въ другомъ родѣ: оно одно изъ самыхъ блестящихъ во всемъ собраніи, и дѣйствительно блескитъ на страницахъ.

„Терекъ востъ, дикъ и злобенъ,
Межъ утесистыхъ громадъ,
Бурѣ плачъ его подобенъ,
Слезы брызгами летятъ.
Но, по степи разбѣгаясь,
Онъ лукавый принялъ вѣдь,
И, привѣтливо ласкаясь,
Морю Каспію журчитъ:
„Разступись, о старецъ-море!
Дай пріютъ моей волнѣ!
Погулялъ я на просторѣ,
Отдохнуть пора бы мнѣ.
Я родился у Казбеска,
Вскормленъ грудью облаковъ,
Съ чуждой властью человѣка
Вѣчно спорить былъ готовъ.
Я, сынамъ твоимъ въ забаву,
Разорилъ родной Дарьялъ,
И валуновъ, имъ на славу,
Стадо цѣлое пригналъ“.
Но, склонясь на мелкій берегъ,

Каспій стихнулъ, будто спитъ,
И опять ласкаясь, Терекъ
Старцу на ухо журчить:
„Я привезъ тебѣ гостинецъ,
То гостинецъ не простой:
Съ поля битвы Кабардинецъ,
Кабардинецъ удалой.
Онъ въ кольчугѣ драгоцѣнной,
Въ налокотникахъ стальныхъ:
Изъ Корана стихъ священный
Писанъ золотомъ на нихъ.
Онъ угрюмо сдвинулъ брови,
И усомъ его края
Обагрила знойной крови
Благородная струя.
Взоръ открытый, безотвѣтный
Полонъ старою враждой;
По затылку чубъ завѣтый
Вьется черною космой“.
Но, склонясь на мягкій берегъ,
Каспій дремлетъ и молчитъ,
И волнуясь буйный Терекъ
Старцу снова говоритъ:
„Слушай, дяди: даръ безцѣнный!
Что другіе всѣ дары?
Но его отъ всей вселенной
И тайль до сей поры.
И примчу къ тебѣ съ волнами
Трупъ казачки молодой,
Съ темно-блѣдными плечами,
Съ свѣтло-русою косой.
Грустенъ ликъ ея туманный,
Взоръ такъ тихо, сладко спитъ,
А на грудь изъ малой раны
Струйка алая бѣжитъ.
Но красоглѣ-молодицѣ
Не тоскуетъ надъ рѣкой
Лишь одинъ во всей станицѣ
Казачина гребенской.
Осѣдлалъ онъ вороного,
И въ горахъ, въ ночномъ бою,
На княжалъ чеченца злого
Сложить голову свою.
Замолчалъ потокъ сердитый.

И надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла,
Голова съ косою размытой,
Колыхаяся всплыла.
И старикъ во блескъ власти
Всталъ могучій, какъ гроза,
И одѣлись влагой страсти
Темно-синіе глаза,
Онъ разыгралъ, веселья полный—
И въ объятія свои
Набѣгающія волны
Принялъ съ ропотомъ любви“.

Казачья колыбельная пѣснь—прелестъ:

„Спи, младенецъ мой прекрасный,
Баюшки—баю;
Тихо смотреть мѣсяцъ ясный
Въ колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Пѣсенку спою;
Ты-жъ дремли, закрывши глазки,
Баюшки—баю.

Но камнямъ струится Терекъ,
Плещетъ мутный валь;
Злой чечень ползетъ на берегъ,
Точить свой кинжалъ;
Но отецъ твой, старый воинъ,
Закаленъ въ бою.

Спи, малютка, будь спокоенъ,
Баюшки—баю.

Самъ узнаешь, будеть время,
Бранное житье;
Смѣло вступишь погу въ стремя
И возьмешь ружье.
И сѣдельце боевое
Шелкомъ разошью.

Спи, дитя мое родное,
Баюшки—баю.

Богатырь ты будешь съ виду
И казакъ душой,
Провожать тебя я выйду,
Ты махнешь рукой...
Сколько горькихъ слезъ украдкой
Я въ ту ночь пролью!..

Спи, мой ангелъ, тихо, сладко,
Баюшки—баю.

Стану я тоской томиться,
 Безутѣшно ждать,
 Стану цѣлый день молиться,
 По ночамъ гадать.
 Стану думать, что скучаешь
 Ты въ чужомъ краю...
 Спи-жь, пока заботъ не знаешь,
 Баюшки—баю.
 Дамъ тебѣ я на дорогу
 Образокъ святой:
 Ты его, моляся Богу,
 Ставь передъ собой;
 Да готовься въ бой опасный,
 Помни мать свою...
 Спи, младенецъ мой прекрасный,
 Баюшки—баю.

Еще замѣчательнѣе, во всѣхъ отношеніяхъ, стихотвореніе, подъ заглавіемъ „Ребенку“:

„О грезахъ юности томимъ воспомнаньемъ,
 Съ отрадой тайною и тайнымъ содроганьемъ,
 Прекрасное дитя, я на тебя смотрю. .
 О, еслибъ знало ты, какъ я тебя люблю!
 Какъ милы мнѣ твои улыбки молодыя,
 И быстрые глаза, и кудри золотыя,
 И звонкій голосокъ!— Не правдаль, говорятъ,
 Ты на нее похожъ? - Увы! года летятъ;
 Страданія ея до срока измѣнили,
 Но вѣрныя мечты тотъ образъ сохранили
 Въ груди моей; тотъ взоръ, исполненные огни,
 Всегда со мной. А ты, ты любишь-ли меня?
 Не скучны ли тебѣ непрошенныя ласки?
 Не слишкомъ часто-ль я твою цѣлую глазки?
 Слеза моя ланить твоихъ не обожгла-ль?
 Смотри-жь, не говори ни про мою печаль
 Ни вовсе обо мнѣ. Къ чему? Ея, быть-можетъ,
 Ребяческій разсказъ разсердитъ или встревожитъ. .
 Но мнѣ ты все повѣрь. Когда въ вечерній часъ,
 Предъ образомъ съ тобой заботливо склоняясь,
 Молитву дѣтскую она тебѣ шептала
 И въ знаменье креста персты твои сжимала,
 И всѣ знакомыя, родныя имена
 Ты повторялъ за ней,—скажи: тебя она
 Ни за кого еще молиться не учила?

Блѣднѣя, можетъ-быть, она произносила
Названіе, теперь забытое тобой...
Не вспоминай его. Что имя?—звукъ пустой!
Дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось тайной.
Но если какъ нибудь, когда нибудь, случайно
Узнаешь ты его,—ребяческіе дни
Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!“

Надобно еще привести „Вѣтку Палестины“, потому что
приведеніе каждой такой пѣснь — новая похвала поэту:

„Скажи мнѣ, вѣтка Палестины,
Гдѣ ты росла, гдѣ ты цвѣла?
Какихъ холмовъ, какой долины
Ты украшеніемъ была?
У водъ ли чистыхъ Іордана
Востока лучъ тебя ласкалъ?
Почной ли вѣтръ въ горахъ Ливана
Тебя сердито колыхалъ?
Молитву-ль тихую читали,
Иль пѣли пѣсни старины,
Когда листья твои слетали
Солима бѣдные сыны?
И пальма та жива-ль поминѣ?
Все такъ же-ль манитъ, въ лѣтній зной,
Она прохожаго въ пустынѣ
Широколиственной главой?
Или въ разлукѣ безотрадной
Она увяла, какъ и ты,
И дольний прахъ ложится жадно
На пожелтѣвшіе листья?..
Повѣдай, набожной рукою
Кто въ этотъ край тебя занесъ?
Грустилъ онъ часто предъ тобою?
Хранишь ты слѣдъ горючихъ слезъ?
Иль, Божьей рати лучший воинъ,
Онъ былъ, съ безоблачнымъ челомъ,
Какъ ты, всегда небесъ достоинъ
Передъ людьми и Божествомъ?
Забытой тайною хранима,
Передъ иконою святой,
Стоишь ты, вѣтвь Іерусалима,
Святыни вѣрный часовой!
Прозрачный сумракъ, лучъ лампы,
Кивотъ и крестъ, символъ святой...
Все полно мира и отрады
Вокругъ тебя и надъ тобой“.

Нѣтъ сомнѣнія, что автору такихъ превосходныхъ стихотвореній во всякой литературѣ была бы воздана полная поэтическая почесть. Сколько же должно надѣяться отъ молодого дарованія, которое такъ начинается!

Приведенныя здѣсь пѣснки показались намъ лучшими во всемъ собраніи, въ которомъ все хорошо. Въ немъ находится и дѣй доволно длинная пѣсня: „Пѣсня про царя Иванъ Васильевича“ и „Мцыри“, которыя, стѣдовательно, принадлежать также къ категоріи хорошихъ. Конечно, *хорошо* — не большая похвала для длиннаго стихотворенія, но не надобно принимать здѣсь много стога въ слишкомъ ограниченномъ смѣлѣ, потому что между хорошими, какъ бы оно длинно ни было, у господина Лермонтова непрерывно встрѣчается превосходное, напримеръ, слѣдующая страница „Мцыри“:

„Была поляна. Вдругъ по ней
Мелькнула тѣнь, и двухъ огней
Промчались искры... и потомъ
Какой-то звѣрь однимъ прыжкомъ
Изъ чащи выскочилъ и легъ...“ и т. д. (см. 131 стр.).

Жаль, расстался съ такими милыми стихами: мнѣ бы хотѣлось выписывать ихъ до безконечности и не говорить ни о чемъ болѣе въ нынѣшнемъ мѣсцѣ. Увы! въ томъ, о чемъ мнѣ предстоитъ еще говорить, тамъ не предстоитъ никакой радости! Развѣ станете читать „Кота Мурра“, если еще не читали вы его по-нѣмецки, что даже невѣроятно.

О. Сенковский.

*) Это небольшая греческая пѣснька, съ такимъ простымъ и поэтическимъ заглавіемъ, должна быть принята въ даръ для негреческаго, то-есть образованнѣйшей части русской публики. Хотя она была полнѣнна стихотвореній г. Лермонтова и была уже разсѣлана въ „Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду“ (1838) и особенно въ

*) В. Бѣдѣе въ „Литературномъ Сборникѣ“ 1840 г. Т. XIII. о „Стихотвореніяхъ Лермонтова“.

„Отечественныхъ Запискахъ“ 1839 и 1840 годовъ; но не говоря уже о томъ, что цѣлая треть книжки состоитъ изъ пошлостей, никуда непапечатавшихся и совершенно неизвѣстныхъ публикѣ, кому не пріятно имѣть въ стихотворенія даровитаго поэта, собранными въ одну книжку, и этимъ избавившись отъ труда читать ихъ то въ томъ, то въ другомъ номерѣ журнала или газеты? Несмотря на то, что г. Лермонтовъ началъ свое поэтическое поприще еще такъ недавно, не давши еще, какъ съ 1837 года, имя его уже громко огласилось на сѣвѣ Руси, и его юный, могучий талантъ нашелъ не только ревностныхъ почитателей и жаркихъ поборниковъ, но и ожесточенныхъ враговъ, — честь, которая бываетъ уделомъ только истиннаго гения. Что талантъ Лермонтова такъ скоро приобрѣлъ себѣ много пламенныхъ поклонниковъ, отъ издѣлокъ не удивительно: они неслись въ Сиріусѣ замѣтны и на уединенномъ звѣздномъ небѣ, а яркая звезда таланта Лермонтова блистаетъ почти на пустынномъ небосводѣ, безъ соперниковъ, по величинѣ и блеску, также безъ стихъ завязочекъ, которыя безцѣлностью выкупаютъ свою мнѣстостанническую малость, и своимъ множествомъ умѣряютъ лучезарное сіяніе главнаго светила. Правда, талантъ Лермонтова не совсѣмъ одинокъ: подлѣ него блещитъ въ могучей красотѣ самородный талантъ Кольцова; свѣтится и играетъ переливчатыми цвѣтами граціозно-поэтическое дарованіе Краевскаго. Но въ нихъ можно было бы указать и еще на два, въ три имени: у того много чувства, у этого попадаются хорошіе стихи, а вотъ тотъ подалъ когда-то хорошия вѣдѣнія; но тотъ одностороненъ и немногострастенъ, этотъ написалъ всего два-три стихотворенія, а о многихъ, недавно еще шумѣвшихъ, уже не слышно, какъ будто бы ихъ и совсѣмъ не было. Въ результатѣ все-таки остается одно: небосводъ пустыненъ! Звѣздъ мы только считали оторочку, имѣя въ виду людей, которые пребываютъ въ своей чуждымъ нечуждыми, какъ насущнымъ хлѣбомъ: говори о Лермонтовѣ мы разумѣемъ современную русскую литературу, отъ смерти Пушкина до настоящей минуты, и, не находя въ ней соперниковъ та-

ланту Лермонтова, разумьёмъ собственно стихотворцевъ-поэтовъ, а не прозаиковъ-поэтовъ, между которыми Лермонтовъ опыты такъ Спрѣчь между звѣздами, потому только, что первый и великий прозаикъ — поэтъ русской литературы, съ которымъ Лермонтовъ не приобрѣлъ еще права и быть сравняемымъ, ничего не печатаетъ со времени смерти Пушкина; читатели воимуть, о комъ мы говоримъ.

Односительно же того, что талантъ Лермонтова, въ такое короткое время, успѣлъ излить себѣ одесноченныхъ и непримиримыхъ враговъ, то также понятно. Разумьется, эти враги составляютъ ту часть публики, которая должна называться „толпою“; несправедливо этихъ господъ очень почиталъ поэза Лермонтовъ для нихъ — много слишкомъ пылкий и деликатный, такъ что не можетъ льстить ихъ грубому вкусу, на который действуетъ только слишкомъ сильное, какъ метъ, слишкомъ кислое какъ отурезный разсоль, и слишкомъ соленое, какъ сыренина. Эти господа чувствуютъ непреодолимую антипатию даже и къ тѣмъ людямъ, которые восхищаются талантомъ Лермонтова, и они бравить ихъ, какъ слугители своихъ господъ, которые устриць предпочитаютъ трактирной селянкѣ съ перцемъ. Изъ всѣхъ страстей человѣческихъ сильнѣйшая — самолюбие, которое, будучи сдержано, никогда не прощаетъ. Во чѣмъ же сдержано всего можетъ быть оскорблено самолюбие ограниченного чловека, какъ не сознаниемъ своего безсилія понять недостатковъ его разумныхъ? Что можетъ быть досажде и тяжелѣе, какъ не сознание своего неумѣнья или своей ограниченности? Здѣсь мы очень кстати можемъ замѣнить мимоходомъ, что по этой же самой причинѣ и „Отечественный Записки“ имѣють такъ много и такихъ одесноченныхъ враговъ даже между людьми, которые, бравя ихъ, все-таки гадкую книжку ихъ прочитывають отъ досады разсоль. Особенное несправедливое этихъ господъ налетѣть на себя критика „Отеч. Записокъ“ и *летопрописный слова* встрѣчающаися въ немъ, право такъ, мы не шутимъ.

Но хотя многія изъ этихъ словъ не были новыми и такими ни въ „Мнемозинѣ“, ни въ „Московскомъ Вѣстникѣ“, ни въ „Телеграфѣ“, ни даже въ „Вѣстникѣ Европы“ — журналахъ, такъ извѣстно, издававшихся въ Москвѣ, однако здѣсь, въ Петербургѣ, они приводятся въ ужасъ и становяться въ тупикъ не только обыкновенныхъ читателей, но также и записныхъ словесниковъ, теоретиковъ изящнаго и особенно сочинителей реторики. Обращаясь къ Лермонтову. Кромѣ читателей того разряда, о которомъ мы сейчасъ говорили, его талантъ еще болѣе имѣетъ враговъ между литераторами, и что еще поясняетъ сей устарѣль, и, плохо понимавъ стихотворенія, писанныя до 1834 года, уже совсѣмъ не понимаетъ ничего писаннаго послѣ того года, тотъ рожденъ совсѣмъ безъ органа эстетическаго чувства, не понимаетъ, но ии, и думаетъ, что она годится только „для сбора пустыхъ и вторичныхъ мыслей“; онъ болѣе занимается барышничествомъ, чѣмъ изящнымъ; а вслѣдствіе — ослѣпленъ тѣмъ, что стихотворенія Лермонтова не встрѣчаются на листахъ, выходящихъ подъ фирмою ихъ имени... о господахъ же сочинителяхъ стишковъ для журналовъ и даже большихъ и пребольшихъ штукъ, — изъ которыхъ нѣкоторые, по извѣщенію оной знаменитой афиши, боронись съ исполиями иностранныхъ литературъ, и побѣдили ихъ, — объ этихъ господахъ нечего и говорить: имъ становится дурно отъ стиховъ Лермонтова по слишкомъ законной причинѣ. Въмѣсто реценза, соображаемъ имъ почтѣе читать эти стишки:

Вотъ *Бутусовъ*; онъ зубами
Бюсть грызетъ Карамзина;
Нѣна съ устъ валить клубами,
Кровью грудь обагрена.
Но напрасно мраморъ гложетъ,—
Только время тратить въ томъ:
Онъ вредить ему не можетъ
Ни зубами ни перомъ.

Но дѣло таланта Лермонтова не ограничиться ни чуждыми ни врагами: его пошло таланте, и теперь уже имѣются дѣльные друзья, которые спекулируютъ на немъ Лермонтова.
В. БЕЛИНСКІЙ. КРИТИКА О ЛЕРМОНТОВѢ. 10

чтобы минимымъ безпристрастиемъ (подобнымъ на *критическое* пристрастие) исправить въ глазахъ вселенн свою незавидную репутацию. Такъ, напримеръ, не только одна газета, — которая, впрочемъ, больше занимается успехами мелкихъ промышленностей, чѣмъ литературою, и знаетъ больше толка въ качествѣ спаръ и достоинствъ водоочистительныхъ машинъ, чѣмъ въ составныхъ искусствахъ, — превозвасила „Героя нашего времени“ гениальнымъ и великимъ произведеніемъ, упрекая въ то же время какое-то *субъективно-объективное* журналы въ пристрастїи и *неумеренности* похвалять этому, действительно превосходному произведенію Лермонтова. Къ довершенію комедїи, поставивши сущность о части стихъ романа Лермонтова, эта газета выбрала нѣсколько мѣселъ изъ критики „Отеч. Записокъ“, разумеется, поставивъ ихъ по своему, и напечатала свою статью густыми острогами насчетъ обобранной же ея критики. О, безпристрастие!

Кстати, о безпристрастїи: мы неоднократно читали обращенныя къ намъ упреки въ пристрастїи въ лицамъ, произведенїа которыхъ часто встрѣчаются на страницахъ „Отечественныхъ Записокъ“. Такъ, напримеръ, однажды сказано было въ одномъ журналѣ, что „Отеч. Записки“ называютъ *великимъ поэтомъ* несправедливо, а подъ своими стихотворенїями — О — Странное обвиненїе! Какъ будто печатать въ своемъ журналѣ чьи-нибудь стихотворенїя не для журнальнаго батласта, а по сознанію, что эти стихотворенїя достойны вниманїя публики, открыто признавать въ большинствѣ ихъ искренности и неподдѣльную теплоту, а иногда и глубину чувства, въ которыхъ же, вмѣстѣ съ этимъ, въ нѣкоторой степени, гармонїю и красоту стиха, и, наконецъ, говорить о нихъ, что они гораздо лучше случайно представленныхъ стихотворенїй того или другого сомнительнаго таланта, хотя и пользуются меньшею въ сравненїи съ ними извѣстностью, — какъ будто все это то же самое, что назвать ихъ автора „великимъ поэтомъ“?.. Что же касается до другихъ, какъ, напр., до Кольцова и Красса, — ихъ талантъ, особенно перваго, давно уже признанъ публикою, — и если „Отеч. Записки“

превозносить ихъ, то совсѣмъ не потому, что могутъ быть ими громко хвалены. Это похоже на то, какъ часто случается слышать въ свѣтѣ: „Вы потому его хвалите, что онъ вашъ другъ!“ — Странные люди! напротивъ, онъ потому и другъ мнѣ, что я могу хвалить его. — Вѣрно же глѣшь принимать следствие за причину! Такъ точно и „Отеч. Записки“ удивляются Лермонтову потому, что его талантъ порождаетъ необыкновенныя удивленія вслѣдствіе, у кого есть эстетическій вкусъ, — и есенинъ Лермонтовъ печалится хоть въ другомъ повременномъ изданіи между новостями и извѣстіями о вновь прибывающихъ изъ Парижа французахъ, — „Отеч. Записки“ и тогда точно бытъ стали бы хвалить Лермонтова. И почему же бы не такъ! Неудачи же „Отечественнымъ Запискамъ“ для того легки, что скажетъ о Лермонтовѣ толь или другой журналъ. О, нѣтъ! „Отеч. Записки“ не пріучены къ такой кнѣзской скромности: напротивъ, онѣ въ другихъ журналахъ прѣвѣки находятъ повтореніе своихъ мнѣній и словъ, которыя тѣми же журналами и съ такимъ одностороннимъ пристрастіемъ повторяются. Не подождаешьли имъ было приговора публики? — Напротивъ: „Отеч. Записки“ для того и издаютъ, чтобъ публика въ нихъ находила поруку для своихъ приговоровъ: если же есть много читателей, которыхъ вкусъ сходится со вкусомъ „Отеч. Записокъ“, бѣшь пристрастительнаго сличенія, сопоставленія или повѣрки, — то глѣшь лучше для обѣихъ сторонъ, и глѣшь больше выигрышъ со стороны истины. Вообще, упреки „Отеч. Запискамъ“ въ пристрастіи, въ ихъ рѣзкости, и главное — новизнѣ и оригинальныхъ сужденій, выходящихъ изъ слѣдующаго источника: сужденія ищутся для общества, а общество состоитъ изъ *публики* и *толпы*. Публика есть собраніе извѣстнаго чина (по большей части очень ограниченаго) образованныхъ и самостоятельно мыслящихъ людей: толпа есть собраніе людей, живущихъ по *преданію* и разсуждающихъ по *авторитету*, другими словами, изъ людей, которые:

Не могутъ смѣть
Свое сужденіе имѣть.

Такие люди въ Германіи называются *филестерами*, и пока на русскомъ языкѣ не принцетелъ для нихъ учиваго выраженія, будемъ называть ихъ этимъ именемъ. Для пушкинъ великій писатель тотъ, кто великъ своими сознаніями, а не довременнымъ писательствомъ: пушкинъ иногда превозмощаетъ великимъ талантомъ молодого человека, который не больше трехъ дней какъ началъ писать, и имени котораго до той минуты никто не слыхалъ, — и та же пушкинъ съ упрямымъ презрѣніемъ иногда не хочетъ и слышать о человекѣ, котораго имя лѣтъ тридцать печатается и тамъ и сямъ, который успѣлъ написать цѣлую горю вѣрныхъ книгъ, и котораго толпа давно признала чуть-чуть не гениемъ.

Но толпа — о, это советамъ другое дѣло! Толпа ничего не вѣнчаетъ кромѣ бумаги и буквъ, кромѣ заглавья имени и рифмы. Выходить трои романъ, — она его не читаетъ, ожидая, что станутъ ей оракуны, таковы-то журналы, какого-то гостя. Толпа неперемѣнна по натурѣ своей, и ничто такъ не трудно для членовъ ея, какъ перенести отъ одного порианія къ другому, перемѣнить одну конинтересную на другую, или замѣнить старыя авторитеты, старую славу новымъ авторитетомъ, новою славою. Новое литературное имя, новая слава быть для толпы, ибо это имя, эта слава превращаются въверхъ потоми бѣдный запасъ ея бѣдныхъ мифовъ. Толпа готова признавать примѣчательными таланты даже въ Пушкинѣ, котораго не любить по филестерскому инстинкту, и признавать не за его гениальность, которую узрѣлъ бы не въ состояніи постигнуть, но потому, что толпа, волею или неволею, приступила къ нему въ продолженіе, по крайней мѣрѣ, двадцати двухъ лѣтъ. Какъ же требовать отъ толпы, чтобъ она не хмурилась и серьезно не махала своими бумажными колпачками, когда ей придется вѣрить, что, нацимѣрь, Гоголь — гениальный писатель, что это «Ревизоръ» гениальное сочиненіе, что Лермонтовъ — талантъ необыкновенный, обещающій въ будущемъ нечто гениальное, гениальное? Каково же этимъ гениемъ, котораго въ своей анатомической драмѣ, почи-

таемой ими за жизнь, привыкли смотрѣть на Выбоина, Тряпичкина и Прокохину, какъ на величайшихъ романистовъ, драматистовъ, трагиковъ и критиковъ, потому только, что они уже давно торжествуютъ литературно, и сами ежедневно величаютъ себя гениями? каково имъ слышать, что гг. Выбоины, Тряпичкины и Прокохины — просто безграмотные пестуны, наирававшие сами себя, будто они ли не они ли, будто имъ и Пушкинъ ли по чести, и Вальтеръ-Скоттъ свои братья, будто они всѣхъ и умнѣе, и талантливѣе, и благонамѣреннѣе, и будучи въ головахъ всѣхъ русскихъ литераторовъ, вмѣстѣ съ ними, менѣе ума, чѣмъ въ *миничокъ* каждаго изъ нихъ? Чтобы точнѣе характеристичеки тоны, мы должны сказать, что филистеры и китайцы, не будучи однимъ и тѣмъ же, похожи другъ на друга и родственны другъ другу; впрочемъ, объ ихъ сходствѣ и родствѣ мы поговоримъ еще въ другое время. „Филистеры“ есть всѣхъ и всегда въ большинствѣ противу членовъ публики количествъ. Но въ другихъ мѣстахъ они споспѣе, потому что не такъ замѣтны, будучи подчинены небольшому вліянію публики. Оттого-то въ тѣхъ мѣстахъ есть самостоятельность въ воззрѣніяхъ; авторитеты возникаютъ и падаютъ не случайно, но разумно: все талантливое тотчасъ же одобвляется какимъ-то инстинктомъ, а незаконные и устарѣлые авторитеты исчезаютъ, какъ дымъ, сами собою.

„Отеч. Записки“ всегда будутъ имѣть въ виду не *толпу*, а *публику*. Уверенныя, что истина всегда возьметъ свое, онѣ, въ сужденіяхъ своихъ, не будутъ согласоваться ни съ закѣсневшими литературными и пресскандальными ни съ говоромъ полуграмотной толпы, а съ собственнымъ чувствомъ и разумѣніемъ, на основаніи самаго судимаго предмета. И потому, „Отеч. Записки“, *при сей торжеств. оказіи*, еще громче, чѣмъ прежде, объявляютъ во всеуслышаніе глубокое свое убѣжденіе, что первые опыты Термодинамическаго пророчества въ будущемъ будутъ потоссально-вѣрные. Не говоря, напр., о его поэмѣ „Мицра“ (стр. 121—159), какъ о цѣломъ созданіи, вынесываемъ два мѣста изъ нея, чтобы

читатели, еще не бывшие нашими рецензентами, могли судить оъ атмосферѣ крѣпости и блескѣ стиховъ Лермонтова, дивной вѣрности и неистощимой роскоши его поэтическихъ картинъ:

Ты хочешь знать, что дѣлалъ я
На волѣ? Жилъ,—и жизнь моя
Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней
Была бѣ печальнѣй и мрачнѣй
Безсильной старости твоей.
Давнымъ-давно задумалъ я
Взглянуть на дальнія поля,
Узнать, прекрасна ли земля,—
И въ часъ ночной, ужасный часъ,
Когда гроза пугала васъ,
Когда столпясь при алтарѣ,
Вы ницъ лежали на землѣ,
И убѣждалъ. О! я, какъ братъ,
Обнятъся съ бурей былъ бы радъ!
*Глазами тучи я слѣдилъ,
Рукою молній ловилъ...*
Скажи мнѣ, что средь этихъ стѣнъ
Могли бы дать вы мнѣ замѣнъ
Той дружбы краткой, но живой,
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?..

И, какъ его, палилъ меня
Огонь безжалостнаго дня.
Напрасно пряталъ я въ траву
Мою усталую главу:
Изсохшій листъ ея вѣнцомъ
Терновымъ надъ моимъ челомъ
Сливался—и въ лицо огнемъ
Сама земля дышала мнѣ.
Сверкая быстро въ вышинѣ,
Кружились искры; съ бѣлыхъ скалъ
Струился паръ. Міръ Божій спалъ
Въ одѣвѣннѣи глухомъ
Отчаянья тяжелымъ сномъ.
Хотя бы крѣкнулъ коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячій лепетъ... Лишь змѣя,
Сухимъ бурьяномъ шелестя,

Сверкая желтою спиною,
 Какъ будто надписью златой
 Покрытый до низу клинокъ,
 Браздя разсыпчатый песокъ,
 Скользила бережно, потомъ
 Игравъ, нѣжась на немъ,
 Тройнымъ свивалася кольцомъ;
 То будто вдругъ обожжена,
 Металась, прыгала она
 И въ дальнихъ пряталась кустахъ...
 И было все на небесахъ
 Свѣтло и тихо...

Такой стихъ—булатный мечъ: и кто, едва увидя, за него, вернись имъ, какъ тростичкомъ, — готъ богатырь..

Но вотъ поствѣнная прощатная пѣснь лебеди, оставяющаго привычныя воды для другихъ дальнихъ и чуждыхъ, но, можетъ-быть, божье привольныхъ ему водъ:

Тучки небесныя, вѣчные странники!
 Степью лазурною, цѣпью жемчужною
 Мчитесь вы, будто, какъ я же, изгнанники
 Съ милаго сѣвера въ сторону южную.
 Кто же васъ гонить? судьбы ли рѣшеніе?
 Зависть ли тайная? злоба-ль открытая?
 Или на васъ тяготитъ преступленіе?
 Или враговъ клевета ядовитая?
 Нѣтъ, вамъ наскучили нивы безплодныя,
 Чужды вамъ страсти и чужды страданія;
 Вѣчно-холодныя, вѣчно-свободныя,
 Нѣтъ у васъ родины, нѣтъ вамъ изгнанія!..

Да, кромѣ Пушкина, никто еще не начиналъ у насъ такими стихами своего поэтического поприща, и такъ хорошо не олицетворялъ мифическаго преданія объ Ирактѣ, который, еще въ колыбели, будучи дитятемъ, душилъ змѣй зависти..

Впрочемъ, пока довольно: „Отечественныя Записки“ на дѣютъ вскорѣ пѣговорить въ особн статьи, въ отдѣлѣ „Критики“, о стихотвореніяхъ Лермонтова; а все сказанное здѣсь просить своихъ читателей принять за простое библиографическое извѣстіе, конечно, длиноватое, — но подобныя литературныя явленія дѣлаютъ necessarily-говорящимъ...

В. Бѣлинскій.

„Герой нашего времени“.

Но смерти Пушкина ни одно новое имя, конечно, не достигло так рано на небосклонъ нашей Словесности, какъ имя г. Лермонтова. Талантъ рѣшительный и разнообразный, почти равно владѣющій и стихомъ и прозою. Бывасть обыкновенно, что поэты начинаютъ лиризмомъ: ихъ мечты сначала носятся въ этомъ неопредѣленномъ эфирѣ поэзии, изъ котораго потомъ иные выходятъ въ живой и разнообразный миръ эпоса, драмы и романа, другіе же остаются въ немъ навсегда. Талантъ г-на Лермонтова обнаружился съ самаго начала и въ томъ и въ другомъ родѣ: онъ и одумевшіи лирикъ и замѣчательный повѣствователь. Оба члѣна поэзии, иная внутренняя, душевная, и вѣшная, дѣятельный, равно для него доступны. Рѣдно омыкаетъ, чтобы въ такомъ молодомъ талантѣ жизнь и искусство явились въ столь неразрывной и тѣсной связи. Почти всякое произведеніе г-на Лермонтова есть онъ въ высшей степени сильно прошедшей минуты. При самомъ началѣ повѣрща замѣчательныя замѣтка наблюдательность, на легкость, но умѣнно, съ какими повѣствователь схватываетъ цѣльныя характеры и воспринимаетъ ихъ въ искусство. Опытъ не можетъ еще быть такъ силенъ и богатъ въ эти годы: но въ людяхъ даровитыхъ онъ замѣняется какимъ-то преимуществомъ, которымъ они постигаютъ раньше тайны жизни. Судьба, ударивъ по такой душѣ, привлекъ при своемъ рожденіи даръ претупающей жизни, тотчасъ открываетъ въ ней негнѣвникъ поэзіи: такъ мощны, случайно попалъ въ струю, таящую въ себѣ источникъ воды жизни, онъ рзаетъ ему исходу, и новый ключъ бьетъ изъ открытаго лона.

Вѣрное чувство жизни дружно въ новомъ поэтѣ съ вѣрнымъ чувствомъ поэтаго. Его сила творчески легко перелетѣть собою образы, вынуть изъ жизни, и дѣсть имъ живую картину. Но вѣдомымъ было во всемъ печать стро-

* „Москвитинъ“ 1841 г. Ч. I. № 2. — „Герой нашего времени“. Статья С. Шевырева.

таго вкуса: нѣтъ никакой приторной высканности, и съ перваго раза особенно поразкають эта грезивость, эта полнота и краткость выраженья, которыя свидетельны талантъ, больше оплитимъ, а въ юности означаютъ силу даръ необыкновеннаго. Въ поэтѣ, въ стихотворцѣ, еще больше, чѣмъ въ повѣствователѣ, видимъ мы связь съ его предшественниками, подмѣтаемъ ихъ вліяніе, вѣдь мы платное, нѣо новое поколѣніе должно начинать тамъ, гдѣ другіе кончили: въ поэзи, при вселъ высканности ея самыхъ геніальныхъ лѣтѣи, должна же быть память преданій. Поэтъ, какъ бы ни былъ оригиналенъ, а все имѣетъ своихъ воспитателей. Но мы замѣтимъ съ особеннымъ удовольствіемъ, что вліянія, каковымъ поцѣржалъ новый поэтъ, разнообразны, что нѣтъ у него исключительно какого-нибудь любимаго учителя. Это самое уже говоритъ въ пользу его оригинальности. Но есть многія произведенія, въ которыхъ и по-стикло виденъ онъ самъ, замѣтна яркая его особенность.

Съ особеннымъ радующемъ горюмы мы на первыхъ страницахъ нашей критики привѣтствовать свѣжій талантъ при его первомъ явленіи, и охотно посвящаемъ подробный и искренний разборъ „Героя нашего времени“, какъ одному изъ замѣчательныхъ произведеній нашей современной словесности.

Поэтъ англичанинъ, какъ парота, на своихъ корабляхъ, обрытенныхъ парами, объемлющего весь земли міра, конечно, нѣтъ другаго парота, который бы въ своихъ литературныхъ произведеніяхъ могъ представить такое богатое разнообразіе мѣстности, какъ Россія.

Въ Германіи, при скупомъ мірѣ действительности, по-невѣтъ буденъ, какъ Жанъ Путь или Гейманъ, пускаются въ міръ фантазій, и ея созданными замѣняютъ нѣсколько однообразную сѣдность существеннаго бытія природы. Но то мѣдью у насъ? Въ вниманіи нѣтъ рукою столько пароттовъ, говорящихъ лѣзками не узнанными, и хранящихъ у себя ищотатны сокровища поэзи у насъ чезровѣдство во всехъ видахъ, какъ имѣло оно отъ времени гомерическихъ до нашихъ. Прокатитесь по всему пространству Россіи въ

невѣрное время года—и вы пробѣдете черезъ зиму, осень, весну и лѣто. Сѣверныя сѣніи, нечи жарлаго вѣтра, огненные и чьи морен сѣверныхъ, небесная лазурь подуденныхъ, горы въ вѣчныхъ снѣгахъ, современныя міру: и всѣмъ степи безъ снѣгого припорошка, рѣки-моря, измѣнотекущія: рѣки-водопады, питомицы горъ, болота съ одного вѣтровка; виноградные сады, поля съ тонкимъ хлѣбомъ; поля, усеянные рисомъ, петербургскіе сады со всѣмъ изгодѣствомъ и роскошью вѣснаго вѣтра, вѣтры кочующихъ народовъ, еще не получившихъ освѣдости: Тальони на сценѣ великолѣпно свѣщеннаго театра, при звукахъ европейскаго оркестра; гонимая камчадалка передъ Юкагирами, при стулкѣ длинныхъ инструментовъ. И все это у насъ въ одно время, въ одну минуту снѣга!.. И вся Европа потъ руками. И черезъ семь дней мы теперь въ Парижъ. И гдѣ насъ нѣтъ? Мы летѣмъ на пароходахъ Рейна, Дуная, около береговъ Пиренеевъ. Мы воздѣмъ, можетъ-быть, кромѣ своей Россіи...

Чуждая земля!.. Что еслибъ можно было взлетѣть надъ тобою, вѣтромъ, вѣтромъ, и окунуть тебя вдругъ однимъ взмахомъ!.. О томъ мечтаетъ еще Ломоносовъ, но мы старика уже забываемъ.

Всѣ гонимыя помыслы наши съзнавали это великолѣпное разнообразіе русскою мѣстности.. Пушкинъ поэтъ перваго своего произведенія, родившагося въ чистой области фантазіи, сформированной Аріостомъ, началъ съ Кавказа писать первую свою картину изъ дѣйствительной жизни.. Потомъ Крымъ, Одесса, Бессарабія, внутренность Россіи, Петербургъ, Москва, Уралъ—пѣтали попеременно его разгульную музу...

Замѣчательно, что новый поэтъ нашъ начинаетъ также Кавказомъ.. Не даромъ фантазія многихъ нашихъ писателей увлеклась этою странною. Здѣсь, кромѣ великолѣпнаго ландшафта природы, обольщающаго очи поэта, сходится въ вѣчной непримиримой враждѣ Европа и Азія. Здѣсь Россія, граждански устроенная, ставитъ отпоръ этимъ вѣчно разущенымъ поганамъ горныхъ народовъ, не знающимъ, что такое договоръ общественный.. Здѣсь вѣчная борьба

наша, незамысли для поселения Россіи... Здѣсь поселенокъ двухъ силъ, образованной и дикой. Здѣсь жизнь! Какъ же не рваться сюда воображенію поэта?

Привлекательна для него эта яркая противоположность двухъ народовъ, изъ которыхъ жизнь одного выроста по мѣрѣ европейской, связана условіями принятаго обществія, жизнь другого дика, необузданна, и не признаетъ ничего, кромѣ вольности. Здѣсь наши искусственныя, вынесенныя страсти, охлажденныя свѣтомъ, сходятся съ бурными естественными страстями человека, не покорившіяся никакому умѣ разумной. Здѣсь встрѣчается грѣшности любимаго и разительныя для наблюдателя-психолога. Этотъ миръ народа, совершенно отличный отъ нашего, уже самъ въ себѣ поэзія: мы не любимъ того, что обыкновенно, что всегда насъ окружаетъ, на что мы не глядѣлись и чего не слухались.

Отсюда намъ понятно, почему дарованіе поэта, о которомъ мы говоримъ, раскрылось такъ быстро и свѣже при видѣ горъ Кавказа. Картины величавой природы сильно дѣйствуютъ на воспріимчивую душу, рожденную для поэзіи, и она распускается скоро, какъ роза при ударѣ лучей утренняго солнца. Ландшафтъ быть готовъ. Яркіе образы жизни горцевъ поразили поэта, съ ними смѣшались воспоминанія столичной жизни, общество свѣтское мигомъ перенесено въ ущелья Кавказа—и все это оживила мысль художника.

Объяснивъ нѣсколько возмозности явленія кавказскихъ повѣстей, мы перейдемъ къ подробностямъ. Обратимъ вниманіе по порядку на картины природы и мѣстности, на характеры лицъ, на черты жизни свѣтской, и потомъ сольемъ все это въ характеръ героя повѣсти, въ который, какъ въ средоточіи, постараемся уловить и главную мысль автора.

Маринескій пріучилъ насъ къ ярости и пестротѣ красокъ, какими любилъ онъ рисовать картины Кавказа. Нѣзкому воображенію Маринескаго казатось, мало только что покорно наблюдать эту величественную природу и передавать

се вѣрнымъ и мѣрнымъ словомъ. Ему хотѣлось насиловать образами и языкомъ: онъ мѣлать краски съ своей палитры гуртомъ, какъ ни пошло, и думать: чѣмъ будетъ пестрѣе и цвѣтнѣе, тѣмъ болѣе сходства у елика съ оригиналомъ. Но такъ рисовать Пушкины: его кисть была вѣрна природѣ и съ тѣмъ имѣла ideally прекрасна. Въ его „Кавказскомъ Пльвиникѣ“ ландшафты сибирскихъ горъ и доловъ затеряны или, лучше, подавлены собою все событіе: ацѣмъ люли для ландшафта, какъ у Клавдія Доррена, а не ландшафты для люли, какъ у Николая Пусени или у Доминикино. Но „Кавказскій Пльвиникъ“ быть почти ужь забытъ читателями съ тѣхъ поръ, какъ „Аммагъ-Бекъ“ и „Мулла-Нуръ“ пестрою щедро изыданными красками бросились имъ въ глаза.

Поэтому съ особеннымъ удобствомъ можемъ мы замѣнить въ похвалу повѣсти Кавказскаго живописца, что онъ не утѣлся пестрою и яркостью красокъ, а, вѣрнымъ вкусу изысканомъ, подорвать презвѣкую кисть свою картинамъ природы, и санивать ихъ безъ всякаго преувеличенія и приторной вышканивости. Дорога черезъ Гуль-гору и Крестовую, Киншаурская долина описаны вѣрно и живо. Кто не бывалъ на Кавказѣ, но видѣлъ Альпы, тотъ можетъ отгадать, что это должно быть вѣрно. Но, впрочемъ, должно замѣтить, что авторъ не слишкомъ любилъ останавливаться на картинахъ природы, которыя мелькаютъ у него только эпизодически. Онъ пренебрегаетъ людьми, и торчитъ мимо ущелій Кавказскихъ, мимо бурныхъ потоковъ, къ живому человеку, къ его страстямъ, къ его радостямъ и горю, къ его быту образованному и кочевому. Это и лучше: это добрый признакъ въ развивающемся талантѣ.

Къ тому же картины Кавказа такъ часто намъ были однепрѣсны, что не худо погасить повтореніемъ ихъ во всей подобию. Авторъ очень искусно поставилъ ихъ въ самой тѣни, и онъ у него не заслѣдитъ событій. Любопытнѣе и ли и съ картинами моей жизни горды, или жизни нашего общества среди величій и природы. Такъ и сѣлалъ авторъ. Въ двухъ главныхъ повѣстяхъ своихъ: Бѣль и

князь Мерц оны изобразить двѣ картины, изъ которыхъ первая была болѣе изъ жизни племенъ кавказскихъ, вторая изъ свѣтлой жизни русскаго общества Тамъ черкесская свадьба, съ ея условными обрядами, лихіе наѣды и вѣнчанья, наѣздки, страшные афреки, арканы ихъ и казачьи, вѣчная опасность, торговля скотомъ, похищенія, чувство мести, нарушеніе клятвъ Тамъ Азія, которой люди, по словамъ Максима Максимовича, „что рѣки: никакъ нельзя дождаться!..“ По всего живѣе, всего поразительнѣе эта исторія похищенія коня, Каратѣза, который входить въ завязку повѣсти... Она мило схвачена изъ жизни горцевъ Кавказа для черкеса—все. На немъ оны царь всего міра, и посылается судьба. Быть у Кавбича конь Каратѣзъ, вороной какъ смоль, ноги стружки, а клыки—не хуже, чѣмъ у черкешенки. Кавбичъ влюбленъ въ Бѣду, но не хочетъ ее за коня... Азаматъ, братъ Бѣды, выдаетъ сестру свою, лишь бы только отнять коня у Кавбича. Вся эта повѣсть выпута прямо изъ нравовъ черкесскихъ.

Въ другой картинѣ вы видите русское образованное общество. На эти величавыя горы, гнѣздо тѣломъ и вольной жизни, оно привозитъ съ собою свои недуги душевные, привитые къ нему и въ чуждѣе, и тѣснее — плоть его искусственной жизни. Тутъ пустыя, холодныя страсти, тутъ вѣдливость душевнаго разрыва, тутъ сентиментальность, мечтанія, сентиментальность, ниррити, саль, нирра, дусъ. Кто въ мелкомъ весь этотъ міръ у подножья Кавказа! Люди, въ самомъ дѣлѣ, покажутся мурарями, когда посмотримъ на эти ихъ страсти, съ высоты горъ, касающихся неба.

Весь этотъ міръ—вѣрный столбъ съ жизни и пустой нашей дѣятельности. Оны есть одинъ и тотъ же въ Петербургѣ и въ Москвѣ, на Волгѣ Каспійскаго и Эмса. Возьмемъ оны разноситъ прѣзную дѣлу свою, вѣдливость, мелкія страсти. Чтобы показать автору, что мы со всѣмъ тѣмъ вниманіемъ слѣдимъ за потребности его картинъ и сличаемъ ихъ съ дѣятельностью, мы беремъ смѣлость събить два сличанія, которыя касаются нашей Москвы. Романисты, изображая лица, заимствуемъ изъ жизни свѣ-

скон. вмѣстѣ въ нихъ обобщенно общія черты, принадлежащія цѣлому составу. Между прочимъ, выводить оцѣ княгиню Лизовскую, изъ Москвы, и характеризуетъ ее словами: „Она любить соблазнительные анекдоты, и сама и веритъ иногда неприличнымъ вѣщамъ, когда довери ей лишь въ комнату“. Это черта вовсе не вѣрная, и грѣшитъ противъ мѣры. Провѣда, что княгиня Лизовская провѣда только постыдною потребною свѣтъ жизни въ Москву, но такъ какъ въ повѣсти 45 лѣтъ, то мы думаемъ, что въ 22 съ половиною года тою московскаго общества могъ бы отучить ее и отъ этой привычки, если бы даже гдѣ-нибудь она ее получила. Съ некоторыхъ поръ ввелось въ моду у нашихъ журналистовъ и повѣствователей нападать на Москву и выводить изъ нея напастичныя убоженія. Все, чему будто бы не вѣришь въ другомъ городѣ, оспаривается въ Москвѣ. Москва, по мнѣнію нашихъ повѣствователей, является не только какимъ-нибудь Китаемъ, — но, благодаря путешествіямъ, и объ Китай мы имѣемъ вѣрныя извѣстія, — лишь, она является скорѣе какою-то Аляскиною, складочною необыщью, куда романисты наши сносятъ все, что ни сообразитъ катриль ихъ своеобразной фантазіи.

Даже не такъ давно (мы будемъ вскрывать перелѣтъ публикою) одинъ изъ нашихъ самыхъ любимыхъ романистовъ, увлекающій читателей остроуміемъ и живостью разсказа, иногда весьма вѣрно подмѣляющій нравы нашего общества, придумалъ, что будто бы въ Москвѣ какому-то безграмотному стихопету, прѣхавшему изъ провинціи держать экзаменъ студента и не выдержавшему его, произвели такую суматоху въ нашемъ обществѣ, такое разстройство, такое стеченіе крестить, что ужъ будто и поэзія его забыта. У насъ, въ сѣверѣ, есть, какъ и гдѣ, безграмотные люди поэты, помысливъ, имѣть зеркало студенческой экзамены. Но когда же бывало отъ нихъ такая неслыханная суматоха? Когда же провинція насмѣялась имъ такою извѣдливостью? Впрочемъ, это въмыслить, но крайней мѣрѣ, добродушенъ. Онъ даже по основному мѣсту говоритъ въ пользу нашей столицы. Были примѣры у насъ, что прѣздъ поэта, конечно,

не безразлично, но известно, составлять соблазны жизни нашего общества. Вспомните первое повѣстие Пушкина, и мы можем гордиться такимъ воспоминаньемъ. Мы еще теперь видимъ, какъ во всѣхъ обществахъ, во всѣхъ балахъ, первое вниманіе устремлено на дѣлоспособна, какъ въ мажоръ и миноръ наши дамы выбираютъ пошла безразлично. Пріемъ отъ Москвы Пушкина — одна изъ замѣчательнѣйшихъ страницъ его біографіи. Но слѣдуютъ въ иныхъ повѣстяхъ и клеветы злоумишленныя на нашу столицу. Мы охотно думаемъ, что авторъ „Герои нашего времени“ стоитъ выше всего, тѣмъ болѣе, что онъ самъ въ одномъ изъ замѣчательныхъ своихъ стихотвореній уже нападаетъ на эти клеветы отъ лица Пушкина. Вотъ что вложилъ онъ въ уста современному читателю:

А если вамъ и попадется
Разсказы на родимый ладъ,
То вѣрно надъ Москвой смѣются,
Или чиповниковъ бранятъ.

Но въ повѣстяхъ у нашего автора мы встрѣили не одну клевету на нашихъ книжницъ въ лицѣ книжницы Анжели, которая, впрочемъ, можетъ составить исключеніе. Нѣтъ, вотъ еще анграмма и на московскихъ книжницъ, что будто бы онъ смотритъ на молодыхъ людей съ нѣкоторымъ презрѣньемъ, что это тоже московская привычка, что онъ въ Москвѣ только и занимается сарказмными остротами. Въ эти замѣчанія, правда, вложены въ уста доктору Вернеру, который, впрочемъ, по словамъ автора, отличается зоркимъ глазомъ наблюдателя, но только не въ этомъ случаѣ. Видно, что онъ жилъ въ Москвѣ не долго, во время своей молодости, и какъ-нибудь случалъ, лично по его отношеніямъ, принять за общую привычку. Онъ же замѣнить, что московскія барышни пускаются въ ученость — и прибавляетъ: хорошо плаваютъ! — и мы весьма охотно тоже прибавимъ. Заниматься литературой — где не достигъ дускаться въ ученость, но пускаи московскія барышни этимъ занимаются. Чего же лучше для литераторовъ и для самого общества, которое можетъ только выиграть отъ такихъ за-

пятин прекрасного пола? Не душе ли что, чѣмъ карты, чѣмъ снѣнки, чѣмъ романы, чѣмъ пересуды?.. Но возвратимся отъ эпилога, позволеннаго мѣстными нашими отношеніями, къ самому предмету.

Отъ очерка двухъ главныхъ картинъ изъ кавказской и свѣтской русской жизни перейдемъ къ характерамъ. Начнемъ съ побочныхъ, но не съ героя повѣсти, о которомъ мы должны говорить подробно, ибо въ немъ и главная связь произведенія съ нашею жизнью и идея автора. Изъ побочныхъ лицъ первое мѣсто мы должны, конечно, отдать Матсиму Макенмоичу. Какой цѣлѣный характеръ, коренного русскаго добрыка, въ который не проникла точка заразы западнаго образованія: который, при минимал наружной холодности воина, наивнѣвнѣе боится опасности, сохраняетъ весь интеллектъ и душу, который любитъ природу внаудочку, се не восхищаетъ, любитъ музыку пули, потому что сердце его бьется при этомъ сильнее. Какъ онъ ходитъ за большою Бодою, какъ ухаживаетъ ее! Съ какою потеряннѣею лаской старато знакомца Печорина, усиливаетъ о его разбитіи! Какъ грустно ему, что Бода при смерти не вспомнитъ объ немъ! Какъ тяжело его сердцу, когда Печоринъ равнодушно протянулъ ему холодную руку? Свѣжая, непечатая природа! Чистая пылкая душа въ старомъ воинѣ! Вотъ типъ этого характера, въ которомъ стѣсняется наша древняя Русь! Но какъ онъ несетъ съ собою христіанскіе смиреніе, кротость, строгіе въ свои качества, говоритъ: *Что же я такое, чтобы обо мнѣ вспоминать передъ смертію?* Дѣло, дѣло мы не встрѣтались въ литературѣ нашей съ такимъ мыльнымъ и симпатичнымъ характеромъ, который такъ прилипаетъ къ намъ, что взять изъ коренного русскаго быта. Мы даже поспѣвали поспѣшно на автора за то, что онъ (132 стр.) не такъ было не разсѣиваетъ. Печоринъ въ разсѣиваніи съ Матсимомъ Макенмоичемъ въ ту минуту, когда Печоринъ въ разсѣиваніи или такъ, ординарный преданіе ему руку, когда такъ хотѣлъ ему кануться на шею.

За Матсимомъ Макимъ вѣдомъ сѣдуетъ Грушевичъ. Это

личность, конечно, не привлекательна. Это, въ полномъ смыслѣ слова, пустой малый. Онъ тщеславенъ. Не имѣя чѣмъ гордиться, онъ гордится своею строю юнкерскою шинелью. Онъ любитъ безъ любви. Онъ играетъ роль разочарованнаго — и вотъ почему онъ не нравится Печорину: онъ постыжливъ не любить Грушницкаго по тому самому чувству, по какому намъ съественно не любить человека, который насъ передразниваетъ и превращаетъ въ пустую маску, что въ насъ есть живая сущность. Въ немъ даже нѣтъ и того чувства, которымъ отличались прежніе наши воины, — чувства чести. Это какой-то выростъ изъ общества, способный къ самому подлому и черному поступку. Авторъ примиряетъ насъ нѣсколько съ этимъ созданіемъ своимъ, нездѣло передъ его смертью, когда Грушницкій самъ сознается въ томъ, что презираетъ себя.

Докторъ Вернеръ — матеріалистъ и скептикъ, какъ мистіе доктора Павла и кощія. Онъ дожиленъ бытъ поправится Печорину, потому что они оба понимаютъ другъ друга. Особенно остается въ памяти живое описание его лица (25 стр., ч. 2). Оба чертеса въ „Бѣлѣ“, Кабачъ и Азаматъ, описаны общими чертами, принадлежащими этому племени, въ которомъ единичное различіе характеровъ не можетъ еще дойти до такой степени, какъ въ кругу общества съ развитымъ образованіемъ.

Обратимъ вниманіе на женщинъ, особенно на двухъ героинь, которыя обѣ достигли въ жертву героя. Бѣла и княжна Мери образуютъ между собою двѣ яркія противоположности, какъ тѣ два общества, изъ которыхъ каждая вышла, и принадлежать къ числу замѣчательнѣйшихъ созданій поэта, особенно первая. Бѣла — это дѣвое, робкое и ни при чемъ, въ которомъ чувство любви развивается просто, естественно, и, развившись однажды, становится неопредѣлимо раню сердца. Не такова княжна — произведение общества искусственнаго, въ которомъ фантазія была распрямлена предѣла сердца, которая заранее вообразила себѣ героя романа, и хочетъ насильно воплотить его въ какомъ-нибудь изъ своихъ соблазновъ. Бѣла очень просто полюбилъ того

чувства, который, хотя и похитил ее нам, тому роштенеласе, но сдѣлать что по страху къ ней, какъ она думътъ, онъ сначала посвятить себя всего ей, онъ задарить дѣлы подарками, онъ утѣшастъ въ ей минуны: видя ей холодность, онъ притѣрается оглашнымъ и того-вымъ на нее. Но такъ-то мнѣлся въ ней въ природныя чувства похитилъ къ се-го вреню мечтательности, такъ-кимъ-то искусственнымъ воспитанемъ. Мы любимъ въ ней то сердечное чувствительное нѣжнѣе, которое заставило ее поднять стаканъ бѣдному Грушницкому, когда онъ, свирасеъ на свои дѣсны, глѣдно хотѣлъ въ нему выскочиться: мы понимаемъ и то, что она въ это время поврѣдѣла — по намъ только не нее, когда она оглашывается на Валлерю, бѣдѣ, чтобы мнѣ не замѣнила ей презрѣлаго поступка. Мы совсемъ не следуемъ за то на автора: напротивъ, мы отдаемъ всю сиротинность его на подательности, которая искусно скрываетъ черту предвзвѣда, не приносящаго чести обществу, именующему себя христианиномъ. Мы прощаемъ князю и то, что она увѣдалась въ Грушницкомъ его сѣрое нѣжнѣе, и заглялась въ немъ минимую жертвою гонимой судьбы. Замѣляемъ мнѣ-ходомъ, что эта черта не любя, вытѣла съ друга князя, нарисованной намъ однимъ изъ лучшихъ нашихъ повѣствователей. Но въ князя Мери что простекато елика ни въ естественнаго чувства состраданія, которымъ, такъ перѣемъ, можетъ гордиться русская женщина. Нѣтъ, въ князя Мери что было порывъ выжесаннаго чувства. Это доказана влѣстѣтвей любовь елика Печорину. Она полюбита въ немъ то необыкновенное, что исала, тѣль призракъ своего воображенія, которымъ увлекалась такъ легкомысленно. Тутъ мечта перешла изъ ума въ сердце, ибо и князя Мери свое она такъ въ естественнымъ чувствительнымъ. Бѣда, своею ужасною смертию, торжѣ искушала легкомыслѣ памяти своей объ умершемъ оцѣ. Но князя, своею участію только что получила заслуженное. Рѣшилъ урокъ ельмъ князю, у которыхъ природа чувства и названа искусственнымъ воспитанемъ, и сердце испорчено фальшью! — Какъ мила, какъ грез-

цѣвила на Бога въ ея престоѣ! Какъ приторна мнѣла Мери въ обществѣ мужчинъ, со всѣми реченьями ея вымѣнами! Бѣда быть и писать, бо му что ея хочется пить и плакать, и потому, что она беснѣтъ тѣмъ своего друга. Книжки Мери есть для того, чтобы ее слушали, и тогда есть, когда не слушаютъ. Если бы можно было слыть Богу и Мери въ одно лицо: тогда бы идеаль женщины, въ которой пришла сохранилась бы во всей своей прелесть, а съѣское образъ ея явится бы не однимъ парижскимъ доскомъ, а чѣмъ-то болѣе существеннымъ въ жизни.

Мы не считаемъ за нужное упомянуть о Верѣ, которая есть лицо глупое и непривлекательное ничѣмъ. Это она въ жернь терся повѣстей — и еще болѣе жерня авторской неохотливости, чтобы запутать интригу. Мы не обращаемъ также вниманія на два маленькіе эскиза: *Тамани* и *Фингалетта*, при двухъ значительныхъ. Они только служатъ дополненіемъ къ тому, чтобы развить болѣе характеръ героя, особенно послѣдняя повѣсть, гдѣ виденъ ратаиизмъ Песторина, согласный со всѣми прочими его свѣдѣніями. Но въ Тамани мы не можемъ быть вниманія пропустить этой контрабандистки, причудливаго созданія, въ которомъ отчасти слышится возмущенная неопредѣленность сержанта Гетерой Миньонна, на что начекасть и самъ авторъ и граціозная дикость Эмеральды Гюго.

Но всѣ эти событія, всѣ характеры и подробности примыкають къ герою повѣсти, Песторину, какъ нити паутины, обремененной яркими прыгающими въськомыми, примыкають къ огромному пауку, который опуталъ ихъ своею сѣтью. Вѣдь намъ же подробно въ характеръ героя повѣсти — а въ немъ раскроемъ главную связь произведенія съ жизнью, равно и мысль автора.

Песторинъ 25-ти лѣтъ. Съ виду онъ еще мальчикъ, выданный бы ему не болѣе 23-хъ, но, взглядываетъ пристальнѣе, вы, конечно, видите ему и 30. Лицо его хотя бѣдно, но еще свѣжо, по долготѣ наблюденія, вы замѣтите въ немъ слѣды морщины, пересѣкающихъ одну другую. Кожа

его имѣть женскую пылкость, патлы бѣдныя и думы, то вѣтъ движенійхъ тѣла признаки нерычестной слабости. Когда онъ смѣется, глаза его не смѣются, потому что въ глазахъ горитъ душа, а душа въ Печоринѣ уже похлѣла. Но что жь это за мерзвецъ 25-ти лѣтъ, урядный, прежде ерза? Что за мальчишья, покрытая морщинами старости? Какая причина такой чудесной метаморфозы? Гдѣ внутреннй корень болѣзни, которая изеунила его душу и ослабила его тѣло?—Но послушаемъ его самого. Вотъ что онъ самъ говоритъ о своей юности.

Въ первой его молодости, съ той мицунъ, когда онъ вышелъ изъ школы ронныхъ—онъ сталъ наслаждаться бѣшено всѣми удовольствіями, которыя можно достать за деньги, и, разумеется, удовольствія эти ему опротивили. Онъ пустился въ болѣзнь свѣтъ: общество ему надоѣло; онъ влюблялся въ свѣтскихъ красавицъ, бывъ лѣвымъ, но ихъ любви, разрывала только его воображеніе и самолюбіе, а сердце оставалось пусто. Онъ сталъ учиться, и науки ему надоѣли. Тогда ему стало скучно и, какъ-то онъ хотѣлъ разогнать свою скуку чтеніемъ новыхъ книгъ, но ему стало еще скучнѣе. Гдѣ душа, говоритъ онъ, испорчена свѣтомъ, воображеніе безпокойно, сердце несчастно, ему все мало, а жизнь его становится пустѣе день ото дня. Есть болѣзнь физическая, которая носитъ въ простонародьи неопытное названіе собачьей старости: это вѣчный голодь тѣла, которое ничѣмъ насытиться не можетъ. Этой болѣзни физическою соотвѣствуетъ болѣзнь душевная—*скука*—вѣчный голодь развращенной души, которая ищетъ сильныхъ ощущеній, и ими насытиться не можетъ. Это самая высшая степень интѣль въ человѣкѣ, происходящая отъ раннато развращенія, отъ дѣтской или промѣщенной юности. То, что быдло въ тѣло зашло въ душахъ развращенныхъ безъ энергии, рокохотитъ на степень голодной, несчастной скуки въ душахъ сильныхъ, привившихъ къ тѣлу бѣдъ. Болѣзнь она и та же, а по корню своему и по характеру, но различается только по тому темпераменту, на который нападаетъ. Эта болѣзнь уживается въ чувствахъ чувствительныхъ,

даже состраданіе. Вспомнимъ, какъ Печоринъ обрадовался быто раю, когда замѣнилъ въ себѣ это чувство послѣ разлуки съ Вѣрой. Мы не вѣримъ тому, чтобы въ этомъ живомъ мертвецѣ могла сохраниться любовь къ природѣ, которую приписываетъ ему авторъ. Мы не вѣримъ, чтобы онъ могъ забываться въ ея картинахъ. Въ этомъ случаѣ авторъ перитъ цѣлыи съ характера — и едѣ ли своему герою не приписывать собственнаго чувства. Человѣкъ, который любитъ музыку только для индиференціи, можетъ ли любить природу?

Евгеній Онегинъ, участвовавшій нѣсколько въ рожденіи Печорина, страдалъ еще же болѣе; но онъ въ немъ остался на высшей степенн знанн, потому что Евгеній Онегинъ не былъ одаренъ энергіей душевной, онъ не страдалъ сверхъ знанн гордостью духа, жаждоу власти, которую страдаетъ новый герой. Печоринъ скучалъ въ Петербургѣ, скучалъ на Кавказѣ, бѣгалъ скучать въ Персию; но эта скука его не проходила даромъ для тѣхъ, которые его окружаютъ. Рядомъ съ нею воспитана въ немъ непреодолимая гордость духа, которая не знаетъ никакой преграды, и которая приноситъ въ жертву все что ни попадется на пути скучающему герою, лишь бы только ему было весело. Печоринъ захотѣлъ лабана во что бы то ни стало, — онъ его достаетъ. У него врожденная страсть противорѣчить, какъ у всѣхъ людей, страдающихъ властолюбіемъ духа. Онъ неспособенъ къ дружбѣ, потому что дружба требуетъ уступокъ, обычныхъ для его самолюбія. Онъ смотритъ на всѣ случаи своей жизни, какъ на средство для того, чтобы найти какое-нибудь противоядіе скукѣ, его свѣдающей. Высшее его веселье — разочаровывать другихъ! Несблѣтнѣе ему изсталоженіе — сорвать цвѣтокъ, подышать имъ минуту и бросить! Онъ самъ сознается, что чувствуетъ въ себѣ эту ненасытнѣю жажду, поглощающую все, что встрѣчается на его пути; онъ смотритъ на страданн и радости другихъ только въ отношенн къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую его душевныя силы. Честолюбіе подавлено въ немъ обоготельствами, но оно проявляется въ

другомъ жить, въ жаждѣ власти, въ удовольствіи подчинять своей волѣ все, что его окружаетъ... Самое счастье, по его мнѣнію, есть только высшеченная гордость... Первое страданіе даетъ ему познаніе объ удовольствіи мучить другого... Бываютъ минуты, что онъ понимаетъ вампиромъ... Половина души его высохла, а осталась другая, живущая только жгѣмъ, чтобы мѣривать все окружающее... Мы слыли въ одно въ черты этого ужаснаго характера — и намъ стало страшно при видѣ внутренняго портрета Печорина!

На кого же онъ напасть въ порывахъ своего неукротимо востолбѣи? На комъ испытывать непомерную гордость души своей? На бѣдныхъ женщинахъ, которыхъ презираетъ. Взглядъ его на прекрасный полъ обнаруживаетъ материалиста, пытающагося французскихъ романовъ погонять. Онъ замѣчаетъ въ женщинахъ породу, какъ въ лошадахъ: все примѣны, какія ему правятся въ нихъ, касаются только свойствъ пласенныхъ: его занимаютъ правильныи носъ, или бархатныи глаза, или бѣлые зубы, или какой-то тонкій аромать... По его мнѣнію, первое приспособленіе рѣшается все дѣло въ любви. Если женщина даетъ ему только почувствовать, что онъ долженъ на нее жениться — прости, любви! Его сердце превращается въ камень. Одно препятствіе только раздражаетъ въ немъ мнимое чувство нѣжности... Вспомнимъ, какъ при возможности потерять Вѣру, она стала ему дороже всего... Онъ бросился на колѣи и полетѣлъ къ ней... Конь паломъ на пути, и онъ плакать какъ ребенокъ, потому только, что не могъ достигнуть своей цѣли, потому что его неприкосновенная власть какъ будто была обижена. Но онъ съ досадою припоминаетъ эту минуту слабости и говоритъ, что всякій, рыкнувъ на его слезы, отвернулся бы отъ него съ презрѣніемъ. — Какъ въ этихъ словахъ слышна его неприкосновенная гордость!

Этому 25-лѣтнему сластолюбцу попадались на пути еще много женщинъ, но особенно замѣчательны были дѣла Бѣла и княжна Мери.

Первую развратить онъ чувственно, и самъ увлекся чув-

страми Вторую разгадать душевно, и тому, что не могъ разгадать чувственно, онъ безъ любви шунить и лгать любовь, онъ искалъ разгадки своимъ сердцемъ, онъ забывался мимолетно, какъ сыналъ душа заливается мыслями, и тутъ же забывалъ стихи, потому что, какъ человекъ опытный въ делахъ любви, какъ знатокъ женского сердца, онъ предполагалъ, что это всего драма, которую по прихоти своей разигрываетъ. Разражалъ мечту и сердце несчастной девушки, онъ говорилъ все тѣмъ, что сказать ей я не люблю васъ.

Мы никакъ не думаемъ, чтобы прощенье было такъ легко даваемо Петровину, чтобы онъ ничего не забывалъ, какъ онъ говорить въ своемъ журналь. Эта черта ни изъ чего не вытекаетъ, и ея нарушена опытъ жизни съ этого характера. Человекъ, который, похоронивъ жену, могъ въ тотъ же день замѣяться, и при напоминаньи о ней Маврикия Мавриковича, только слегка поѣтьшишь и отвернуться, — такой человекъ неспособенъ подчинить себѣ влести прошедшаго. Это душа сильная, но черствая, по которой все впечатлѣнія скотить почти непримѣнно. Это холодный и расчетливый *esprit fort*, который не можетъ быть способенъ ни измѣняться природою, требующего чувства, ни хранить въ себѣ слѣды минувшаго, слишкомъ тяжкого и щекопалнаго для разражающаго его самого. Эти черты обыкновенно берегутъ себя, и стараются избежать непрятныхъ ощущеній. Вспомнимъ, какъ Петровинъ закрылъ глаза, замѣтивъ между разсѣянными слезъ обрадованными трупъ убитаго имъ Грушвицкаго. Это сдѣлать онъ сдѣлалъ только, чтобы избежать непрятнаго впечатлѣнія. Если авторъ приписываетъ Петровину такую влесть прошедшаго надъ нимъ, то едва ли это не съ тѣмъ, чтобы оправдать нѣсколько возможность его журнала. Мы же думаемъ, что такие люди, какъ Петровинъ, не могутъ и не могутъ вести своихъ записокъ — и вотъ главная ошибка въ отношеніи къ исполненію. Гораздо лучше бы было, если бы авторъ разсказать все эти событія отъ св. его имени: такъ неужели бы онъ сдѣлать и въ отношеніи къ возможности смысла

и въ художественномъ, но своимъ личнымъ участіемъ такъ развѣстать могъ бы нѣсколько смягчить непріятность представленнаго впечатлѣнія, производимаго героемъ повѣсти. Тамъ ошибка допущена за собою и другіе; рассказъ Печорина нѣсколько не отличается отъ рассказа самого автора, — а, конечно, характеръ первого долженъ бы быть отраженъ собіею чертою въ самъ столъ его журнала.

Извлечемъ же въ вѣстившихъ словахъ все то, что мы сказали о характерѣ героя. Ангелъ-счастіе развѣщенности и всѣхъ порывовъ босланна — пороки въ немъ сомнительную силу, скука же, составившаяся съ немомъ горечью духа востолбываго, произвела въ Печорина злобу. Главнымъ же корень всему сѣу западное воспитаніе, джже великаго чувства въры Печорина, такъ онъ самъ говорить, убѣжденъ въ одномъ только, что онъ въ одинъ претавъ, гетеръ роился, что хуже смерти будго ничего не случилось, а смерть не минуешь. Эти слова — ключъ ко всемъ его поппамъ: въ нихъ разгадка всей его жизни. А между тѣмъ эта душа была сннняя душа, которая могла содринуть что-то высокое. Онъ самъ въ одномъ мѣстѣ своего журнала пишетъ въ себѣ то призваніе, говоритъ: „Зачѣмъ я живу?“ Для какаго цѣли я родился? А, вѣрно, она существовала, и вѣрно, было мнѣ назначеніе высокое, потому я чувствую въ душѣ своей сннн. Изъ горлата стрелы пустыхъ и неблагодарныхъ я вынуть твердь и холоденъ, какъ ледъ, но утратить нѣтъ ни въ однородныхъ стремленіи.“ Когда взглянешь на снгу той погибшей души, то становится жгн сѣ, какъ одной изъ жертвъ тяжелой болѣзни вѣка...

Извѣтывая подробно характеръ героя повѣсти, въ которомъ снретъ типизація всѣхъ соблнн, мы приходимъ къ двумъ главнымъ вопросамъ, разрѣшеніемъ которыхъ заключаемъ свое рсужденіе: 1) какъ свѣтъ чотъ характеръ съ современнымъ казнью? 2) возмжнъ ли онъ въ мрѣ изящнаго искусства?

Но прежде, чѣмъ рзрѣшить эти два вопроса, обратимся къ самому автору и спросимъ его: что онъ самъ думаетъ

о Печоринѣ? Не дастъ ли намъ онъ какого-нибудь намека на свою мысль и на ея связь съ жизнью современника?

На 140 стр. 1-й части говоритъ авторъ:

„Можетъ-быть, некоторые читатели захотятъ узнать мое мнѣніе о характерѣ Печорина.—Мой отвѣтъ —заглавіе этой книги „Да это злая проія“, скажутъ они. —Не знаю“.

Итакъ, по мнѣнію автора, Печоринъ есть герой нашего времени. Въ этомъ выражается и взглядъ его на жизнь, намъ современную, и основная мысль произведенія.

Если это такъ, стало быть, въ насъ нѣтъ тяжело болѣнь — и въ чемъ же заключается главный недугъ его? Если судить по тому болѣзному, которымъ дефицируетъ фантазія нашего поэта,—то этотъ недугъ въ насъ заключается въ гордости духа и въ низости пресмыченнаго тѣла! — И въ самомъ дѣлѣ, если обратимся мы на Западъ, то найдемъ, что горькая проія автора ест. тяжкая правда. Въ гордой философій, которая духомъ человѣческимъ думаетъ постигнуть все тайны міра, и въ суетной промышленности, которая угождаетъ напередѣнь всѣмъ прихотямъ истощеннаго настанкленіями тѣла — таковы въ этихъ двумя крайностями выражаетъ самъ собою недугъ, его одѣлывающій. Не гордость ли человѣческаго духа видна въ этихъ злоупотребленіяхъ личной свободы воли и разума, какія замѣтны во Франціи и Германіи? Развѣрагъ правоты, унижающій тѣло, не есть ли это, признанное необходимымъ у многихъ народовъ запада и вошедшее въ ихъ обычаи? — Между этими двумя крайностями какъ не полюбнуть, какъ не вздохнуть душой, безъ милостивой любви, безъ вѣры и надежды, которыми только и можетъ поддерживаться ея земное существованіе?

Несомнѣнно намъ также съ этомъ ужасномъ недугомъ изъ насъ. Проникните всею снтою мысли въ глубину величавныхъ ея произведеній, въ которыхъ она бываетъ всегда вѣрна современнои жизни и отгадываетъ все ея задушевные тайны. Что выразить Гёте въ своемъ Фаустѣ, этомъ пономъ нинѣ нашего вѣка, если не тотъ же недугъ? Фаустъ не представляетъ ли гордость несмылаго ничѣмъ духа и

счастливое, соединенные вместе? Манфред и Донъ-Жуанъ Байронъ — не суть ли эти оба воедино, слиты въ Фаустъ въ одно, и въ которыхъ каждая личность у Байрона отдельно, въ особомъ герое? Манфредъ не есть ли торжество чистого, честного духа? Донъ-Жуанъ не единственно ли счастливое? Въ эти три героя — три герцога — подумайте нашего века, три огромные личности, въ которыхъ по-истинѣ сосредоточена то, что есть рожественныхъ чертахъ предвѣдѣть будущее современнаго человѣчества. Этимъ величественными характеристиками, которые создаютъ въ образе духа герцога ихъ посылъ нашего столѣтія, ипотетическо по большому частіи вся поэзія современнаго Запада, по мелочамъ изображая то, что въ созвѣзіяхъ Гете и Байрона является въ поэтическомъ и величавой чистотѣ. Но въ этомъ-то и состоитъ одна изъ многихъ причинъ удивленія, — не только то, что идеально велико въ Фаустѣ, Манфредѣ и Донъ-Жуанѣ, то, что имѣется въ нихъ исключительность всемірную въ отношеніи къ современной жизни, то, что возведено до художественнаго идеала, — изобразительное искусство французскихъ, англійскихъ и другихъ странъ, не имѣя и не вѣдая то такой-то поэзіи и поэмы — исключительности! Это, будучи въ себѣ прелестью — безобидно, можетъ быть, и вредно къ міру и единство только при утратѣ глубокого прелестью значенія, которымъ исключительно считается оно само по себѣ отвлеченное существо. Это, какъ маленькіе предметы художественнаго произведенія, можетъ быть и обрабатываемо только грубыми чертами и исключительна. Такимъ является оно въ „Аду“ и „Донъ-Жуанѣ“, въ „Манфредѣ“ Шелли, и, наконецъ, въ трехъ великихъ произведеніяхъ нашего века. Поэзія можетъ изобразить подуми это послѣднее главною предметами своихъ созданій, но только въ низшихъ значительныхъ размѣрахъ, если же она будетъ дробить ихъ по мелочамъ, тѣмъ болѣе въ подробности испортитъ жизнь, и здѣсь черпать тѣмъ болѣе изъ себя для матеріаловъ своихъ созданій, — тогда уничитъ она свое бытіе, и величавое, прелестью, и создать неже самъ и исключительности. Поэзія допустить и не должна герцога въ свой міръ, но въ видѣ Ти-

тава, а не Пинкля. Поэтому-то одни только гениальные поэты первой степени осилили трудную задачу изобразить какого-нибудь Магбета или Кайна. Не считаемъ за нужное прибавлять, что, грѣхъ того, что вещь можетъ быть введена исторически, ибо жизнь наша не изъ одного же добра состоится.

Безлики, подумъ, отражающіеся въ великихъ произведеніяхъ поэзіи въѣда, быть на Западѣ результатомъ тѣхъ двухъ болѣзней, о которыхъ я имѣю случай говорить, представляя читателямъ свой взглядъ на современное образованіе Европы. Но откуда же въ какихъ же данныхъ у насъ могъ бы развиться тотъ же подумъ, такимъ страдаетъ Западъ? Чѣмъ мы его заслужили? Если мы въ нашемъ близкомъ знакомствѣ съ нимъ и могли заразиться чѣмъ-нибудь, то, конечно, однимъ только подумомъ воображаемымъ, но не действительнымъ. Выразимся примѣромъ: случается намъ иногда постъ долгихъ торжественныхъ сношеній съ опасною болѣзнымъ человекомъ, воображать, что мы сами хвораемъ тою же самою болѣзнію. Вотъ, по нашему мнѣнію, гдѣ заключается разгадка созданію того характера, который мы разбираемъ.

Печоринъ, конечно, не имѣетъ въ себѣ ничего типическаго; онъ и не можетъ имѣть его: онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ нигмеевъ зла, которыми такъ обильна теперь повѣствовательная и драматическая литература Запада. Въ этихъ словахъ отвѣтъ нашъ на второй изъ двухъ вопросовъ, предложенныхъ выше, на вопросъ историческій. Но не въ этомъ еще главный его недостатокъ. Печоринъ не имѣетъ въ себѣ ничего существеннаго, относительно къ чисто-русской жизни, которая изъ своего прошедшаго не могла извергнуть такого характера. Печоринъ есть лишь только призракъ, отбросенный на насъ Западомъ, тѣнь его недуга, мелькающая въ фантазіи нашихъ поэтовъ, un *mirage de l'occident*. Тамъ онъ герой міра действительнаго, у насъ только герой фантазіи — и въ этомъ смыслъ герой нашего времени. Вотъ существенный недостатокъ произведенія... Съ тою же самою искренностью, съ какою ми

сначала привывшаяся к истинным талантам автора во создании многих цѣльных характеровъ, въ описаніяхъ, въ даръ разсказа, съ тѣмъ же дерзновеніемъ порицаемъ мы главную мысль сознанія, осуществившуюся въ характеръ героя. Да, и величавыми линиями Кавказа, и чудные образы горскаго джигы, и предвзвѣналыя Бѣта, и неустаннымъ мыслямъ, и фантастическая измѣненія Тамана, и славныя, добрыя Максимъ Максимовичъ, и даже дурной мысля, Грушницкии, и тѣмъ тонкія черты свѣтлаго обществѣ России, все, все приложено въ повѣстихъ въ приращу главнаго характера, который изъ всей жизни не выберешь, все принесено ему въ жертву, и въ этомъ главномъ и существенный недостатокъ изображенія.

Несмотря на то, произведение порою порою и въ своемъ существующемъ недовѣдѣ имѣетъ глубокое значеніе въ жизни русскаго народа. Было наше дѣло, такъ сказать, на дѣлѣ рѣшилъ, почти противоположныя условія, изъ которыхъ одна приближаетъ въ міръ, существующемъ, въ міръ чисто русскому, другая въ какомъ-то отвлеченномъ мірѣ призракомъ мы живемъ *на самомъ дѣлѣ* своею русскою жизнью, и думаемъ, мечтаемъ еще жить жизнью Запада, съ которыми не имѣемъ никакихъ серьезныхъ сношеній въ исторіи промышленной. Въ нашемъ коренномъ, въ нашей дѣйствительной русской жизни мы хранимъ богатое зерно для будущаго развитія, которое, будущи одобрено одними только нечуждыми и чуждыми образованія значащаго, безъ его вредныхъ зѣлей, на нашихъ свѣдѣхъ можетъ развиться зерномъ величавымъ, но въ нашей мечтательной жизни, которую выразить на насъ Западъ, мы дерзновенно, безъ страха, страшемъ его подумамъ и вски примѣняемъ на него свое малое разсѣлованіи у насъ ни изъ чего не вытекающе. Поэтому что мы до сихъ своимъ, въ этомъ странномъ крестѣ, которыми душитъ насъ Мефистофель-Западъ такъ мелъ самъ собой гораздо хуже, нежели мы издѣлать. Прямое, что въ разсѣлованіи произведеніи, и оно самъ собою будетъ ясно. Все содержаніе повѣсти г-на Лермонтова, грѣмъ Петербурга, принадлежать на-

ней существенной жизни: но самъ Печоринъ, за исключеніемъ его анкетъ, которая была только началомъ его нравственной болѣзни, принадлежитъ міру мечтательному, произвольному въ насъ ложнымъ отраженіемъ Запада. Это призракъ, только въ мірѣ идеи фантазіи имѣющій сущность.

И въ этомъ отношеніи произведеніе г. Лермонтова носитъ въ себѣ глубокую истину и даже нравственную важность. Онъ выдаетъ намъ этотъ призракъ, принадлежащій не ему одному, а многимъ изъ поколѣній являющихся, за что-то дѣйствительное, и намъ становится страшно, и вотъ полезный эффектъ его ужасной картины. Поэты, получившіе отъ природы такой даръ предугаданія жизни, какъ г. Лермонтовъ, могутъ быть изучаемы въ своихъ произведеніяхъ съ великою пользою, относительно къ нравственному состоянію нашего общества. Въ такихъ поэтахъ, безъ нихъ вѣдома, отражается жизнь, имъ современная: они, какъ воздушная арфа, доносятъ своими звуками о тѣхъ тайныхъ движеніяхъ атмосферы, которыхъ наше тупое чувство и замѣтить не можетъ.

Употребимъ же съ пользою урокъ, предлагаемый поэтомъ. Бываютъ въ человѣкѣ болѣзни, которыя начинаются воображеніемъ, и потомъ, мало-по-малу, переходятъ въ сущность. Предостережемъ себя, чтобы призракъ недуга, сильно изображенный кистію свѣзлаго таланта, не перешелъ для насъ изъ міра праздной мечты въ міръ тяжелой дѣйствительности.

С. Шевыревъ.

Стихотворенія М. Лермонтова. Санктпетербургъ. 1840

*) У насъ нѣтъ поэтикъ: истина грустная и вѣсьма нѣтъ-пая. Кой-гдѣ случайно сверкнувшая искра чувства или одушевленія, полубога, поцѣно промелькнувшій въ мертво-й лирической пустынѣ, стонъ сердца, который слегка прозвучалъ и умеръ въ нестройномъ шумѣ глупыхъ и пу-

*) „Сынъ Отечества“ 1841 г., т. I, № 1. Статья А. Никитенко.

стихъ стихору, — все то думно и мучительно: „У насъ нѣтъ поэзии!“ — Отчего же нѣтъ ея? Вѣрно въ этотъ часъ нѣтъ рѣшени бѣлишествомъ, которое намъ вѣкъ сузлитъ жить и умереть безъ поэзии, это вѣкъ потяжелевшими, вѣкъ матеріальныхъ стремлений, комфорта и комфорта машинъ, вѣкъ спекуляций и вѣчныхъ расчетовъ.

Бѣдны вѣкъ! такъ, въ сузлении, а вслѣдствіе перелѣть по-томствомъ съ гдѣмъ лѣтомъ мѣсяца, съ такимъ почтѣмъ ни оинъ нѣтъ двѣхъ собраться не изъяснитъ перелѣть ничто! Вѣкъ безъ поэзии все равно, что лѣтъ безъ любви, что прекрасны уста безъ улыбки и пошлутъ, что природа безъ лѣтъ, что лѣто безъ души, и тѣмъ безъ вѣры въ свою свободу. Между тѣмъ ты такъ мучаешься и тѣмъ же! Не страшно, вѣрно безмерна, столько полей. Неполно и освобождение, дорожка, вѣдущая цѣлою ея вѣнца, сорванного бурей, какъ не слышно въ землѣ; съ тобою духъ тѣмъ же, образованности, а разумъ все неслучайный, все совершеннѣе, но въ чему все это? Въ тебѣ нѣтъ поэзии, и поэтому сузлитъ тебѣ на усидчивое, безлинейное безмеріе съ твоими дѣлами, хлѣбными скрижалями и тѣмъ же, столько же хлѣбное, какъ они; съ твоимъ шумомъ, который царитъ на нѣтъ старому и которому они отказываютъ въ словахъ восторгахъ, если въ немъ не слышно слова во имя искусства.

Но не клеветать же, что говорить о тебѣ? Въ самомъ дѣлѣ, тебѣ больше всего сузлитъ, за него полнотѣльности; но справедливо ли? Чѣмъ ты хуже другихъ въ томъ отношеніи? Когда же лѣтъ не поэзии тѣмъ же, но, все-таки, прекрасныхъ, бѣтъ земли? Когда масса народныхъ не предпочли, ни селѣтвомъ, вѣщественной вѣщамъ уютному, умственному, духовному дѣлу? Но вѣкъ, говорить намъ порицаетъ его, свинцомъ дѣлъ увѣсѣлъ вѣщественною стрѣлою все пристрастие къ выгодамъ, для чего все пристрастие, да иное что, какъ оружье подвѣшенъ. Посмотрите, они самую науку склонили подъ иго своихъ страстей. Она уже не есть цѣль жизни, предметъ благо-гоубытныхъ жертвъ ума, исторія, они не держатъ осквернить

духовными и физическими потребностями: она, просто, средство нужды истинных или мнимых, а не представительница вечных истинъ, стизла небо, потому что ей были чужды грѣхъ и скверны земли. Ее заковали въ цѣпи прикованія: ее вѣкутъ, какъ раба, по морямъ, лѣстѣннымъ дорогамъ, салаютъ по козлы, ставятъ у ограда или фабричнаго станка, лѣтають прости, пашь, рыть землю, въ пыли, въ дыму не узнаешь больше царственной ея осанки: бѣнецъ истины сброшенъ съ ея чела и разбитъ: изъ обломковъ его люди чеканятъ монету. Осмѣлите ли она, почувствовавъ свое достоинство, бросить взглядъ презрѣнія на низкую долю, которой мы ее поработили, и возвысить голосъ свой въ пользу чистыхъ, высокихъ учений ума, — тогда съ крикомъ: «умоурыне! умъ рѣше! прочь его! Наука! полно говоришь, вѣрь — дѣла, что вѣдать, давай намъ удовольствія и удобства»! Право, мы не понимаемъ, что тутъ ужаснаго. Люди, наконецъ, поняли, что наука существуетъ для нихъ, а не они для науки; и слава Богу! хвата въку, принесшему съ собой это прекрасное убѣжденіе. Наука стала тѣмъ, чѣмъ она должна быть: орудіемъ въ руцѣ человѣка для расширенія его власти надъ природою, истиннымъ, великимъ могуществомъ, полнымъ дѣль и результатовъ. Неужели было лучше, когда умъ, съ высоты возможныхъ имъ понятій и системъ, смотрѣлъ съ презрѣніемъ на жизнь и дѣятельность, и, гордыя своею изгодливою ницетою, хотѣли, събѣдаемъ голодомъ недосягаемыхъ истинъ, вмѣсто приставки одѣжы, въ лохмотьяхъ изъ снѣготизмовъ и гниотей, распылять свои мысли по всѣмъ сторонамъ безцрѣднаго царства идеи, и тонуть съ ними въ неодолимыхъ безднахъ пустоты и мрака. Теперь, вымысли, оль схватистическои грезѣ, одѣвши въ факты, румяный, веселый, соединенный ласковымъ съюромъ съ природою, за которого взялъ огромное приданое — вѣще и силы, онъ ходитъ домовладыкою по землѣ, смотритъ за вѣщью, все наблюдаетъ, распорядается дѣлами, а не грезыми, и строитъ себѣ на славу великолѣпное зданіе счастія и благоденствія человѣческаго.

Аналітичне, поглядістичне, или, если рами умітно, мімічическе направленіе вѣка не только не вѣрнѣе и не снѣ, но, напротивъ, оно оказало и оказиваетъ сіи великіи услуги. Ему она обязана тѣмъ, что перестала бѣть архі-бесами и пошлостю жизни, а сѣдлалась сама жизнью. Знаніе природы, глубокое изученіе историческаго бѣна и паблнченіе сердца челѣвческаго сѣдлались опорою тѣні, ко-торымъ помѣлѣ, что творческій мѣселъ его преназначено таке рішати на землѣ великіи задачи, а не играть въ мечты и мучствованія. Поэзія перестала забавлять челѣвѣка воздушными призраками и баснями, которые снѣ онѣрмалъ съ пресрѣнїемъ всякимъ рѣшѣ, такъ скоро отъ унынутого умовенія празной нѣги и нѣгой переходить въ прѣзвому и цѣлительному существованію. Люди палили въ нѣе богатства тѣлѣстности, а не мнѣмѣлѣ, и, бѣли, что въ сѣ высотѣхъ созданійхъ, въ сѣ бѣжественныхъ идеалахъ господствуетъ оинѣи и тогъ же вѣчныи законъ бѣнѣей, они искоренились снѣ съ полною повѣренностью, потому что перестали бѣаться сѣбѣннѣи и обмана, за которыми всегда сѣдловало горькое разочарованіе существованію.

Не споримъ, что то бѣемъ этимъ выгодамъ бѣла при-мѣниваются злоупотребленія. Но добродѣтельность многіе превращаютъ въ ограниченныи цинизмъ грубыхъ матері-алѣныхъ влеченій, а изъ стремленія снѣ имѣрѣть все мѣ-рою цѣлительнаго челѣвческаго добра, и вывели законъ самаго бѣдушнѣаго и хѣлѣднѣаго зѣома. Но чего не стра-вляютъ злоупотребленія! И при сѣбѣ, шевномъ совершаются утопленія, привоинціи въ трѣпетъ сердце, а дни сѣста-вляютъ лучшѣю и сѣвнѣю нашего существованія. Извѣстно, что самое таинѣе и самое оинѣе жѣо на сѣбѣ есть то, которое діѣлается изъ добра: до сѣдѣваетъ ли иль того, что не на сѣбѣ бѣло добру? Стоитъ только бѣати въ рѣны тѣлѣ, которые грумѣтся и живутъ въ цѣхъ вѣтнннхъ потребно-стѣи вѣла, и мѣлѣ уверѣть, что все великое, все бѣлѣо-творное для челѣвчѣскѣи цнннѣи рѣлѣтѣ снѣму, а все мѣлѣе, лауѣеѣе прикидѣтѣ такъ вѣдѣмъ. Тогда одно сердце челѣ-вѣческае снѣ — теорія, въ которое, вырабатывается

яды: природа и исторія этого не дѣлають, хотя въ наше время многіе плуты и глупцы полагають, что ихъ прекрасныя качества суть, напримѣръ, прямое слѣдствіе паденія Западной Римской имперіи, и что потому нѣтъ ужъ никакой возможности переимѣнить ихъ на другія: тутъ, видите, пришлось бы спорить съ цѣлыми вѣками и огромными міровыми причинами.

Поэты наши еще жаждутъ на общество, на недостатокъ къ нимъ сочувствія и еще на что-то: кажется, на неспособность понимать ихъ. Это несправедливо. Общество удивляется истиннымъ талантамъ и слушаетъ съ любовью ихъ вдохновенныя пѣсни, если ихъ можно понять; оно вознаграждаетъ за нихъ тѣмъ, что любитъ таланты—лабрами; и тѣмъ, что оно любитъ само, и чего, повидимому, не отвергаютъ и они—золотомъ. Подождемъ, что общество, жаждущее высокихъ впечатлѣній искусства, немногочисленно; но что за дѣло до этого? оно уже есть и, слѣдовательно, есть кому замолвить за насъ слово потомству, ежели вы того хотите. Впрочемъ, къ чему этотъ жалкій ропотъ на невниманіе людей? Къ чему это малодушное ожиданіе чуждаго призыва къ вдохновенію, которое есть наилучшій даръ неба, и которое тотчасъ оставляетъ неблагодарное сердце, какъ скоро оно дерзнетъ осквернить его преступною мыслию порока? Въ великихъ задачахъ искусства есть одно драгоценное свойство,—это сила врачевать скорби души, посвятившей себя имъ, сила пробуждать въ ней благородно-гордое сознаніе своего достоинства, и дѣлать ее независимою отъ мелкихъ тревогъ эпохи и мѣста, гдѣ мы живемъ. Кого искусство не благословило этимъ мирнымъ, домашнимъ, внутреннимъ счастьемъ, этою свободою сердца, того не благословило оно и дарами творчества. Душа поэта, какъ храмъ, должна быть запѣта для мелкихъ ежедневныхъ случаевъ, притязаній и силеи общества: пусть она отвергается только въ тѣ торжественныя дни, когда сердца людей просятъ мира и молитвы.

Итакъ, гдѣ же причина печальнаго отсутствія поэзии въ нашей литературѣ? Мы думаемъ, что ее надобно искать

не столько въ вещахъ и обстоятельствахъ, сколько въ лицахъ, то-есть въ полуразвитіи и полудѣятельности нашихъ талантовъ. Что такое для нихъ поэзія? Составляетъ ли она вѣру и убѣжденіе ихъ сердца? способъ, какимъ должны они раскрыть и выразить свое нравственное могущество, свое назначеніе въ мірѣ? подвигъ, который должно создать усиліями ума и воли и запечатлѣть пожертвованіями? Надо-бно съ твердостью перевести роковой отвѣтъ на эти во-просы: онъ печаленъ, потому что въ немъ слышите вы-дичието этого вѣтъ! "поэзія для насъ мечта златая, слад-кій восторгъ, величественное движеніе, — все, чѣмъ страстными духовный сибаритизмъ величаетъ предметы своихъ нецѣло-мушренныхъ удовольствій, — все, только не искусство. Она для насъ не цѣль возвышенной дѣятельности, а средство расшевелить сонное существованіе, утоленіе неистовой жажды впечатлѣній, орудіе уточеннаго эгоизма, который потому только бросается на отвѣщенные блага, что снѣп-комъ лѣнивъ для пріобрѣтенія вещественныхъ. Чего ждать отъ такого настроенія души, кромѣ *лирическихъ порывовъ*? Не требуйте отъ него *созаній*: для созданія нужна сила. Мы не разнимаемъ ни одной поэтической идеи глубоко, по-тому что что разнѣе было бы уже похоже на дѣятель-ность: мы довольствуемся показать читателямъ на нашемъ сердцѣ нѣсколько перецуганныхъ слѣдовъ, которые она оставила на немъ въ молнииномъ своемъ бѣгѣ. Мы любимъ поэзію, когда она дѣлаетъ наше призрачное, спазматиче-ское чувство, и бѣжимъ ее, такъ скоро она приметъ вѣщи-ственную и строгую оканку искусства, пробуя отъ насъ нашей воли и силы ума, требуя цѣла мукъ. Оттого на насъ должны казаться страшна и велика физиономы въ ней есть что-то нечеловѣческое, недоразрешенное: въ чертахъ приняты въ тридцатѣ по какому-то вышнему закону и воз-сужденію, но вдругъ остановились, описались и слились съ самыми пошлыми формами. Хотите ли вы поэзію въ же-ланіяхъ, въ стремленіяхъ, въ расколѣхъ нашей души? Она есть въ нихъ только если въ кривизнахъ. Хотите величій въ му-дрымъ и величественную сласть, вы тутъ будете

ходить по обломкамъ, по грудамъ камней: это не развалины: мы такъ молоды, что ничего не успѣли еще сдѣлать для нищизны вѣдоу; это все задуманія, предназначенныя заданія: они вачались и поросли уже мхомъ забвенія, на нихъ лежатъ плѣсень надеждъ, сгибнувшихъ въ самомъ своемъ цвѣтѣ. Пойте же любимыя ваши пѣсни про сны, про мечту: что же другое и пѣть вамъ?

Но, вѣдь, и этому есть причины? да, хотя легче изяснить дѣла человѣческія причинами, чѣмъ оправдывать ихъ. Причины эти, по нашему мнѣнію, заключаются божье всего въ вѣкоторыхъ убѣжденіяхъ, которыя мы принимаемъ безъ всякаго изслѣдованія, называя ихъ на вѣнцѣшнемъ языкѣ „великими міровыми истинами“, „требованіемъ вѣка“. Хотите видѣть? вотъ, напримѣръ, одно печальное злоупотребленіе идей вѣка — это злоупотребленіе, какое мы сдѣлали изъ вѣскаго авторитета исторіи. Убѣренные въ томъ, что настоящій порядокъ вещей есть только необходимый выводъ предшествовавшихъ историческихъ событій, какъ послѣдокъ одного безвѣчнаго сорта человѣческой судьбы: убѣренные, что все, что есть въ огромныхъ размѣрахъ и движеніи вѣка, должно быть такъ, какъ есть, мы, отъ этого общаго фатализма, перешли, наконецъ, къ жалкому нравственному фатализму въ собственномъ умѣ и волѣ. Странное дѣло! мы такъ вѣсломѣрны въ своихъ притязаніяхъ, какъ будто бы отъ насъ зависело всеяго явленію жизни предписать свои законы, и такъ ничтожны, что нѣтъ такой вѣтѣпости въ нашихъ поступкахъ, такого попятности въ нашемъ сердцѣ, котораго бы мы не готовы были оправдать всемогущимъ глѣзніемъ вещей. Вотъ вамъ убѣжденіе, сдѣлавшееся для сердца нашего ложнымъ развратомъ, на которомъ оно тратитъ свои благороднѣйшія силы, изнывая въ вѣлѣ бездѣлствія и покоя. Значъ нѣтъ для него успѣховъ, потому что нѣтъ предпріятія: нѣтъ никакой волеиспости въ будущемъ, потому что легче сомнѣваться въ немъ, чѣмъ думатьъ тѣмъ его созданіи. Нужно ли восминивать, пригототлять себя сколько-нибудь въ тому роду тѣлелности, который мы такъ величественно называемъ въ нашихъ пер-

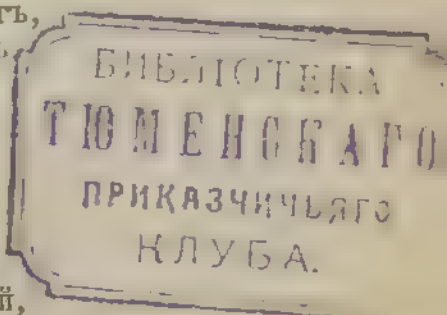
ныхъ поэтическихъ звукахъ, своимъ призваніемъ, цѣлью жизни, великою идеею нашего существованія? На что это? предоставимъ лучше случаю и минутѣ стѣбать изъ насъ то, что имъ будетъ угодно, будемъ жить вдохновенія — быть не можетъ, чтобы оно не послышалось такіа избранныя души, какъ у насъ. Древніе мотались и приносили жертвы музамъ, когда готъ вынесь пѣть свои безсмертныя пѣсни: наши мушкетеры только отвѣчаютъ: о! сами приходятъ къ постамъ, не боясь стѣбъ ихъ казисета, закопѣлыхъ отъ табачнаго дыма, и навязываютъ имъ такіа чудесныя грезы, которыя не снились никогда самому Ахиллону.

Не будемъ же никого обвинять — ни вѣка ни общества въ нашемъ бездѣйствіи, въ презрѣнн по всякому благородному усилію въ пользу искусства, въ нашемъ совершенно нехудожественномъ настроеніи души; не будемъ искать изъясненія всего этого въ мировыхъ причинахъ. — О! если бы каждый изъ насъ, воздымъ честно и разумно свой нравственный участокъ, предоставленный ему природою, жатва наша, можетъ-быть, не была бы такъ богата, чтобы питать чужихъ, по то вѣрно, что мы сами не были бы голодны.

Между тѣмъ, какъ въ доказательство, что природа не отказываетъ намъ въ славотныхъ тѣрахъ своихъ, которые мы должны только развирать и усовершенствовать, вотъ передъ нами поэтическія прои-веденія новаго, свѣжаго таланта — *Стихотворенія г. Лермонтова*. Въ наше время слова подучаютъ удивительно превратный смыслъ: вы слышите названія: *великій, міръ, поэтъ и поэтический*, приписываемыя такимъ понятіямъ и такимъ предметамъ, которые краснѣють сами отъ этихъ похваланныхъ похестей и не знаютъ, какъ повергнуться въ своей пышной одеждѣ, собравъ не для нихъ приготовленной. Мы видѣли, что значить наша поэзія. Потому-то, когда надъ какимъ-нибудь личнымъ изданіемъ мы читаемъ ея имя, намъ всегда хочется взглянуть глубже внутрь и удостовѣриться лично, точно ли она существуетъ тамъ? Вмѣсто ея, не лежитъ ли на мягкомъ ложѣ изъ возвышенныхъ думъ міръ-тая мечта, играя себя въ сны и идеи? Авторъ новыхъ стихотвореній проситъ намъ, если

мы, безъ предварительныхъ шумныхъ восторговъ, съ шим-
торою боязнию войдемъ и въ его міриный пріютъ. Но вотъ
мы и вошли. Что же это такое? гдѣ мы? вѣдь, это храмъ.
На насъ такъ и вѣетъ благоуханіемъ свѣжихъ, прекрасныхъ
стиховъ; слышатея звуки, какіе можетъ изобрѣсти только
сердце, чтобы взволновать, очаровать ими людей; около
насъ носятся стройные, живые образы: здѣсь непременно
живетъ поэзія, иначе быть не можетъ. Вотъ льется сла-
достные звуки: это ея пѣснь—послушайте сами:

Терекъ воетъ, дикъ и злобенъ,
Межъ утесистыхъ громадъ,
Бурѣ плачь его подобенъ,
Слезы брызгами летятъ.
Но, по степи разбѣгаясь,
Онъ лукавый принялъ видъ,
И привѣтливо ласкаясь,
Морю-Каспію журчитъ:
„Разступись, о старецъ-море!
Дай пріютъ моей волнѣ!
Погулялъ я на просторѣ,
Отдохнуть пора бы мнѣ!
Я родился у Казбека,
Вскормленъ грудью облаковъ,
Съ чуждой властью человѣка
Вѣчно спорить былъ готовъ.
Я, сынамъ твоимъ въ забаву,
Разорилъ родной Дарьялъ,
И валуновъ, имъ на славу,
Стало цѣлое пригналъ“.
Но, склонясь на мелкій берегъ,
Каспій стихнулъ, будто спитъ.
И опять, ласкаясь, Терекъ
Старцу на ухо журчитъ:
„Я привезъ тебѣ гостинецъ!
То гостинецъ не простой:
Съ поля битвы кабардинецъ,
Кабардинецъ удалой.
Онъ въ кольчугѣ драгоцѣнной,
Въ налокотникахъ стальныхъ,
Изъ Корана стихъ священный
Писанъ золотомъ на нихъ.
Онъ угрюмо сдвинулъ брови,



И усовъ его края
Обагрила знойной крови
Благородная струя:
Взоръ открытый безотвѣтный,
Полонъ старою враждой;
По затылку чубъ завѣтный
Вьется черною космой".
Но, склонясь на мягкій берегъ,
Каспій дремлетъ и молчитъ.
И волнуясь, буйный Терекъ
Старцу снова говорить:
„Слушай, дядя, даръ завѣтный!
Что другіе всѣ дары?
Но его отъ всей вселенной
Я тайлъ до сей поры.
Я привычу къ тебѣ съ волнами
Трупъ казачки молодой,
Съ темно блѣдными плечами,
Съ свѣтло русою косой.
Грустенъ ликъ ея туманный,
Взоръ такъ тихо, сладко спитъ,
А на грудь изъ малой раны
Струйка алая бѣжитъ.
По красотѣ-молодицѣ
Не тоскуетъ надъ рѣкой
Лишь одинъ во всей станицѣ
Казачья Гребенской.
Осѣдлалъ онъ вороного,
И въ горахъ, въ нѣчномъ бою,
На клижалъ чеченца злого
Сложить голову свою".
Замолчалъ потокъ сердитый.
И надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла,
Голова, съ косой размытой,
Колыхаяся всплыла.
И старикъ, во блескѣ власти,
Всталъ могучій, какъ гроза,
И одѣлся влагой страсти
Темно-синіе глаза.
Онъ выигралъ, веселья полный,
И въ объятія свои
Набѣгающія волны
Принялъ съ ропотомъ любви.

Вотъ раздаются другіе звуки, звуки, полные скорби и карающей негины. Поэзія поетъ судьбу всего современнаго и свою собственную:

Печально я гляжу на наше поколѣнье!
Его грядущее—иль пусто иль темно.
Межъ тѣмъ, подъ бременемъ познанья и сомнѣнья,
Въ бездѣйствіи состарится оно.
Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибкамъ отцовъ и познанимъ ихъ умомъ,
И жизнь уже насъ томить, какъ ровный путь безъ цѣли.
Какъ пиръ на праздникъ чужомъ.
Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы.

.....
.....
Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,
И въ вкуса нашего не радуя ни глазъ,
Виситъ между цвѣтовъ, приницъ осиротѣлый,
И часть ихъ красоты—его паденья часть!
Мы изсушили умъ наукою безплодной,
Тая зависливо отъ ближнихъ и друзей
Надежды лучшія и голосъ благородный
Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли;
Изъ каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучшей сокъ на-вѣки извлекли.
Мечты поэзіи, созданія искусства
Восторгомъ сладостнымъ нашъ умъ не шевелятъ,
Мы жадно бережемъ въ груди остатки чувства,
Зарытый скупостью и бесполезный кладъ.
И ненавидимъ мы и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злѣи ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный.
Когда огонь горитъ въ крови.
И предковъ скучны намъ роскошныя заботы,
И добросовѣстный, ребяческій развратъ,
И къ гробу мы бредемъ безъ счастья, безъ славы,
Глядя насмѣшливо назадъ.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Нашъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодотворной,
Ни гениемъ начатаго труда.

И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина
 Потомокъ заклеимъ презрительнымъ стихомъ,
 Насмѣшкой горькою обманутаго сына
 Надъ промотавшимся отцомъ.

Не видите ли вы въ этихъ прекрасныхъ стихотвореніяхъ доказательство неоспоримаго поэтического призванія? Почти во всехъ прочихъ вы найдете то же. Есть два направленія, двѣ ступени поэтического развитія. На одной, душа, счастливо организованная, съ первымъ взглядомъ на вещи, вчувствуется въ родственное, гласное сочувствіе съ высшимъ ихъ значеніемъ, со всемъ, что есть въ нихъ идеальнаго, сльдательно, лучшаго, чистѣйшаго. Исполняя этого духа всеобщей жизни, она не знаетъ другого назначенія, какъ жить въ себѣ и блаженствовать. Это прекрасная зари поэтического дѣя, патриархальныи бытъ души, гдѣ она не мучится еще глупою мыслью стать передъ лицомъ природы съ собственною творческою мощію, со своею исторіей. Прихоишь пора, когда этотъ мирный союзъ съ природою, это безмятежное бытіе подъ ея родительскою кущею—должны уступить другимъ стремленіямъ и другимъ видамъ судьбы: человекъ призванъ на землѣ не къ покою, а къ великому труду—труду нравственнаго міростроенія. Наобою воздвигать зданіе исторіи: начинается борьба съ силами вышними, начинается потѣнь на пути, окропленномъ собственною кровію, человекъ изхощаетъ великое и печальное право быть царемъ, художникомъ. Тамъ слышится очаровательныи звуки пѣсни: здѣсь пѣсни умолкаютъ: слышеть стукъ отъ возмущаемыхъ и падающихъ знаній, крики рабскихъ стонъ, проклятія; и вотъ, на отдаленномъ концѣ перенесенія, изъ смѣлыхъ чертежей зогчаго возникаютъ мечты и драма, искусство довершено, творчество развилося, страшно, и стало передъ потомствомъ съ богатыми дарами своей доблести. Стихотворенія Лермонтова принадлежать къ первой ступени поэзіи, къ пѣснямъ или лирикѣ. Но надобно отличать ложный лиризмъ, которымъ мы такъ богаты, отъ истиннаго, художественнаго, которымъ мы такъ бѣдны. Лже-поэтъ лирикъ тотъ, кто, вмѣсто поэтическихъ

моментовъ природы и жизни, передаетъ вамъ свои личныя ощущенія, отрывки своей автобіографіи, или который, на мѣсто живыхъ силъ и вещей, ставитъ передъ вами отразительные остоны отвлеченныхъ понятій. Это — высокомерный, холодный человекъ, который не можетъ вступить ни въ какое сочувствіе съ общими интересами вещей, которыя, въ цѣлой вселенной не видя ничего занимательнаго и важнаго себя, хотятъ, чтобы вы смотрѣли съ благоговѣніемъ на всякое трепеганіе его маленькой души: онъ поетъ вамъ пѣсни *къ ней*, поетъ о *своемъ* прошедшемъ, будущемъ, о всемъ, что случилось съ нимъ вчера или должно случиться завтра, и тщательно подписываетъ подъ своими пѣснями годъ, мѣсяцъ и число для того, чтобы каждое изъ этихъ великихъ явленій его жизни рисовалось передъ вами всегда, какъ несокрушимый моментъ. Поирикь-художникъ, напротивъ, служитъ только посредникомъ между природою и вами: онъ ставитъ васъ на свою точку зрѣнія для того, чтобы вы увидали тѣ же красоты, которыя наполнили его сердце святымъ восторгомъ, и чтобы вы ощутили тотъ же восторгъ. Онъ дѣлится съ вами не лохмотьями своего рубища, а драгоценными сокровищами, каковыми надѣлалъ его самия вещи, оныя васъ сокрытыя. Онъ поетъ вамъ про горе и радость, которыя носятъ въ глубинѣ своего сердца; но вы чувствуете, что оныя ваши, а не исключительно его; ваши потому, что оныя человѣческія, и прошли только сквозь его примчивое сердце, чтобы дойти до васъ. Его душа—призма, прищавшая въ себя животельный лучъ свѣта, и этотъ лучъ, раскинувшись въ изгибахъ ея граней, пералаетъ потомъ вашу взоръ роскошною игрою своихъ разноцвѣтныхъ переливовъ. Поирикь-художникъ за то и чувствуетъ необходимость такъ принятымъ имъ идеямъ и впечатлѣніямъ органическое устройство, опредѣленность формы и красокъ: иначе какъ же бы онъ поставилъ васъ въ тѣ же отношенія къ природѣ, въ какихъ находится самъ? Онъ знаетъ, что никакіе рассказы о вещахъ не замѣняютъ самихъ вещей, и потому онъ не столько занятъ выраженіемъ своихъ ощущеній, сколько предметовъ, возбуждавшихъ ихъ. Онъ старается даже дать имъ

драматическое движеніе, сблизить и раздѣлить ихъ такъ, чтобы они ярче выказывали свои поэтическія стороны, какия такъ глубоко впечатлѣваются въ его душѣ. И въ этой-то постановкѣ предметовъ, въ тѣхъ линіяхъ, какими означается онѣ ихъ сгибы, ихъ извороты, ихъ позы, заключаются преимущественно трудность и слава его художнической деятельности. Тутъ не довольно легкаго счастливаго стиха: тутъ нужна архитегоника идей, чертежъ, рисунокъ: это предвѣстие полнаго творчества, свободныя организаціи. Ни предѣлы ни цѣли нашей статьи не позволяютъ намъ развить вполне истиннаго, вѣскаго значенія лиризма, предшествоващаго только окончательнымъ, полнымъ созданіямъ искусства, но тѣмъ не менѣе составляющаго одно изъ прекраснѣйшихъ его явленій; мы слѣذا должны были коснуться нѣкоторыхъ только важнѣйшихъ его сторонъ для того, чтобы наши юные лирики видѣли, что здѣсь дѣло состоитъ не въ слѣпомъ безсчетномъ набрасываніи линій, изъ которыхъ не выходитъ у нихъ даже дѣлительнаго *ока* ихъ любезной ни ея граціознаго поенка. Намъ хотѣлось показать, почему стихотворения господина Лермонтова составляютъ пріятное явленіе въ нашей литературѣ: въ нихъ есть и вещь поэзи, поэзи, безъ которой всякая литература не болѣе, какъ грунь. Вы прочли, напримѣръ, поему, которую мы привели выше? Она вся прекрасна, — прекрасна по идеѣ, по сближенію двухъ могуществъ въ природѣ, бурныхъ, непокорныхъ, по очарованныхъ красавицей, этимъ благоухающимъ цвѣткомъ челоуѣчества, который челоуѣкъ такъ безжельно оторвать отъ стебля, измятъ и броситъ подъ ноги слѣпыхъ силъ природы. И все это прекрасно по опредѣленности, полнотѣ, ясности, съ какими развита идея, такъ мыло, выхваченная изъ жизни: она прекрасна по истинѣ, по одическому сближенію понятій и гармоній образовъ, которые, какъ будто сами собою, возстаютъ изъ глубины природы, и, полные бистательной энергіи, не стоятъ переть вамъ въ безмолвномъ оцѣненіи, а движутся и живутъ. Посмотрите, какъ, даже въ миметическихъ подробностяхъ, есть умѣть легко, непринужденно, едва касаясь холста

своею кистію, обозначить стѣбъ, положеніе, сами по себѣ уже составляющіе картину:

Но, склонясь на мягкій берегъ,
Каспій стихнулъ, будто спитъ.
И опять, ласкаясь, Терекъ
Старцу на ухо журчить.

Или:

И старикъ, во блескѣ власти,
Всталъ могучій, какъ гроза,
И одѣлся влагой страсти
Темно-синіе глаза.

Мы обращаемъ особенное вниманіе читателей на то художническое развитіе идей въ стихотвореніяхъ господина Черныгова: это чрезвычайно важно. Идеи, особенно высокія, намъ надѣлти до крайности: отъ нихъ нѣтъ проходу въ литературу, въ общество. Спросите у любого недоучившагося школьника: онъ вамъ сейчасъ вынетъ изъ головы своей, или лучше сказать, изъ книги и памяти, цѣлую горсть такихъ міровыхъ идей, что вы подышитѣ отъ изумленія подъ седьмое небо. Скоро въ гостиныхъ петься будетъ гнцовать: міровые юности столько нривнзють на паркетъ идей великаго роду, что члз-нибудь маленькая и миленькая ножка, того и гляди, защеетъ о нихъ и, чего Боже сохрани! уронитъ неосторожно и невовремя самое прекрасное изъ проявленій мировыхъ идей, уронитъ преступную илдею. Что петься въ высокихъ идеяхъ безъ результатовъ, да еще если съ ними можно унать? Давайте намъ *проявленія*, дѣль, сдѣланныхъ изъ чего вамъ угодно, изъ поступковъ, стиховъ, прозы, — только непременно дѣль, созданій, чего-нибудь такого, что могло бы жить на свѣтъ, если не долго, такъ хоть столько, какъ маленькая пекорка, способная зажечь въ юмъ-нибудь мысль, чувство. Право, идея безъ развитія или, что все равно, дурна, то есть темна, развитая, есть самая пустая вещь на свѣтъ: дурное, вмѣсто цѣл, потахитъ въ голову какому-нибудь самому простой, хоть канцелярскій фактъ. Она только растопыриваетъ умъ, который, становясь отъ нея шире и пустѣе, думаетъ, что онъ міровой, и, какъ царь, процу-

скажетъ собойъ себя множество прелѣблывыхъ и преносныхъ вещей въ міръ. Мы зато и благодарны господину Лермонтову, что у него идеи сдѣлались премыслими, прелюбными шесами: онъ вотъ какъ-то сосредоточился въ его теплою и крѣпкою думѣ, не разлетѣлись въ разныя стороны по пространству безогнечнаго, организовались, какъ слѣдуетъ всему живому въ природѣ—получили такое хорошенны е тѣло, стройное, здоровое, сѣрое, съ самою прекрасною голубою, съ глазами, полными страсти и ума, съ носикомъ, немвожко выдернутымъ, потому что это ужъ ничто фамиліное у всѣхъ олицетворенныхъ идей нашего вѣка: но, види, это только не тыи стѣнокъ прелести. Вотъ идея стала живымъ существомъ, настоящею поэзіею, которая, наконецъ, устроившись собою въ себя и внутреннею эпоміи, получила уже и порядочное госпитаніе, какъ и слѣдуетъ великой благородной поэзии, раскрыла, наконецъ, свои бархатныя аллы уста, и заговорила такими энергическими, живыми, легкими, ясными, такими ласкающими стихами, что даже строгая и важная критика, заступавшись ихъ, уронила свой апологическій подникъ и бросилась обнимать и нѣстать милую гостью. Конечно, однакожъ, что истинная критика (есть много и ложныхъ) не легко предается безогнечнымъ восторгамъ: она тотчасъ оправилась, подняла свой подникъ, подняла снятъ къ прелестной поэзии и сказала ей съ нѣжностью: „Какія же вы хорошенныя, милая сестрица словазвечіе, что критика и поэзіи не только не чужды другъ другу, но даже родныя! И безъ памяти такъ полюбили! Полюбите же, моя милая, безъ перерыва, вострагивать немвожко гдѣ туча: вотъ тутъ висеть нѣсколько лишнихъ денъ что ли, которыя мотаются такъ, безъ думъ, и портятъ только и истинную гармонию нашего паряка, мнѣ сдѣлалъ вѣтъ. Станете до мнѣ слыши, вотъ такъ: *господь являя дождь, и скучно и грустно*—также, *благовѣстивъ поже*. Смотрите, душечка, что это тамъ присовѣтовать пришли эти сѣрые лоскутики? Чую ли ихъ хорошато, достойнато въ нашей прелестной фаміи? Вѣсто мужествопылы, лорлы, благородныхъ мыслей,

которые вы так любите, тут выведены самые обыкновенные траурные узоры, въ родъ отцвѣтшихъ надеждъ, угасшихъ страстей, поэтического презрѣнiя къ толпѣ, — однимъ словомъ, эти *ларическія личности* души, обезсцененной своими собственными стремленіями, тиетными пригнѣзаніями на право, на которое нѣтъ права, — на право высшаго существованiя. Фи! это совсѣмъ нейдетъ къ вамъ. Вы — цѣля доблести и силы, дитя истиннаго поэтическаго призванiя. Ваши самая слезы должны быть протиски только во имя великихъ скорбей челоуѣчества, а не во имя вашей домашней скуки, чтобъ отъ этихъ слезъ, какъ отъ благоуханной росы неба, прозябало въ душѣ людей святое сочувствіе ко всему челоуѣческому. Нѣкоторые говорятъ, будто все, что красавица ни славетъ, ни сдѣлаетъ, ни постигнетъ, — все — чудо совершенства; не вѣрьте этимъ пустякамъ. Что плохо, то плохо всегда и вездѣ. Въглѣ пошлѣе не сдѣлается благоухающею лиліей, хотя бы по странной прихоти красавица приняла ее у самой груди своей. Впрочемъ, я говорю вамъ такъ единственно потому, что люблю васъ: вѣдь, вы не сердитесь? Не правда ли?

Намъ сказывали, что поэзия выслушала все это очень благосклонно...

А. Никитенко.

*) Г. Гермонтовъ принадлежитъ къ небольшому числу современныхъ намъ поэтовъ, которые независимостью таланта и вѣрностію чувства умѣли защититься отъ свiянiя страстнаго и ошибочнаго вкуса, овладѣваемаго толпою писателей. Онъ, какъ истинный поэтъ, въ каждомъ предметѣ усматриваетъ новую сторону, чтобы въ изображеніи мысли чувствовалось было его созданіе. Языкъ совершенно повинуется требованіямъ воображенiя его, глубокомыслия и мечтательности. Не всѣ его стихотворенiя равно счастливо вытерпаны и кончены; но то, что успѣлъ онъ проиикнуть

*) „Современникъ“ 1841 г. т. 21. 6 стихотворенiяхъ Гермонтова.

своимъ умомъ, уже сплутаѣлась ясно и живо. Изданіе стихотвореній его возбуждаетъ много удивительнаго по двумъ, особенно обстоятельствомъ: первое, разбирая песнь его, чувствуешь, какъ онъ замѣтно совершенствуется — доказательство, что поэзія составляетъ сущность его внутренней жизни; второе, въ немъ нисколько не односторонности — преимущество, которымъ не многіе могутъ похвастаться. Если удастся ему замѣнить точными и простыми выраженіями истинно офранцузенныя и не вполнѣ соответствующихъ первоначальной мысли, онъ имѣетъ своей поэзіи новизну и надѣянное совершенство.

Изъ „Современника“ за 1841 г.

*
* *

1) Авторъ „Героя нашего времени“, явившійся въ одно время на цухъ поприщяхъ, полѣтствателя и лирическаго поэта, издалъ небольшую книжку стихотвореній. Прекрасныя надежды выдѣмъ мы и въ стихотворца; но будемъ и здѣсь искренни, такъ были въ перѣмъ нашемъ разборѣ. Намъ кажется, что еще рано было ему собирать свои звуки, разсѣянные по анманахамъ и журналамъ, въ одно: такого рода собранія и поясненія и необходимы быраютъ тогда, когда уже лирикъ образовался и въ замѣчательныхъ произведеніяхъ впечатѣлъ свой оригинальный, рѣшительный характеръ. Такъ, сожалѣемъ мы, что нѣтъ у насъ до сихъ поръ полнаго собранія стихотвореній Лермонтова и Хомякова: они были бы необходимы для того, чтобы обнѣ състоушій черны чихъ поэтовъ, слышавшійся въ характерѣ цѣльные и свѣдѣнные яркою личностію и въ мысли и въ выраженіи.

Г. Лермонтовъ принадлежалъ въ нашей литературѣ къ числу самыхъ талантовъ, которые не нуждаются въ томъ, чтобы собрать славу по книгамъ; мы, судя по его деятельности, имѣемъ право считать его во своей неболшоу книжкѣ стихотвореній уже замѣтными, которыя, будучи собраны вмѣстѣ, составятъ въ доуміи критикѣ да, признаемъ.

„Современникъ“ 1841 г. т. 2, № 4, „Вѣхъ передъ собою“.
Статья С. Шевырева.

что мы въ недоумѣніи. Мы хотѣли бы начертать портретъ лирика; но матеріаловъ еще слишкомъ мало для того, чтобъ этотъ портретъ былъ вѣрнѣе. Къ тому же, съ перваго раза поражаетъ насъ въ сихъ произведеніяхъ какъ-то необыкновенный протейзмъ таланта, правда, замѣчательнаго, но тѣмъ не менѣе опасный развитію оригинальному. Объяснимся.

Всякій, изучавшій сколько-нибудь русскую поэзію въ новомъ ея періодѣ, начиная съ Жуковского, конечно, знаетъ, что каждый изъ замѣчательнѣйшихъ лириковъ нашихъ имѣетъ вмѣстѣ съ оригинальностью своей поэтической мысли и оригинальность вышшняго выраженія, отмѣченную въ особенности стиха, принадлежащую лицу поэта и соответствующую его поэтической идее. Это пріобрѣтаетъ насъ того, что каждый изъ нихъ по своему наслаждается гармоніею языка отечественнаго, и удовлетворяетъ въ немъ *своей* звуку для *своей* мысли. Такъ и во всѣхъ искусствахъ, какъ въ поэзіи: въ живописи есть также своя вышняя форма, называемая стилемъ. Прошедши нѣсколько картинныхъ галлерей со вниманіемъ, вы скоро пріучитесь отгадывать имена художниковъ, и, не справляясь съ каталогомъ, заранее будете говорить: это картина Перуджино, Франція, Гвидо Рени, Гуерчино, Доменикано, Рафаэли. Такъ, если внимательнымъ ухомъ вы выискивали въ стихотвореніи извѣстнѣйшихъ лириковъ нашихъ новаго періода, вы, конечно, знаете, что есть у насъ стихъ Жуковского, Батюшкова, Пушкина, К. Вяземскаго, Языкова, Хомякова, Ф. Глинки, Бенедиктова. У иныхъ поговѣялись яркой особенності въ звукѣ стиха, но есть извѣстные складъ въ поэтическомъ слогѣ, извѣстные обороты, заманки, собственно имъ принадлежащіе. Такъ по однимъ оборотамъ, по извѣстнымъ выраженіямъ, вы узнаете Баратынскаго и Дениса Давыдова. Хомякова вы отгадаете еще болѣе по глубинѣ и особенностямъ его мысли, нежели по стиху; въ припоминаніи же его лиръ, конечно, увидите, почему только съ величій свѣтъ звуки *Острова* и *Ильсы прили* *Наполеона*. Бенедиктовъ не развить въ послѣдствіи своего личнаго таланта, но и въ немъ-то, что съ нами, съ перваго раза

ярко обозначилась особенность его стиха; можно было уже сказать: вотъ стихъ Бенедиктова. Иже, мы еще яснѣе это увидимъ. Говорить ли о стихѣ Жукова, который узнается съ перваго раза? Батюшковъ, несмотря на то, что угасъ преждевременно и опереженъ былъ столь многими товарищами, сохранилъ на Парнасѣ русское самобытіе своей собственной метри. Пушкинъ, ученикъ Жуковского, потому и сталъ главою школы, что въ самомъ стихѣ отгадать излюбленный художественный складъ стиха русскаго — такъ отгадать то же Карамзинъ для русской прозы.

Можно замѣтить, что тѣе бездарные стихотворцы имѣли свой особенный родъ калофоніи: это диссонансы, но диссонансы, только извѣстному уху принадлежащіе. Тѣмъ, въ этомъ отношеніи были у насъ замѣчательнѣе Хвостовъ, но въ стихъ вторично подѣлывались въ шутку лучшіе наши поэты. Стало-быть, можно было сказать: вотъ нескладность въ русскомъ стихѣ, которая могла родиться только въ несчастно-организованномъ ухѣ такого-то.

Когда вы внимательно прислушаетесь къ звукамъ той новой лиры, которая подала вамъ поводъ къ такому разсужденію, вамъ слышатся попеременно звуки — то Жуковского, то Пушкина, то Кирши Давидова, то Бенедиктова, примѣчается не только въ звукахъ, но и въ всей формѣ ихъ созвоніи: иногда мелькаютъ обороты Баратынскаго, Дениса Давидова; иногда видна манера поэтовъ иностранныхъ, — и слышь все это постороннее влияние трудно намъ доискаться того, что собственно принадлежитъ новому поэту, и гдѣ предстать онъ самимъ собою. Вотъ что выше называли мы протезизмомъ. Да, г. Лермонтовъ, какъ стихотворецъ, явится на первый разъ протеемъ съ необыкновеннымъ талантомъ: его лира не обозначила еще своего особеннаго строга; нѣтъ, онъ поднесетъ ее къ лирамъ извѣстныхъ поэтовъ нашихъ, и умѣетъ съ большимъ искусствомъ подладить свою па строю, уже извѣстную. Немногіе поэмы выходятъ изъ этого разряда — и въ нихъ мы видимъ, не столько въ формѣ, сколько въ мысли, зародышъ чего-то особеннаго, своего, съ чѣмъ скажемъ поспѣ.

Первое стихотворение, въ которомъ стихотворецъ-протей является во всемъ блескъ своего дарованія, есть, конечно, „Пѣнь про удалого кунца Калашникова“ (1837) — мастерское подражаніе эпическому стилю русскихъ пѣсень, извѣстныхъ подъ именемъ собирателя ихъ Кирши Давидова. Нельзя довольно надивиться тому, какъ искусно поэтъ умѣлъ перенять всѣ приемы русскаго пѣсешника. Очень немногіе стихи измѣняютъ стилю народному. Нельзя при томъ не сказать, что это не наборъ выраженій изъ Кирши, не поддѣлка, не рабское подражаніе, — нѣтъ, это созданіе въ духѣ и стилѣ нашихъ древнихъ эпическихъ пѣсень. Если гдѣ свободное подражаніе можетъ взойти на степенъ созданія, то, конечно, въ этомъ случаѣ: подражать русской пѣснѣ, отдаленной отъ насъ временемъ — не то, что подражать поэту, намъ современному, стихъ котораго въ правахъ и обычаяхъ нашего искусства. Къ тому же содержаніе этой картины имѣетъ глубокое историческое значеніе — и характеры опричника и кунца Калашникова чисто народные.

„Мцыри“ (1840), по содержанію своему, есть воспоминаніе о герояхъ Байрона. Этого чеченецъ, запертый въ келью монаха; эта бурная воля дикаго человѣка, скованная кѣткою, ненасытная жажда жизни, ищущей сильныхъ потрясеній въ природѣ, борьбы со стихіями и звѣрями, и при томъ непреклонная гордость духа, блуждающая людей и стыдящаяся обнаружить какую-нибудь свойственную человѣку слабость: все это заимствовано изъ созданій Байрона, заимствовано съ умѣньемъ и талантомъ неотъемлемымъ. Что касается до формы этой маленькой лирической поэмѣ, она такъ вѣрно снята съ „Шилловскаго Уэнна“ Жуковского, за исключеніемъ третьей рѣзмы, по временамъ прибавляемой, что иногда, читая вслухъ, забываешься, и какъ будто переносишься въ прекрасное приложеніе нашего творца-переводчика. Есть даже обороты, выраженія, мѣста, до излишества напоминающіе сходство. Вотъ, напримѣръ:

То трепеталъ, то снова гасъ:
На небесахъ, въ полночный часъ
Такъ гаснетъ яркая звѣзда!

Или:

Грузняки голосъ молодой
Такъ безыскусственно-живой,
Такъ сладко-вольный, будто онъ
Лишь звуки дружескихъ именъ
Произносить былъ приученъ.

Если вы вспомните „Шиповникаго Узинка“, то, конечно, согласитесь, что это какъ будто изъ него взято; сравните это со стихами:

... Увы! онъ гасъ,
Какъ радуга, плѣняя насъ,
Прекрасно гасеть въ небесахъ...

Или:

Онъ гасъ, столь кротко-молчаливъ,
Столь безнадежно-терпѣливъ,
Столь грустно-томенъ...

Къ стилю Жуковского принадлежатъ также „Русалка“, „Три Пѣльмы“ и одна изъ двухъ „Мотивъ“. Изобрѣненіе въ „Русалкѣ“ (1836) напоминаетъ Гёте; но формы стиха и выраженіе подслушаны у лиры Жуковского:

Русалка плыла по рѣкѣ голубой,
Озаряема полной луной;
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пѣну волны.
И шутя и крутясь, колебала рѣка
Отраженные въ ней облака;
И пѣла Русалка—и звукъ ея словъ
Долеталъ до крутыхъ береговъ.

Слѣдующіе стихи изъ „Мотивы“ (1839, стр. 71, 72), какъ будто написалъ самъ Жуковский, кромѣ второго:

Есть сила благодатная
Въ созвучьи словъ живыхъ,
И дышитъ непонятная,
Святая прелесть въ нихъ.

... ..
... ..

И вѣрится, и плачется,
И такъ легко, легко!

При этомъ такъ и наворачиваются на память стихи Жуковского:

А слезы—слезы въ сладость намъ,
Отъ нихъ душѣ легко.

„Три Пальмы“ (1839) — созданіе прекрасное по мысли и по выраженію. Здѣсь поэтъ какъ будто освобождается отъ одного изъ своихъ учителей и начинаетъ говорить свободно.

Перейдемъ къ другимъ. „Узникъ“, „Вѣтра Палестинны“, „Памяти А. П. О—го“, „Разговоръ между журналистомъ, чинагелемъ и писателемъ“ и „Дари Терекъ“ — напоминаютъ совершенно стиль Пушкина. Прочтите „Узника“ (1837).

Отворите мнѣ темницу,
Дайте мнѣ сіянье дня,
Черноокую дѣвицу,
Чернооковаго коня.
Я красавицу младую
Прежде сладко поцѣлую,
На коня потомъ вскачу,
Въ степь, какъ вѣтеръ, улечу.

* *

Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая съ замкомъ;
Черноокая далеко,
Въ пышномъ теремѣ своемъ;
Добрый конь въ зеленомъ полѣ,
Безъ узды, одинъ на волю,
Скачетъ, веселъ и ширивъ,
Хвостъ по вѣтру распустивъ.

Одинокъ я—нѣтъ отрады:
Стѣны голыя кругомъ,
Тускло свѣтитъ лучъ лампы
Умирающимъ огнемъ;
Только слышно: за дверями,
Звучно-мѣрными шагами,
Ходитъ въ тишинѣ ночной
Безотвѣтный часовой.

Вотъ эту пѣсню, особенно курьезные въ ней стихи, какъ будто написалъ самъ Пушкинъ. Кто коротко знакомъ съ

лирою сего послѣдняго, тотъ, конечно, согласится съ нами.

„Вѣтка Палестины“ (1836) напоминаетъ живо „Цвѣтокъ“ Пушкина: тотъ же самый оборотъ мысли и словъ. Читайте:

Скажи мнѣ, вѣтка Палестины,
Гдѣ ты росла, гдѣ ты цвѣла?
Какихъ холмовъ, какой долины
Ты украшеніемъ была?

У водъ ли чистыхъ Іордана
Востока лучъ тебя ласкалъ?
Почной ли вѣтръ въ горахъ Ливана
Тебя сердито колыкалъ?

Молитву-ль тихую читали,
Иль пѣли пѣсни старины,
Когда листы твои сплетали
Салима бѣдные сыны?

И пальма та жива-ль понинтъ?
Все такъ же-ль манитъ въ лѣтній зной
Она прохожаго въ пустынѣ
Широколиственной главой?

Сравните съ Пушкинымъ:

Гдѣ цвѣлъ? когда? какой весною?
И долго-ль цвѣлъ, и сорванъ кѣмъ?
Чужой, знакомой ли рукою?
И положенъ сюда зачѣмъ?

На память нѣжнаго ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокаго гулянья
Въ тиши полей, въ тѣни лѣсной?

И живъ ли тотъ, и та жива ли?
И нынѣ гдѣ ихъ уголокъ?
Или уже они увяли,
Какъ сей невѣдомый цвѣтокъ?

Стихи къ „Памяти А. Н. О — го“ (1839) напоминаютъ вѣтхимъ складомъ пятистопнаго стиха одно изъ послѣднихъ стихотвореній Пушкина: „Огрывокъ“, напечатанный въ „Современникѣ“. Форма „Разговора писателя съ журналистомъ и читателемъ“ снята съ извѣстнаго подобнаго же произведенія Пушкина. Но въ словахъ писателя есть большія особенности, въ которыхъ выражается образъ мыслей самого автора: объ этомъ будетъ ниже.

Въ стихахъ „Дары Терека“ (1839) слышна гармонія лучшихъ произведеній Пушкина въ подобномъ родѣ: въ этой пьесѣ такъ же, какъ въ „Трехъ Пальмахъ“ (1839), поэтъ какъ будто освобождается отъ второго своего учителя, и уже гораздо самостоятельнѣе.

„Молитва“ (стр. 44, 1837) и „Тучи“ (1840) до того отзываются звуками, оборотами, выраженіемъ лиры Бенедиктова, что могли бы быть перенесены въ собраніе его стихотвореній. Прочтите и повѣрьте сами наше замѣчаніе:

Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою
Предъ твоимъ образомъ, яркимъ сіяніемъ,
Не о спасеніи, не передъ битвою,
Не съ благодарностью, не съ покаяніемъ.

*

Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника, въ свѣтѣ безроднаго;
Но я вручить хочу душу невинную
Теплой заступницѣ міра холоднаго.

.....

Срокъ ли приблизится часу прощальному,
Въ утро ли шумное, въ ночь ли безгласную,
Ты воспріять пошли къ ложу печальному
Лучшаго ангела душу прекрасную.

Или вотъ слѣдующее:

Тучки небесныя, вѣчныя странники!
Степью лазурною, цѣпью жемчужною,

Мчитесь вы, будто какъ я же, изгнанники,
Съ милого сѣвера въ сторону южную.

.....
Нѣтъ, вамъ наскучили нивы бесплодныя...
Чужды вамъ страсти и чужды страданія;
Вѣчно-холодныя, вѣчно-свободныя,
Нѣтъ у васъ родины, нѣтъ вамъ изгнанія.

Читая эти стихи, кто не припомнитъ „Полярную Звѣзду“ и „Незабвенную“ Бенедиктова?

Въ военной пѣсенкѣ „Бородино“ есть ухватки, напоминающія музу въ Киверѣ, Дениса Давыдова. Стихотворенія: „Не вѣрь себѣ“, „1-е января“ и „Дума“ заострены на концѣ мыслию или сравненіемъ, напримѣръ:

Какъ нарумяненный трагическій актеръ,
Махающій мечомъ картоннымъ.

Или:

И дерзко бросилъ имъ въ глаза желѣзный стихъ,
Облитый горечью и злостью.

Или:

Насмѣлкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ.

Эта манера напоминаетъ обороты Баратынского, который во многихъ своихъ стихотвореніяхъ прекрасно выразилъ на языкъ нашъ то, что у французовъ называется *la pointe*, и чему нѣтъ соответственнаго слова въ языкѣ русскомъ.

При этомъ невольно приходитъ на умъ то слабое *во-списіе* (если намъ позволить это выраженіе), которымъ заключается одно изъ лучшихъ стихотвореній Баратынского. Вспомнимъ, какъ онъ говоритъ о poetѣ, поющемъ притворную грусть, что онъ:

Подобенъ нищей развращенной,
Просящей лепты незаконной
Съ чужимъ младенцемъ на рукахъ.

Кромѣ прекрасныхъ переводовъ изъ Зейдлица, Байрона и особенно маленькой пѣснь Гёте, есть стихотворенія, въ которыхъ замѣтно влияние поэтовъ иностранныхъ. „Казачья колыбельная пѣсня“ (1840), при всей красотѣ своей и истинѣ, своимъ содержаніемъ напоминаетъ подобную ко-

лысельную пьеску В. Скотта: „Lullaby of an infant chief“. Въ стихотвореніи „Къ Ребенку“ очевидно вліяніе поговѣй новой французской школы, чему, конечно, менѣе всего мы рады: все это произведеніе — и особенно послѣдніе три стиха — оставляютъ въ душѣ впечатлѣніе самое тягостное.

Мы утѣшались рыцарскими: но читатель видитъ самъ, что онѣ были необходимы для того, чтобы очевидными примѣрами доказать истину нашего перваго положенія.

Такимъ образомъ, въ стихотвореніяхъ г. Термонтова мы слышимъ отзывы уже знакомыхъ намъ лиръ — и читаемъ ихъ, какъ будто воспоминанія русской поэмы послѣдняго двадцатилѣтія. Но какъ же объяснить это явленіе? — Новый поэтъ предстасть ли намъ какимъ-то эклектикомъ, который, какъ пчела, собираетъ въ себя все сладости русской музыки, чтобы сотворить изъ нихъ новыя соты? Такого рода эклектизмъ случался въ исторіи искусства послѣ извѣстныхъ его періодовъ: онъ могъ бы отозваться и у насъ, но единству законовъ его повсюднаго развитія. Или этотъ протектизмъ есть личное свойство самого автора? Мы, разбирая его произведенія въ повѣствовательномъ родѣ, замѣтили въ немъ способность, которую именуемъ съ нѣмецкаго *объективностью*, означая тѣмъ умѣніе переселяться въ предметы вліяніе, въ людей, въ характеры, и сдѣлаться съ ними. Это еще одна половина достоинствъ въ повѣствователѣ, который въ главной мысли долженъ быть *субъективенъ*, долженъ являться, независимо отъ всего внѣшняго, самимъ собою. Нѣтъ ли подобной объективности и въ поэтѣ? Нѣтъ ли въ немъ особенной склонности подчинять себя власти другихъ художниковъ? Нѣтъ ли признаковъ того, что Жанъ-Поль, въ своей Эстетикѣ, такъ прекрасно называетъ *женственнымъ* гениемъ?

Или это есть явленіе очень естественное въ молодомъ талантѣ, еще не развившемся, еще не достигшемъ своей самобытности? Въ такомъ случаѣ весьма понятно, почему его лира отзывается звуками его предшественниковъ: долженъ же онъ начинать тамъ, гдѣ другіе кончили.

Мы всего охотнѣе останавливаемся на сей послѣдней

мысли — и тѣмъ ярче держимся за нее, что бѣольшая часть стихотвореній, отмѣченныхъ поздними годами, обнаруживаетъ уже ярче его самобытность. Къ тому же пріятно замѣнить, что поэтъ починаетъ свою музу не чьей-либо преимущественно, а многимъ — и это разнообразіе вліяній есть уже доброе ручательство въ будущемъ. Нужно ли предупреждать читателей въ томъ, что такіа подражанія совершаются въ поэтѣ невольно: что въ нихъ мы видимъ воспроизведенія сильныхъ впечатлѣній молодости, легко увлекающейся чужимъ порывомъ; что ихъ должно отличать отъ подражаній умилненныхъ? Мы помнимъ одного журналиста, который вздумалъ было передъ лицомъ публики подражать всѣмъ извѣстнымъ писателямъ русскимъ: но такъ какъ подражать, значить только *передразнивать*, то такое стиходѣлье справедливо можно сравнить съ *кривляньемъ* въ области мимики.

Мы сказали выше, что въ некоторыхъ стихотвореніяхъ обнаруживается какой-то особенная личность поэта, не столько въ поэтической формѣ выраженія, сколько въ образѣ мыслей и въ чувствахъ, данныхъ ему жизнью. Лучшія стихотворенія въ этомъ родѣ, конечно, „Дары Терека“ и „Колыбельная казачья пѣснь“. Оба внушены поэтѣ Кавказомъ, оба схвачены вѣрно изъ тамошней жизни, гдѣ Терекъ бурный, какъ страсти горцевъ, поетъ на себѣ частыя жертвы мщенія и ревности; гдѣ колыбельная пѣсня матери должна отзываться страхомъ безпрерывно-тревожной жизни. Вѣрное чувство природы, отгаданный поэтъ, находимъ мы въ „Трехъ Натяхъ“, восточномъ сказаніи, глубоководителемъ при всей наружной его неопредѣленности. То же искреннее, простосердечное чувство природы, сознаваемое въ самомъ себѣ поэтъ, мы съ особеннымъ наслажденіемъ замѣтили въ 24-мъ стихотвореніи:

Когда волнуется желтѣющая нива...

Это чувство, святое и великое, можетъ быть зародышемъ многого прекраснаго. Оно обозначалось и въ повѣствованіяхъ, но въ стихотворцѣ высказалось еще ярче, — и это

сильнѣе убѣдило насъ въ истинѣ прежняго нашего замѣчанія о томъ, что авторъ „Героя нашего времени“ придалъ свое собственное чувство Печорину, который симпатіи къ природѣ питать не можетъ. Прекрасны и глубоки чувства дружбы, выраженные въ стихахъ въ „Памяти А. П. О — го“, и чувства религіозныя въ двухъ „Молитвахъ“.

Но случалось ли вамъ, по голубому, чистому небу увидѣть вдругъ черное крыло ворона или густое облако, рѣзко противорѣчащее ясной лазури? Такое же тягостное впечатлѣніе, какое производятъ эти внезапныя явленія въ природѣ, произвели на насъ многія пьесы автора, мрачно меланхолическія въ свѣтломъ вѣникѣ его стихотвореній. Сюда отнесемъ мы: „И скучно, и грустно“, слова писателя изъ разговора его съ журналистомъ, и въ особенности эту черную, траурную, эту роковую „Думу“. Признаемся, что мы не могли безъ внутренняго содроганія читать стиховъ, которые обдають сердце какимъ-то холодомъ:

Печально я гляжу на наше поколѣніе!
Его грядущее—или пусто или темно,
Межъ тѣмъ подъ бременемъ познанья и сомнѣнья
Состарится безвременно оно.

.....
.....

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодотворной
Ни геніемъ начатаго труда.

Неужели о томъ поколѣніи здѣсь говорится, которое съ такими вдохновенными надеждами привѣтствовало незадолго до смерти своей наше Пушкинѣ, говори ему:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучій, поздній возрастъ!

Въ противность этимъ чуднымъ стихамъ, которые должны глубокимъ эхомъ отдаваться въ сердцѣ каждаго, кто живетъ въ порѣ цвѣта и упованія, — что это здѣсь за ужасная эпитафія всему молодому поколѣнію? Признаемся: сре-

ли нашего отечества, мы не можемъ понять этихъ живыхъ мертвецовъ въ 25 лѣтъ, отъ которыхъ вѣсть не свѣдѣю надеждою вѣности, не душою, чреватого грядущимъ, но какимъ-то могильнымъ холодомъ, какимъ-то тѣннѣмъ преждевременнымъ. Если сказать правду, эти мертвецы не похожи ли на юноши, которые нарочно изъ шутки надѣваютъ бѣлый саванъ, чтобы пугать народъ, не привыкшій у насъ къ привидѣнιάмъ?

Но успокоимся: такая произведенія, какъ вышло по всему, ихъ окружающему, являютел только мгновенными иллюзіями какой-то мрачной хантры, навѣщающей по временамъ поэта. Но поэтъ!.. Если всѣ въ самомъ дѣлѣ посвѣщаютъ такіа думы, лучше бы тайно ихъ про себя и не повѣрять выискательному свѣту. Вы также обязаны тѣмъ, какъ художникъ, потому что такіа произведенія, нарушая гармонію чувства, совершенно противны міру прекраснаго; какъ представитель мыслей современнаго вамъ поколѣнія, потому что эти думы не могутъ отзываться пріятно въ души вашихъ сверстниковъ, — и, наконецъ, вы должны быть побуждены къ тому изъ своего собственнаго расчета, коль не хотите прослыть въ глазахъ міра играющимъ какую-то выискающую роль преждевременнаго разочарованія. Скажите, ужь не ваши ли собственные слова вложили вы въ уста писателю въ этихъ стихахъ?

Бываетъ время,
Когда заботъ спадаетъ бремя,
Дни вдохновеннаго труда,
Когда и умъ и сердце полны,
И рюмы, дружныя, какъ волны,
Журча одна во слѣдъ другой,
Песутся вольной чередой.
Восходятъ чудное свѣтило
Въ душѣ, проснувшейся едва:
На мысли, дышущія силой,
Какъ жемчугъ, нисходятъ слова...
Тогда съ отвагою свободной
Поэтъ на будущность глядитъ,
И міръ мечтою благородной
Предъ нимъ очищенъ и обмытъ.

По эти странныя творенья
Читаешь дома онъ одинъ,
И имъ послѣ, безъ зазрѣнья,
Онъ затопляетъ свой каминъ.

Итъ, итъ, не предавайте огню этихъ вдохновенныхъ вашихъ мечтаній о будущемъ, мечтаній о мѣрѣ, очищенномъ и обмытомъ вашею поэтическою думою въ лучшія минуты ея полной жизни! Уже если жечь, то жгите лучше то, въ чемъ выражаются признаки какого-то страннаго недуга, омрачающаго свѣтъ вашей ясной мысли.

Не такъ, не такъ, какъ вы, понимаемъ мы современное назначеніе вышенаго изъ искусствъ у насъ въ отечествѣ. Намъ кажется, что для русской поэзіи неприличны ни вѣрные сколки съ жизни дѣйствительной, сопровождаемые какою-то апатіей наблюденія, тѣмъ еще менѣе мечты отчаяннаго разочарованія, не истекающаго ни откуда. Пускай поэзія Запада, поэзія народовъ оживающихъ, переходитъ отъ байроническаго отчаянія къ равнодушному созерцанію всякой жизни. Мода на первое почти уже тамъ исчезла, и поэзія, утомленная скудною борьбою, празнуетъ какое-то незаслуженное примиреніе съ обыкновеннымъ міромъ дѣйствительности, признавая все за необходимость. Такъ французская повѣсть и драма, обѣ, неумимо, безъ сатиры, безъ прощанья, передаютъ картины: или сцены холодная разврата или явленія, обыкновенныя до пошлости. Такъ апатическая поэзія современной Германіи, въ зародкѣхъ которой виноваты еще Гёте, готова стихами золотить всякое пустое событіе дня, и ставить, какъ дѣлали язычники, храмъ въ память каждой минутъ бытія ежедневнаго.

Итъ, такое кумиротвореніе дѣйствительности нейдетъ къ нашему русскому міру, посвященному въ себя сокровище надеждъ великихъ. Если гдѣ еще возможна въ лирической поэзіи вдохновенныхъ прозрѣній, поэзія фантазій творческой, возносящаяся надъ всѣмъ существеннымъ, то, конечно, она *должна быть возможна у насъ*.

Поэты русской лиры! Если вы сознаете въ себѣ высокое призваніе,—прозрѣвайте же отъ Бога даннымъ вамъ

предчувствіемъ въ великое грядущее Россіи, передавайте намъ видѣнія свои и создайте міръ русской мечты изъ всего того, что есть свѣтлаго и прекраснаго въ небѣ и природѣ, святого, великаго и благороднаго въ душѣ человеческой,—и пусть заранѣе предсказанный вами, изъ воздушныхъ областей вашей фантазіи, перейдетъ этотъ свѣтлый и избранный міръ въ дѣйствительную жизнь вашего любезнаго отечества.

С. Шевыревъ.

„Герой нашего времени“, соч. М. Лермонтова. Изданіе второе. Спб. 1841. Двѣ части.

Давно ли привѣтствовали мы первое появленіе „Героя нашего времени“ большою критическою статьею и, подвигая гордыхъ, величавыхъ и сладостныхъ надеждъ, со всеѣмъ жаромъ убѣжденія, основаннаго на сознаніи, указывали русской публикѣ на Лермонтова, какъ на великаго поэта въ будущемъ, смотрѣли на него, какъ на преемника Пушкина въ настоящемъ!.. И вотъ проходитъ не болѣе года,—мы встрѣчаемъ новое изданіе „Героя нашего времени“ горькими слезами о невозвратимой утратѣ, которую понесла осыротѣлая русская литература въ лицѣ Лермонтова!.. Несмотря на общее, единодушное вниманіе, съ какимъ приняты были его первые опыты, несмотря на какое-то безусловное ожиданіе отъ него чего-то великаго,—наши восторженные похвалы и радостные привѣты новому свѣтилу поэзіи для многихъ благоразумныхъ людей казались преувеличенными!.. Слава ихъ благоразумію, такъ много теперь выигравшему, и горе намъ, такъ много утратившимъ!.. Въ сознаніи великой, невозвратимой утраты, въ полнотѣъднато, грустнаго чувства, оравляющаго сердце, мы готовы великодушно увеличить торжество осторожнаго въ своихъ приговорахъ сомнѣнія, и охотно сознаться, что, говоря такъ много о Лермонтовѣ, мы видѣли болѣе будущаго, нежели

*) Въ Бѣлинскія „Отечественныя Записки“ 1841 г., № 9, г. 18, о „Герое нашего времени“.

настоящаго Лермонтова, — видѣли Ализиду, въ волыбелѣ удущающаго змѣй зависти, но еще не Ализиду, сражающаго ужасною палицею лернейскую гидру... Да, все написанное Лермонтовымъ еще недостаточно для упроченія его ставы, и болѣе значительно какъ предвѣстіе будущаго, а не какъ что-нибудь положительно и безотносительно великое, хотя и само по себѣ все это составляетъ важный и примѣчательный фактъ, рѣшительно выходящій изъ круга обыкновеннаго. Первые лирическія пьесы: „Русланъ и Людмила“ и „Кавказскій Пльбникъ“ еще не могли составить славы Пушкина, какъ великаго мірового поэта: но въ нихъ уже видѣлся будущій создатель „Цыганъ“, „Оцѣгина“, „Бориса Годунова“, „Моцарта и Сальери“, „Скупого Рыцаря“, „Русалки“, „Каменнаго Гостя“ и другихъ великихъ поэмъ... Толпа судить и дѣлаетъ свои приговоры заднимъ числомъ; она говоритъ, когда уже не боится проговориться. Толпа идетъ ощупью и о твердости встрѣченнаго ею предмета судить по силѣ толчка, съ которымъ наткнулась на него. Оставляя за толпою право видѣть вещи не иначе, какъ оборачиваясь назадъ, не будемъ отнимать права у людей заглядывать впередъ, и, по настоящему — предсказывать о будущемъ... Всякому свое: толпѣ кричать, людямъ мыслить... Пусть же кричитъ она, а мы снова повторимъ: новая, великая утрата опротивѣла бѣдную русскую литературу!..

Самыя первыя произведенія Лермонтова были ознаменованы печатью какой-то особенности: они не походили ни на что, явившееся до Пушкина и послѣ Пушкина. Трудно было выразить словомъ, что въ нихъ было особеннаго, отличавшаго ихъ даже отъ явленій, которыя носили на себѣ отпечатокъ истиннаго и замѣчательнаго таланта. Тутъ было все: и самобытная, живая мысль, одушевлявшая обаятельно прекрасную форму, какъ теплая кровь одушевляетъ молодой организмъ и яркимъ свѣжимъ румянцемъ проступаетъ на ланитахъ юной красоты; тутъ была и какая-то мощь, горделиво владѣвшая собою и свободно потчинявшая идеѣ свои естественныя порывы свои; тутъ была и эта оригинальность, которая въ простотѣ и естественности открываетъ новое,

дорогой невиданный міръ, и который есть достояніе однихъ теней: тутъ было много чего-то столь индивидуальнаго, столь тѣсно соединеннаго съ личностью творца, — много такого, что мы не можемъ иначе характеризовать, какъ назвавши „Лермонтовскимъ элементомъ“. Какой избытокъ силы, какое равновѣсіе идей и образовъ, чувствъ и картинъ! Какое сильное слияніе энергій и грѣцій, глубины и легкости, возвышенности и престои! Читая великую строку, вышедшую изъ-подъ пера Лермонтова, будто слушаешь музыкальные аккорды, и въ то же время слышишь въ формѣ за потрясенными струнами, съ которыхъ сорваны они рукою невидимой... Тутъ, кажется, соприсутствуютъ духомъ таинству мысли, рождающейся изъ оцущенія, какъ рождается бабочка изъ некрасивой личинки. Тутъ нѣтъ лишняго слова, не только лишней страницы: все на мѣстѣ, все необходимо, потому что все перетусловлено прежде, чѣмъ сказано, все было прежде, чѣмъ положено на картину... Нѣтъ ложныхъ чувствъ, ошибочныхъ образовъ, натянутого восторга: все свободно, безъ усилія, то бурнымъ потокомъ, то свѣтлымъ ручьемъ изливается на бумагу... Быстрога и разнообразіе оцущеній покорены единству мысли: волненіе и борьба противоположныхъ элементовъ послушно сживаются въ одну гармонію, какъ разнообразіе музыкальных инструментовъ въ оркестръ, послушныхъ волеяющему жезлу канцеляриста... Но, главное, все это блещетъ своими, незамѣшганными красками, все дышитъ самобытною и творческою мыслью, все образуетъ новый, дорогой невиданный міръ... Только нѣкіе небыты, черствые поданы, которые за буквою не видятъ мысли, и случайную вышность всегда принимаютъ за внутреннее сходство, только эти честные и добрые вылазъ бурею и флѣтаніемъ могли бы находить въ самобытныхъ вѣхреніяхъ Лермонтова подражаніе не только Пушкину или Жуковскому, но и г. Бенедиктову и Якубовичу...

Повторимъ, небольшая книжечка стихотвореній Лермонтова, к. нежно, не есть колоссальный монументъ поэтическои славы: но она есть живое, говорящее прорицаніе великой и чинической славы. Это еще не символы, а только

пробные аккорды, но аккорды, взятые рукою юнаго Бетховена. Просвѣщенный иностранецъ, знакомый съ русскимъ языкомъ, прочитавъ стихотворенія Лермонтова, не увидѣлъ бы въ нихъ малочисленности богатства русской литературы, но изумился бы силѣ русской фантазии, даровитости русской природы. Некоторые изъ нихъ законно могли бы явиться въ свѣтъ съ подписью имени Пушкина и другихъ величайшихъ мастеровъ поэзии... „Герой нашего времени“ обнаруживаетъ въ Лермонтовѣ такого же великаго поэта въ прозѣ, какъ и въ стихахъ. Этотъ романъ былъ книгою, много оправдывающей свое названіе. Въ немъ авторъ являлся рѣшителемъ важныхъ современныхъ вопросовъ. Его Печоринъ—какъ современное лицо—Онегинъ нашего времени. Обыкновенно наши поэты жалуются,—можетъ быть, и не безъ основанія,—на скудость поэтическихъ элементовъ въ жизни русскаго общества: но Лермонтовъ, въ своемъ „Герое“ умѣлъ и изъ этой безплодной почвы извлечь богатую поэтическую жатву. Не составляя цѣлаго, въ строгомъ художественномъ смыслѣ, почти всѣ эпизоды его романа образуютъ собою очаровательныя поэтическія міры. „Бѣла“ и „Тамаръ“ въ особенноти могутъ считаться однимъ изъ драгоцѣннѣйшихъ жемчужинъ русской поэзии; а въ нихъ еще остается столько дивныхъ подробностей и картинъ, въ которыхъ съ такою отчетливостью обрисовано типическое лицо Максима Максимыча! „Княжна Мери“ менѣе удовлетворяетъ въ смыслѣ объективной художественности. Рѣшилъ слишкомъ близкае сердцу своему вопросы, авторъ не совсѣмъ успѣлъ освободиться отъ нихъ и, такъ сказать, перѣдко въ нихъ пугался; но это даетъ повѣсти новый интересъ и новую прелесть, какъ самый живогрешущій вопросъ современности, для удовлетворительнаго рѣшенія котораго нуженъ былъ великій перетомъ въ жизни автора. Но, увы! этой жизни суждено было проблеснуть блестящимъ метеоромъ, оставить послѣ себя длинную струю свѣта и благоуханія и—печенуть во всей красѣ своей...

Прекрасное погасло въ пыльномъ цвѣтѣ...
Таковъ удѣлъ прекраснаго на свѣтѣ!

Губителемъ неслышнымъ и незримымъ,
 Во всѣхъ путяхъ бѣда насъ сторожить,
 Пріюта нѣтъ главамъ, равно грознымъ;
 Гдѣ не была, тамъ будетъ и сразить.
 Вотще дерзать въ борьбу съ необходимымъ:
 Житейскаго никто не побѣдять.
 Гнетомы всѣ единой грозной силой,
 Намъ всѣмъ сказать о здѣшнемъ счастьѣ: „было“!

Какъ всѣ великіе таланты, Лермонтовъ въ высшей степени обладалъ тѣмъ, что называется „слогомъ“. Слогъ отнюдь не есть простое умѣнье писать грамматически-правильно, гладко и складно,—умѣнье, которое часто дается и безталантности. Подъ „слогомъ“ мы разумѣемъ непосредственное, данное природою умѣнье писателя употреблять слова въ ихъ настоящемъ значеніи, выражаясь кратко, высказывать много, быть краткимъ въ многословіи и плодовитымъ въ краткости, тѣсно слить идею съ формою, на все налагать оригинальную самобытную печать своей личности, своего духа. Предисловіе Лермонтова ко второму изданію „Героя нашего времени“ можетъ служить лучшимъ примѣромъ того, что значить „имѣть слогъ“. Выписываемъ это предисловіе.

„Во всякой книгѣ предисловіе есть первая и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдняя вещь; оно или служитъ объясненіемъ цѣли сочиненія, или оправданіемъ и отвѣтомъ на критики. Но обыкновенно читателямъ нѣтъ дѣла до нравственной цѣли и до журнальныхъ нападокъ, и потому они не читаютъ предисловія. А жаль, что это такъ, особенно у насъ. Наша публика такъ молода и простодушна, что не понимаетъ басни, если въ концѣ ея не находитъ нравственія. Она не угадываетъ шутки, не чувствуетъ ироніи; она просто дурно воспитана. Она еще не знаетъ, что въ порядочномъ обществѣ и въ порядочной книгѣ явная брань не можетъ имѣть мѣста; что современная образованность изобрѣла орудіе болѣе острое, почти невидимое и тѣмъ не менѣе смертельное, которое, подъ одеждою лести, наноситъ неограниченны и вѣрный ударъ; наша публика похожа на провинціала, который, подслушавъ разговоръ двухъ дипломатовъ, принадлежащихъ

къ враждебнымъ дворамъ, остался бы увѣренъ, что каждый изъ нихъ обманывается свое правительство въ пользу взаимной нѣжной дружбы.

„Эта книжка испытала на себѣ еще недавно несчастную довѣрчивость нѣкоторыхъ читателей и даже журналовъ къ буквальному значенію словъ. Иные ужасно обидѣлись—и не шутя—что имъ ставятъ въ примѣръ такого безнравственнаго человѣка, какъ герой нашего времени; другіе же очень тонко замѣчали, что сочинитель нарисовалъ свой портретъ и портреты своихъ знакомыхъ... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь такъ ужъ сотворена, что все въ ней обновляется, кромѣ подобныхъ нелѣпостей. Самая волшебная изъ волшебныхъ сказокъ у насъ едва ли избѣгаетъ упрека въ покушеніи на оскорбленіе личности!

„Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портретъ, но не одного человѣка: этотъ портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи. Вы мнѣ опять скажете, что человѣкъ не можетъ быть такъ дуренъ, а я вамъ скажу, что ежели вы вѣрили возможности существованія всѣхъ трагическихъ и романтическихъ злодѣевъ,—отчего же вы не вѣрите въ дѣйствительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо болѣе ужасными и уродливыми, отчего же этотъ характеръ, даже какъ вымыселъ, не находить у васъ пощады? Ужъ не оттого ли, что въ немъ больше правды, нежели бы вы того желали?

„Вы скажете, что нравственность отъ этого не выигрываетъ? Извините. Довольно людей кормили сластями, у нихъ отъ этого испортился желудокъ: нужны горькія лѣкарства, ѣдкія истины. Но не думайте, однако, послѣ этого, чтобы авторъ этой книги имѣлъ когда-нибудь гордую мечту сдѣлаться исправителемъ людскихъ пороковъ. Боже его избави отъ такого невѣжества! Ему просто было весело рисовать современнаго ему человѣка, какимъ онъ его понимаетъ и, къ его и вашему несчастію, слишкомъ часто встрѣчалъ. Будетъ и того, что болѣзнь указана, а какъ ее излѣчить,—это ужъ Богъ знаетъ!“

Какая точность и определенность въ каждомъ словѣ, какъ на мѣстѣ и какъ незамѣнно другимъ каждое слово! Какая сжатость, краткость и, вмѣстѣ съ тѣмъ, многозначительность! Читая эти строки, читаешь и между строками; понимая ясно все сказанное авторомъ, понимаешь еще и то, чего онъ не хотѣлъ говорить, опасаясь быть многорѣчивымъ. Какъ образны и оригинальны его фразы; каждая изъ нихъ годится быть эпиграфомъ къ большому сочиненію. Конечно, это „слогъ“, или мы не знаемъ, что такое „слогъ“...

Немного стихотвореній осталось послѣ Лермонтова. Найдется пьесъ десятокъ первыхъ его опытовъ, кромѣ большой его поэмы „Демонъ“, пьесъ пять новыхъ, которыя подарилъ онъ редактору „Отечеств. Записокъ“ передъ отъѣздомъ своимъ на Кавказъ... Наслѣдіе не огромное, но драгоценное! „Отечеств. Записки“ почтутъ священнымъ долгомъ скоро подѣлиться ими съ своими читателями. Лермонтовъ немного написалъ,—безконечно меньше того, сколько позволялъ ему его огромный талантъ. Безпечный характеръ, пылкая молодость, жадная впечатлѣніями бытія, самый родъ жизни,—отвлекали его отъ мирныхъ кабинетныхъ занятій, отъ уединенной думы, столь любезной музамъ; но уже кипучая натура его начала уставаться, въ душѣ пробуждалась жажда труда и дѣятельности, а орлиный взоръ спокойнѣе сталъ вглядываться въ глубь жизни. Уже затѣвалъ онъ въ умѣ, утомленномъ суетою жизни, созданія зрѣлыя; онъ самъ говорилъ намъ, что замыслилъ написать романическую трилогію, три романа изъ трехъ эпохъ жизни русскаго общества (вѣка Екатерины II, Александра I и настоящаго времени), имѣющіе между собою связь и нѣкоторое единство, по примѣру куперовской тетралогіи, начинающейся „Послѣднимъ изъ Могиканъ“, продолжающейся „Путеводителемъ въ Пустынь“ и „Піонерами“, и оканчивающейся „Степями“... какъ вдругъ

Младой пѣвецъ

Нашелъ безвременный конецъ!

Дохнула буря, цвѣтъ прекрасный

Увялъ на утренней зарѣ!

Потухъ огонь на алтарѣ!..

22/4

22/4

22/4

22/4

22/4

22/4

